Фолкнер Уильям
Деревушка

Уильям Фолкнер
Деревушка
Роман
Перевод В.Хинкиса и С.Маркиша.
Перевод под редакцией Р.Райт-Ковалевой.
КНИГА ПЕРВАЯ
ФЛЕМ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
1

Французова Балка лежала в тучной речной долине, в двадцати милях к юго-востоку от Джефферсона. Укрытая и затерянная меж холмами, определенная, хоть и без четких границ, примыкающая сразу к двум округам и не подвластная ни одному из них, Французова Балка была когда-то пожалована своему первому владельцу, и до Гражданской войны выросла в огромную плантацию, остатки которой - полый остов громадного дома, рухнувшие конюшни, невольничьи бараки, запущенные сады, аллеи, кирпичные террасы - все еще звались усадьбою Старого Француза, хотя прежние ее границы существовали теперь только в старинных, пожелтевших записях, хранившихся в архиве окружного суда в Джефферсоне, и плодородные поля кое-где давно уже снова заполонила тростниковая и кипарисовая чащоба, у которой они были некогда отвоеваны их первым хозяином.

Возможно, что он и в самом деле был иностранец, хотя и не обязательно француз, потому что для людей, которые пришли после него и почти начисто стерли все его следы, всякий, кто говорил с малейшим чужеземным акцентом, чья наружность или даже занятие казались необычными, всякий такой человек был французом, к какой бы национальности он себя ни причислял, точно так же, как городские умники в ту пору (вздумай он, к примеру, обосноваться в самом Джефферсоне) непременно окрестили бы его голландцем. Но теперь никто уже не знал, откуда он был родом, даже шестидесятилетний Билл Уорнер, который владел чуть ли не всей прежней плантацией вместе с участком под разрушенной усадьбой. Потому что он пропал, исчез, этот чужеземец, этот француз, со всей своей роскошью. Его мечта, его бескрайние поля были поделены на маленькие, чахлые фермы, заложенные и перезаложенные, и управляющие джефферсонскими банками грызлись из-за них, прежде чем продать, и, в конце концов, продавали Биллу Уорнеру, и теперь от Старого Француза только и осталось что речное русло, выпрямленное его невольниками на протяжении почти десяти миль, чтобы река в половодье не затопляла поля, да скелет громадного дома, который его многочисленные наследники целых тридцать лет разбирали и растаскивали; ореховые ступени и перила, дубовые паркеты, которым через пятьдесят лет цены бы не было, и самые стены - все пошло на дрова. Даже имя его было позабыто, слава его обернулась пустым звуком, легендой о земле, вырванной у лесной чащи, укрощенной, увековечившей позабытое прозвище, которое то, что явились после него - приехали в разбитых фургонах, верхом, на мулах или пришли пешком, с кремневыми ружьями, собаками, детьми, самогонными аппаратами и протестантскими псалтырями, - не могли ни произнести правильно, ни даже прочесть по буквам и которое теперь не напоминало ни об одном человеке на свете; его мечта, его гордость стали прахом и смешались с прахом его бог весть где лежащих костей, да еще молча упорно сохраняла предание о деньгах, которые он будто бы зарыл где-то около своего дома, когда Грант опустошал эти края, двигаясь на Виксбург.

Люди, которые наследовали ему, пришли с северо-востока, через горы Теннесси, отмеряя каждый свой шаг на этом пути рождением нового поколения. Они пришли с Атлантического побережья, а до того, - из Англии и с окраин Шотландии и Уэллса, чему свидетельством иные фамилии - Тэрпины, Хейли, Уиттингтоны, Макколлемы и Мюррэи, Леонарды и Литтлджоны, да и другие тоже, вроде Риддепов, Армстидов и Доши, которые не

могли появиться сами собой, потому что по доброй воле никто, конечно, не взял бы себе такую фамилию. При них не было ни невольников, ни шифоньеров работы Файфа или Чиппендейла; почти все, что было при них, они могли принести (и принесли) на своих плечах. Они заняли участки, выстроили хижины в одну-две клетушки и не стали их красить, переженились, наплодили детей и пристраивали все новые клетушки к старым хижинам, и их тоже не красили, и так жили. Их потомки так же сажали хлопок в долине и сеяли кукурузу по скатам холмов и на тех же холмах, в укромных пещерах, гнали из кукурузы виски и пили его, а излишки продавали. Федеральные чиновники приезжали сюда, но уже не возвращались. Кое-что из вещей пропавшего - войлочную шляпу, сюртук черного сукна, пару городских ботинок, а то и пистолет, - иногда видели потом на ребенке, на старике или женщине. Окружные чиновники и вовсе не тревожили этих людей, разве только по необходимости в те годы, когда предстояли выборы. У них были свои церкви и школы, они роднились друг с другом, изменяли друг другу и убивали друг друга, и сами были себе судьями и палачами. Они были протестантами, демократами и плодились, как кролики. Во всей округе не было ни одного негра-землевладельца, а чужие негры боялись и близко подойти к Французовой Балке, когда стемнеет.

Билл Уорнер, нынешний хозяин усадьбы Старого Француза, был самым важным человеком в этих краях. Он имел больше всех земли, был школьным инспектором в одном округе, мировым судьей в другом и уполномоченным по выборам в обоих, а стало быть, от него исходили если не законы, то, по крайней мере, советы и внушения для его земляков, которые отвергли бы самое понятие "избирательного округа", если бы когда-нибудь о нем слышали, и приходили к Биллу Уорнеру спросить не "что мне делать?", а "что бы вы мне велели сделать, ежели б могли заставить меня сделать по-вашему?". Он был землевладельцем, ростовщиком и ветеринаром. Судья Бенбоу из Джефферсона однажды сказал про него так: человек он с виду мягкий, но никто лучше его не умеет пустить мулу кровь или собрать больше голосов на выборах. Он владел почти всеми лучшими землями и держал закладные почти на все земли, которыми еще не владел. В самой деревне ему принадлежала лавка, хлопкоочистительная машина, мельница с крупорушкой и кузня, и считалось, мягко говоря, опрометчивостью, если кто по соседству делал закупки, или очищал хлопок, или молол зерно, или ковал лошадей и мулов где-нибудь в другом месте. Он был тощий и длинный, как жердь, с рыжеватыми, тронутыми сединой, волосами и усами, с маленькими, жесткими, блестящими, невинно голубыми глазами; он походил на директора методистской воскресной школы, который по будням служит проводником на железной дороге, или же наоборот, и которому принадлежит церковь или, может, железная дорога, а может, то и другое вместе. Он был хитер, скрытен и жизнелюбив, с раблезианским складом ума и, весьма вероятно, все еще не иссякшей мужскою силой (он сделал своей жене шестнадцать детей, но только двое жили дома, прочие же, плодясь и в землю ложась, разбрелись кто куда, от Эль-Пасо до Алабамы), о чем позволяла судить его жесткая шевелюра, в которой даже в шестьдесят лет было больше рыжих, чем седых волос. Он был разом и ленив и энергичен; он ничего не делал (всеми делами управлял его сын), и на это уходило все его время, он исчезал из дому еще до того, как сын успевал спуститься к завтраку, и никто не знал куда, знали только, что он на своей старой, жирной белой кобыле может появиться когда и где угодно на десять миль окрест, и, по крайней мере, раз в месяц, весной, летом и ранней осенью, люди видели, как он, привязав свою старую белую кобылу к ближайшей загородке, сидит на самодельном стуле посреди запущенной лужайки в усадьбе Старого Француза. Стул ему смастерил кузнец, распилив пополам пустой бочонок из-под муки, обровняв края и приколотив сиденье, и Уорнер, жуя табак или покуривая тростниковую трубку, всегда с острым словцом для прохожего наготове, в меру любезным, но отнюдь не располагающим к беседе, сидел на фоне этого былого величия. Люди (те, что сами видели его там, и те, что слышали об этом от других) все были уверены, что он сидит, обдумывая наедине, как бы лишить очередного должника права на выкуп закладной, потому что причину он объяснил только Рэтлифу, агенту по продаже швейных машин, который был более чем вдвое моложе его.

- Люблю здесь сидеть. Стараюсь представить себя на месте того дурака, который все это наворотил, - он не пошевелился, даже не дал себе труда кивком головы указать на груду битого кирпича и лабиринт дорожек, увенчанный руинами колоннады у него за спиной, - только чтобы есть да спать в этакой громадине. - А потом добавил, так и не объяснив Рэтлифу, о чем он на самом деле думал: - Одно время я не прочь был со всем этим разделаться, расчистить место. Но, боже ты мой, народ до того обленился, что даже на лестницу не залезет, чтобы отодрать остатки досок. Да они скорее пойдут в лес, целое дерево срубят на растопку - это им проще, чем протянуть руку да взять готовое. Пожалуй, я просто оставлю все как есть: пусть напоминает мне об единственной моей ошибке. Ведь за всю мою жизнь только это одно я купил и не сумел никому продать.

Его сыну Джоди было под тридцать; уже полнеющий, с первыми признаками зоба, он не только не женился, но от него исходил какой-то холостяцкий дух, как от некоторых людей будто бы исходит дух святости. Он был высокого роста, с намечавшимся брюшком, которое в ближайшие десять - двенадцать лет обещало изрядно вырасти, но пока он мог еще считаться свободным и сравнительно молодым кавалером. Зимой и летом, по воскресеньям и по будням, он носил крахмальную сорочку без воротничка, схваченную у шеи тяжелой золотой запонкой, и пару из добротного черного сукна (правда, в жаркое время года он обходился без сюртука). Он надевал эту свою пару, как только она приходила от портного из Джефферсона, и носил ее каждый день, в любую погоду, до тех пор, пока не продавал кому-нибудь из работников-негров, заменяя новой, следующей, так что летом чуть ли не во всякий воскресный вечер можно было встретить - и немедленно опознать - какую-нибудь из его старых пар (или одну из ее частей). Среди неизменных комбинезонов, которые носили все вокруг, он имел вид не то чтобы похоронный, но весьма торжественный, а все потому, что выглядел таким убежденным холостяком: за его дряблыми, расплывающимися телесами угадывался бессмертный и вечный свадебный Шафер, совершеннейшее воплощение Мужского Естества, точно так же, как под отечными тканями бывшего футболиста угадываешь призрак поджарого и крепкого спортсмена, некогда гонявшего мяч. В семье он был девятым из шестнадцати детей. Он распоряжался лавкой, владельцем которой по-прежнему был его отец, занимался главным образом просроченными закладными, присматривал за хлопкоочистительной машиной и управлял разбросанными по всей округе фермами, которые сорок лет скупал сперва его отец, а потом они оба.

Однажды после полудня он сидел в давке, нарезая новую хлопковую веревку на гужи и по-морскому свивая отрезанные куски в аккуратные бухты на вбитых в стену гвоздях, а услышав стук у себя за спиной, обернулся и в раме открытой двери увидел человека ниже среднего роста, в широкополой шляпе и слишком просторном сюртуке, - он стоял в странной неподвижности, словно врос ногами в пол.

- Вы Уорнер? - сказал он голосом не то чтобы грубым или, во всяком случае, не нарочито грубым, а скорее скрипучим, словно заржавевшим от редкого употребления.

- Я один из Уорнеров, - сказал Джоди довольно приветливо своим мягким и сильным голосом. - Чем могу служить?

- Моя фамилия Сноупс. Я слышал, у вас сдается ферма.

- Вот как? - сказал Уорнер, отодвигаясь, чтобы свет из окна упал на лицо посетителя. - Где ж вы об этом прослышали?

Ферма была новая, он и отец купили ее с торгов меньше недели назад, а человек был совсем чужой, Джоди даже фамилии этой никогда не слышал.

Тот не отвечал. Теперь Уорнеру было видно его лицо - холодные, мутно-серые глаза под косматыми, седеющими, сердитыми бровями и короткая щетина серо-стальной бороды, густой и спутанной, как овечья шерсть.

- А раньше вы где фермерствовали? - спросил Уорнер.

- На Западе.

Он не говорил отрывисто. Он просто произнес эти два слова с непреклонной бесповоротностью, словно топором отрубил.

- В Техасе, значит?

- Нет.

- Понятно. Значит, к западу отсюда, и все тут. Семья большая?

- Шестеро. - Сказав это, он не замялся, но и не спешил продолжать. И все же что-то осталось недоговоренным. Уорнер почувствовал это прежде, чем скрипучий, безжизненный голос, с расстановкой уточнил: - Сын и две дочки. Жена и свояченица.

- Это только пятеро.

- И я сам, - сказал неживой голос.

- Сам не в счет, когда уговариваешься, сколько рабочих рук будет выставлено на поле. Так как же, пятеро, а может, семеро?

- Могу выставить шестерых.

Голос Уорнера тоже остался прежним - таким же приветливым, таким же ровным:

- Не знаю, стоит ли мне брать арендатора в этом году. Май ведь уже на носу. Пожалуй, я и сам бы справился, вот только поденщиков нанять. А может, и вовсе не стану ее трогать в этом году.

- Согласен и на поденную, - сказал тот.

Уорнер поглядел на него.

- Хотите поскорей устроиться, а?

Тот не отвечал. Уорнер не знал, смотрит на него этот человек или нет.

- Сколько думаете платить аренды?

- А какая ваша цена?

- Треть и четверть, - сказал Уорнер. - Все товары отсюда, из лавки. Наличными ничего.

- Понятно. Товаров на шесть долларов.

Совершенно верно, - приветливо сказал Уорнер. Теперь он не знал даже, смотрит ли этот человек вообще на что-нибудь.

- Согласен, - сказал тот.

Стоя на галерее, над пятью или шестью мужчинами и комбинезонах, сидевшими на корточках или прямо на полу со складными ножами и деревянными чурками в руках, Уорнер смотрел, как его посетитель с трудом доковылял до крыльца, не глядя по сторонам, сошел вниз, отыскал среди привязанных у галереи запряжек и верховых лошадей тощего мула без седла, в драной сбруе с веревочными поводьями, подвел его к крыльцу, неуклюже, с натугой сел верхом и уехал, все так же ни разу не оглянувшись.

- Послушать, как он топочет, можно подумать, что в нем фунтов двести весу, - сказал один из сидевших. - Кто это такой, Джоди?

Уорнер чмокнул, всасывая слюну сквозь зубы, и сплюнул на дорогу.

- Сноупс какой-то, - сказал он.

- Сноупс? - сказал второй. - Вон оно что. Значит, тот самый. - Теперь не только Уорнер, но и все остальные повернулись к говорившему - худощавому человеку в безукоризненно чистом, хотя и выцветшем, заплатанном комбинезоне, и даже свежевыбритому, с лицом кротким, почти грустным - хотя, присмотревшись, на нем можно было заметить два совершенно различных, самостоятельных выражения - одно мимолетное, спокойное и безмятежное, а под ним другое, всегдашнее, явно не терпеливое, хотя и сдержанно озабоченное, с подвижным ртом, свежим и ярким, как у юноши, но, взглянув более пристально, легко было понять, что этот человек, видимо, просто-напросто никогда в жизни не курил: резко выраженный тип мужчины из тех, которые женятся молодыми и производят на свет только дочерей, да и сами вечно остаются на положении старшей дочери у собственной жены. Его звали Талл. Тот самый малый, который зимовал с семьей в заброшенном хлопковом амбаре у Айка Маккаслина. Он еще был замешан в этой истории с поджогом конюшни, которая сгорела два года назад в округе Гренье у какого-то Гарриса.

- Гм, - сказал Уорнер. - Как вы говорите? Поджог конюшни?

- Я не говорю, что это он поджег, - сказал Талл. - Я только говорю, что он был, так сказать, замешан в этом.

- И сильно замешан?

- Гаррис притянул его к суду.

- Понятно, - сказал Уорнер. - Просто возвел на него напраслину, заставил отвечать за другого. Наверно, подмазал кого следует.

- Ничего не доказали. Может, потом Гаррис и собрал доказательства, да было поздно. Его уж и след простыл. А потом, в прошлом году, в сентябре он объявился у Маккаслина. Он с семьей работал на Маккаслина поденно, собирал хлопок, и Маккаслин пустил их перезимовать в старый амбар, который в тот год у него пустовал. Вот и все, что я знаю. А сплетен я не пересказываю.

- И я бы не стал, - сказал Уорнер. - Кому охота прослыть пустым сплетником. - Он стоял над ними, широколицый, добродушный, в потертом, строгом костюме: крахмальная, но заношенная белая сорочка, пузырящиеся на коленях, давно не глаженные брюки, - одетый чопорно и вместе с тем небрежно. Он шумно и отрывисто втянул воздух. - Так-так, - сказал он. - Поджог конюшни. Так-так.

Вечером, за ужином, он рассказал об этом отцу. Не считая неуклюжего, кое-как сколоченного из бревен и досок строения, известного под названием "Гостиница Литтлджон", у Билла Уорнера был единственный двухэтажный дом в этих местах. Уорнеры и кухарку держали - не только единственную черную прислугу, но вообще единственную прислугу во всей округе. Она прожила у них уже много лет, но миссис Уорнер все говорила, - и, видимо, верила, - что ей нельзя поручить даже воду согреть без присмотра. Джоди рассказывал, в то время как его мать, полная, живая, хлопотливая женщина, которая родила шестнадцать душ детей, из которых уже пережила пятерых, и все еще брала призы за свои соленья и варенья на ежегодной ярмарке, сновала между столовой и кухней, а сестра, тихая, полнотелая девочка, с уже округлившейся в тринадцать лет грудью, с глазами, как матовые оранжерейные виноградины, и полным, влажным, всегда чуть приоткрытым ртом, сидела на своем месте, уйдя в себя, в каком-то дурмане цветущей и юной женской плоти, не слушая его, что, как видно, давалось ей без малейших усилий.

- Ты контракт уже подписал с ним? - спросил Билл Уорнер.

- Да я и не собирался, покуда Вернон Талл не рассказал мне, что он натворил. А теперь, думаю, завтра же составлю бумагу и дам ему подписать.

- Тогда уж заодно укажи ему, который дом поджечь. Или пускай сам выбирает?

- Ладно, - сказал Джоди. - Мы и об этом сейчас потолкуем. - Теперь из его голоса исчезло все легкомыслие, исчезло лукавство и легкая ирония, он словно бы выхватил шпагу из ножен и приготовился к бою. - Мне теперь только одно и надо - разнюхать все хорошенько насчет той конюшни. А потом уж один черт, он поджег или не он. Надо только, чтобы он во время сбора вдруг понял, что я-то думаю на него. Слушай дальше. Возьми, примерно, такой случай. - Он навалился на стол, тяжелый, обрюзгший, весь напрягшись. Мать ушла на кухню, и оттуда доносился ее неугомонный голос, энергично распекавший черную кухарку, Дочь не слушала вовсе. - Есть кусок земли, с которого, говоря по правде, хозяева ничего не рассчитывали взять нынешним летом. И вот приходит человек и берет его в аренду, а тебе известно, что там, где он в последний раз арендовал участок, сгорела какая-то конюшня. Не имеет значения, поджег он на самом деле эту конюшню или нет, хотя все было бы куда проще, ежели б удалось узнать точно, что поджег. Главное - что она сгорела, когда он был там, и улики были такие веские, что он счел за лучшее оттуда убраться. Так вот, стало быть, он приходит к нам и арендует эту землю, на которую мы в нынешнем году уже совсем было рукой махнули, и мы, чинно-благородно, как полагается, отпускаем ему товар из своей лавки. И он снимает урожай, хозяин чин чином его продает и кладет денежки в карман, а когда этот малый приходит за своей долей, тут-то хозяин ему и говорит: "Что это такое я слышал насчет тебя и какой-то там конюшни?" Только и всего. "Что это такое я недавно слышал насчет тебя и какой-то конюшни?" - Две пары глаз впились друг в друга - мутноватые, чуть навыкате и маленькие, жесткие, голубые. - Что он на это скажет? Что он сможет сказать, кроме: "Ладно. Что вы теперь со мной сделаете?"

- Ты потеряешь на товарах, которые он из лавки возьмет.

- Тут уж ничего не попишешь. Но в конце концов если человек задарма, за здорово живешь, убирает тебе урожай, можно, по крайней мере, его кормить, пока он работает... Обожди-ка, - вдруг сказал он. - Сто чертей, да и того-то делать не придется, я просто подброшу ему на порог охапку трухлявых дранок и спички назавтра, как он управится с окучиванием, и он поймет, что его песенка спета и что ему ничего не остается, кроме как снова собираться в дорогу. Так он уедет на два месяца раньше, меньше возьмет в лавке, а нам нужно будет только нанять поденщиков, чтобы собрали его урожай. - Они пристально глядели друг другу в глаза. Для одного дело было уже сделано, закончено, он видел воочию его результаты, хотя сейчас, когда он говорил об этом, до конца оставалось еще добрых полгода. - Сто чертей, куда ему деваться! Он и не пикнет! Не посмеет!

- Гм, - сказал Билл. Он вынул из кармана расстегнутого жилета прокуренную тростниковую трубку и принялся ее набивать. - От таких лучше подальше держаться.

- Ладно, - сказал Джоди. Он достал зубочистку из фарфоровой коробочки и откинулся на спинку стула. - Конюшни поджигать никому не позволено. А ежели кто охоч с огнем баловаться, поделом ему, пускай на себя пеняет.

Он не поехал заключать контракт ни завтра, ни послезавтра. Но на третий день, после полудня, привязав свою чалую лошадь к столбу галереи, он сидел за конторкой в задней комнате лавки, ссутулившись, сдвинув черную шляпу на затылок, положив на бумагу темную мохнатую руку, неподвижную и тяжелую, как окорок, и, зажав перо в другой, своим неуклюжим, медленным размашистым почерком писал контракт. А через час, с контрактом в кармане, аккуратно промокнув и сложив бумагу, он был уже в пяти милях от деревни и остановил лошадь на дороге, заметив фургончик. Видавший виды фургончик был покрыт засохшей зимней грязью и запряжен парой косматых лошадок, пугливых и беспокойных, как горные козлы, и почти таких же малорослых. В задке фургончика была установлена железная будка, с виду настоящая собачья конура, разрисованная под домик, и в каждом нарисованном окошке над нарисованною швейной машиной застыло в глуповатой улыбке нарисованное женское лицо, и Уорнер, огорошенный и растерянный, уставился на владельца фургончика, который приветливо осведомился:

- Я слышал, Джоди, у вас новый арендатор?

- Сто чертей! - сказал Уорнер. - Да неужто он и вторую конюшню подпалил? Его раз поймали, а он снова за свое?

- Как сказать, - ответил владелец фургончика, - утверждать ничего не стану. Поджигал он там чего или не поджигал, не знаю, могу только сказать, что две конюшни загорелись и что он к этому имеет какое-то касательство. Огонь, можно сказать, бежит за ним по пятам, как за иными людьми собаки. Он говорил приятным, ленивым, ровным голосом, так что сразу и не разобрать было, что проницательности в нем даже больше, чем насмешки. Это был Рэтлиф, агент по продаже швейных машин. Он жил в Джефферсоне и разъезжал по четырем окрестным округам на своих крепких лошадках, в фургончике с размалеванной будкой, где хранилась настоящая швейная машина. Сегодня он еще здесь, а завтра его потрепанный, забрызганный грязью фургончик с крепкой, хоть и разномастной парой лошадок можно было увидеть уже в другом округе, где-нибудь в тени, а сам Рэтлиф, с ласковым, приветливым, открытым лицом, в чистой синей рубашке без галстука сидел на корточках среди мужчин на перекрестке у порога лавки, или (все так же на корточках, все так же, казалось бы, беззаботно болтая, но на самом деле внимательно прислушиваясь, как выяснялось потом) среди женщин, меж веревок, сплошь увешанных бельем, лоханей и закопченных стиральных баков, у родника или колодца, или же чинно восседал на плетеном стуле на галерее перед домом, любезный, приветливый, учтивый, остроумный и непроницаемый. Продавал он от силы машины три в год, а остальное время приторговывал землей, скотом, подержанным сельскохозяйственным инвентарем, музыкальными инструментами и любым товаром, от которого владелец не прочь был избавиться, переносил из дома в дом, не хуже газеты, новости, собранные с четырех округов, и точно по адресу, с исправностью почты, передавал вести о свадьбах, похоронах и рецепты

солений и варений. Он помнил все имена и знал каждого человека, каждого мула и пса на пятьдесят миль вокруг. - Можно сказать, огонь бежал за ними, когда Сноупс подъехал к дому, который ему сдал де Спейн, подъехал вместе со всем своим барахлом, тем же самым манером, что и к тому дому, где они жили у Гарриса, или где там еще, подъехал и говорит: "Заходите", - будто печка, кровати и стулья сейчас сами вылезут и зайдут в дом. Небрежно говорит, но здорово так, запросто, потому как они привыкли кочевать с места на место, а пособить было некому. Ну вот, Эб и тот старший, Флем (у них был еще один, младший, помню, я его где-то раз видел. Но тогда его с ними не было. Или, по крайней мере, теперь нету. Может, они забыли его предупредить, и он не успел выскочить из конюшни), сидят себе на козлах, а две здоровенные девки на стульях в фургоне, а миссис Сноупс и ее сестра, вдова, сзади на каком-то хламе, и похоже, что всем наплевать выгрузятся они или нет, и они сами, и барахло ихнее. Фургон стоит перед домом, а Эб глядит на этот дом и говорит: "Да он под свинарник и то не годится".

Сидя на лошади, Уорнер глядел на Рэтлифа молча, с нескрываемым ужасом.

- Ну ладно, - сказал Рэтлиф. - А потом миссис Сноупс и вдова вышли и стали разгружать фургон. А те две девки и с места не двинулись, знай посиживают на стульях, расфуфыренные, в воскресных нарядах, и жуют резинку, но тут Эб обернулся да как обложит их, они и выскочили из фургона во двор, а там миссис Сноупс и вдова воевали с печкой. Он шуганул их, как пару телок, которые слишком дорого стоят, чтобы взбодрить их как следует палкой, а потом они с Флемом сидели и глядели, как эти две дылды вынули из фургона старую метлу и фонарь и опять стоят, не двигаются, покуда Эб не вытянул ближнюю вожжами по заднице. "Ступайте, пособите матери печку тащить, живо!" - заорал он им вслед. А потом они с Флемом слезли на землю и пошли к де Спейну.

- В конюшню? - воскликнул Уорнер. - Вы хотите сказать, что они пошли прямо туда...

- Да нет же. Это после. Конюшня была после. Они тогда, может, еще и не знали, где она. Конюшня сгорела своим чередом, дотла, тут уж надо отдать ему справедливость. А то они просто пришли в гости, по дружбе, потому что Сноупс уже знал, где его земля, и ему бы прямо начинать пахоту, тем более что май был уже в половине. Вот как сейчас, - добавил он самым что ни на есть невинным тоном. - Впрочем, говорят, он всегда заключает контракты чуть не последним. - Он не смеялся. Лукавое, смуглое лицо с лукавыми непроницаемыми глазами было приветливо и спокойно, как всегда.

- Ах так, - со злостью сказал Уорнер. - Ну, ежели он действует, как вы говорите, то, пожалуй, мне до самого рождества и беспокоиться не о чем. Ну, ну, дальше. Что он делает перед тем, как чиркнуть спичкой? Может, я хоть какие-нибудь признаки вовремя замечу.

- Ладно, - сказал Рэтлиф. - Стало быть, пошли они по дороге, миссис Сноупс и вдова остались воевать с печкой, а обе девки так и стояли с проволочной крысоловкой и ночным горшком в руках; дошли они до усадьбы майора де Спейна и свернули по боковой дорожке, а на ней была куча свежего конского навозу, и тамошний черномазый сказал, что Эб нарочно наступил в самую середку. Может, этот черномазый подглядывал за ними через окно. Как бы там ни было, Эб наследил на крыльце и постучал, а когда черномазый велел ему вытереть ноги, Эб его оттолкнул и вошел, и черномазый говорит, что он вытер ноги прямо о стодолларовый ковер и стоит, орет: "Эй! Эй, де Спейн, здорово!" - и наконец пришла миссис де Спейн, поглядела на ковер и на Эба и вежливо так попросила его уйти. А потом сам де Спейн пришел домой к обеду, и, думается мне, миссис де Спейн, наверно, ему нажаловалась, потому что под вечер он прискакал на лошади к дому Эба и с ним черномазый на муле, а за спиной у черномазого свернутый ковер, а Эб сидел на стуле у дверей, и де Спейн заорал: "Какого дьявола вы не в поле?", а Эб ответил - встать он и не подумал, - что ему, мол, желательно начать завтра и что он никогда не делает почина в первый день, но только это уж статья особая. Наверно, миссис де Спейн все правильно ему нажаловалась, потому что он только и сказал, не слезая с лошади: "Черт бы вас побрал, Споупс, черт бы вас побрал!" - а Эб ему на это, не вставая: "Если б я так дрожал над своим ковром, то на вашем месте навряд ли положил бы его там, где всякий, кто войдет, беспременно на него наступит". - Рэтлиф и теперь

не смеялся. Он сидел в фургончике легко и непринужденно, гладко выбритый, чистый, в безупречно чистой, хоть и вылинявшей рубашке, и его хитрые умные глаза спокойно смотрели со смуглого лица, голос звучал приветливо, неспешно и чуть шутливо, а сверху на него глядел побагровевший, надутый Уорнер. - Ну так вот, Эб посидел еще немного, а потом заорал в открытую дверь, выходит одна из этих дылд, и Эб ей говорит: "Возьми этот ковер и вымой". А на другое утро черномазый нашел на крыльце, под дверью, свернутый ковер, и на крыльце - опять следы, только теперь это была просто грязь, а миссис де Спейн, говорят, как развернула ковер, всыпала де Спейну еще почище прежнего - черномазый сказал, что похоже было, будто они заместо мыла оттерли ковер битым кирпичом, - потому что де Спейн еще до завтрака, натощак, примчался к Эбу на двор, а Эб с Флемом как раз запрягали, чтоб ехать в поле, и, не слезая с кобылы, злющий как шершень, давай крыть на чем свет стоит не то чтобы именно Эба, а вообще все ковры и весь навоз на свете, а Эб ему ни слова, знай себе подпруги затягивает да гужи прилаживает, а потом де Спейн говорит, что за ковер во Франции сто долларов плочено и что он взыщет за него с Эба двести бушелей из будущего урожая, а Эб еще и сеять-то не начинал. С тем де Спейн и уехал домой. И может, он бы понял, что все это без толку. Может, едва взявшись, сообразил бы, что дело это канительное, а миссис де Спейн помаленьку перестала бы его подзуживать, так что ко времени уборки он бы и думать забыл про эти двести бушелей. Но только Эбу этого было мало. И вот, кажется, назавтра под вечер, лежит майор у себя на дворе, разувшись, в гамаке из бочарной клепки, и заявляется к нему шериф,

- Сто чертей! - пробормотал Уорнер. - Сто чертей!

- Ну да, - сказал Рэтлиф. - Вот и де Спейн сказал примерно то же самое, когда наконец уразумел, что к чему. Приходит суббота, к лавке подкатывает фургон, и вылезает Эб в этой своей шляпе и сюртуке, как у проповедника, и ковыляет прямо к столу, припадая на хромую ногу, которую ему прострелил сам полковник Джон Сарторис, еще в войну, когда Эб хотел было свести у него гнедого жеребца, - это дядюшка Бэк Маккаслин рассказывал, - и судья ему говорит: "Я рассмотрел вашу жалобу, мистер Сноупс, но мне не удалось найти в законе ни слова насчет ковров, не говоря уж о навозе. И все же я готов принять вашу жалобу во внимание, потому что двести бушелей для вас слишком много, вам столько не уплатить, вы ведь человек слишком занятой и вырастить двести бушелей кукурузы у вас времени не хватит. А потому я постановил взыскать с вас за испорченный ковер десять бушелей".

- И тогда он поджег, - сказал Уорнер. - Так, так.

- Этого я бы, пожалуй, не сказал, - заметил Рэтлиф. - Я бы скорее сказал так: в ту самую ночь у майора де Спейна загорелась конюшня и сгорела дотла. Но только де Спейн каким-то образом оказался там в это самое время, один малый слышал, как он проскакал на своей кобыле по дороге. Я не говорю, что он поспел вовремя, чтобы погасить огонь, но зато поспел он в самое время, чтобы застать кое-кого из чужаков, кому нечего было околачиваться возле его конюшни, так что он взял да и выстрелил, выпалил, не слезая с седла, в него или в них три, а то и четыре раза, покуда чужак не юркнул у него перед самым носом в канаву, и гнаться за ним на лошади он уже не мог. И сказать, кто это был такой, он тоже не мог, потому как всякая тварь захромать может и никому не возбраняется иметь белую рубашку, но только вот когда он прискакал к дому Эба (а он это сделал мигом, потому что тот малый своими ушами слышал, он мчался как бешеный), Эба и Флема там не было, и вообще никого там не оказалось, кроме четырех женщин, а шарить под кроватями или еще где де Спейну было некогда, потому что рядышком с конюшней стоял амбар под кипарисовой крышей. Вот он и поскакал назад, а там его черномазые таскают бочонками воду и мочат мешки, чтобы прикрыть крышу амбара, и первый, кого де Спейн увидел, был Флем, он стоял в белой рубашке, засунув руки в карманы, смотрел и жевал табак. "Добрый вечер, - говорит Флем. - Сено-то как быстро прогорает", а де Спейн, сидя на лошади, заорал: "Где твой папаша? Где этот..." - а Флем ему: "Если его нету где-нибудь здесь, значит, он пошел назад домой. Мы с ним вместе вышли, как огонь увидели". А де Спейн знал, откуда они вышли и почему. Но все это было без толку, потому что, говорю вам, где угодно можно встретить двух мужчин, и чтобы один хромал, а на другом была белая рубашка. А еще де Спейну показалось, когда он выстрелил в первый раз, будто один из них

плеснул в огонь керосином. И вот на другое утро сидит он и завтракает, а брови и волосы он себе порядком подпалил накануне, и вдруг входит черномазый и говорит, что какой-то человек его спрашивает, и он пошел в контору, а там Эб, уже в шляпе и сюртуке, и фургон уже снова нагружен, только Эб поставил его в стороне от дома, чтоб видно не было. "Похоже, что нам с вами никак не сладиться, - говорит Эб, - и, по мне, уж лучше сразу бросить это дело, покуда у нас не вышло какого недоразумения. Я уезжаю сегодня же утром". Де Спейн на это говорит: "А ваш контракт?" А Эб ему: "Я его расторг". А де Спейн все сидит на месте и повторяет: "Расторг, расторг", - а потом говорит: "Я бы расторг и его, и еще сотню других и швырнул бы их в ту конюшню, только бы узнать наверняка, в вас это или не в вас я стрелял прошлой ночью". А Эб ему: "Что ж, подайте на меня в суд, там разберутся. Сдается мне, мировые судьи у вас всегда решают в пользу истца".

- Сто чертей, - снова пробормотал Уорнер. - Сто чертей.

- Ну вот, Эб повернулся и пошел, припадая на ту ногу, что у него не гнется, пошел назад...

- И спалил дом арендатора, - сказал Уорнер.

- Да нет же. Может, он и обернулся и поглядел на дом, как говорится, с сожалением, когда отъезжал. Но только никаких пожаров больше не было. То есть в ту пору. Я не...

- Вон оно что, - сказал Уорнер. - Вы, значит, говорите, что когда де Спейн стал в него стрелять, он плеснул остаток керосина в огонь. Так-так. Он весь надулся, побагровел. - И надо же - изо всей округи я выбрал именно его, чтобы подписать контракт! - Он засмеялся. Вернее, стал произносить скороговоркой: "Ха, ха, ха", - но смеялся он только голосом, ртом, а лицо, глаза оставались серьезными. - Ну что ж, как ни приятно мне поболтать с вами, а надо ехать. Может, еще сумею уговорить его разойтись подобру-поздорову и отделаюсь каким-нибудь старым пустым сараем.

- Или в крайнем случае пустой конюшней, - крикнул Рэтлиф ему вслед.

А через час лошадь Уорнера вместе со своим седоком снова остановилась, на этот раз перед воротами, или, вернее, перед брешью в загородке из обвисшей, ржавой проволоки. Сами ворота, или то, что от них осталось, лежали, сорванные с петель, в стороне, и сквозь щели между трухлявыми планками густо пробилась трава, словно меж ребер забытого скелета. Уорнер тяжело дышал, но не оттого, что скакал галопом. Наоборот, подъезжая все ближе, так что уже можно было бы увидеть дым над трубой, если бы этот дым над нею был, он все больше сдерживал лошадь. Он остановился у отверстия в изгороди, и его даже пот прошиб, он тяжело сопел, глядя на покосившуюся, сгорбленную лачугу, немилосердно потрепанную непогодой и цветом похожую на старый улей, и на голый, ни деревца, ни травинки, двор, и мысль его работала лихорадочно и напряженно, как у человека, который подходит к неразорвавшемуся орудийному снаряду.

- Сто чертей, - тихо сказал он снова. - Сто чертей. Он уже три дня как въехал и даже ворота не навесил. А я сказать ему об этом не смею. Не смею и вида показать, что знаю про загородку" и что к ней нужно приладить эти ворота. - Он яростно рванул поводья. - А ну! - крикнул он лошади. - Чего стала, как неживая, гляди у меня, застрянешь здесь - еще и тебя подожгут!

Дорога (она не была ни мощеной, ни даже накатанной, - просто две параллельные, едва различимые колеи, оставленные колесами фургона и почти заросшие бурьяном и молодой травой) вела к шаткому, без ступеней, крыльцу этого вымершего дома, на который он теперь смотрел с напряженной, натянутой, как струна, настороженностью, словно подходя к западне. Он смотрел так пристально, что не замечал никаких подробностей. Вдруг в выбитом окне показалась голова в серой суконной кепке, Джоди не мог бы сказать, когда она там появилась; человек жевал, и челюсть его двигалась непрерывно и равномерно, выпячиваясь вбок, а когда Джоди крикнул: "Эй, там!" - голова вдруг исчезла. Он хотел было крикнуть снова, но увидел, что за домом, у ворот загона, двигаясь, как деревянная фигурка, возится человек, которого он сразу узнал, хотя сюртука на нем не было. Сначала до него донеслась мерная жалоба ржавого колодезного блока, а потом он услышал, не разбирая слов, два громких, однообразных женских голоса. Он объехал дом и увидел сруб с узкой высокой перекладиной, похожей на

виселицу, а около него двух рослых девушек, они стояли неподвижно и с первого взгляда напоминали скульптурную группу в своей удивительной застывшей неподвижности (еще более подчеркнутой тем, что обе говорили одновременно, обращаясь к кому-то очень далекому, а может, и вовсе ни к кому не обращаясь и не слушая друг друга), хотя одна из них ухватилась за колодезную веревку, перегнувшись и напряженно вытянув руки, удерживавшие полное ведро, точь-в-точь фигурка из ребуса или рельеф, изображающий огромное физическое усилие, которое замерло в самом начале, но через миг блок снова завел свою ржавую жалобу и снова оборвал ее почти мгновенно, а за ним смолкли и оба голоса, как только вторая женщина увидела Уорнера, а первая застыла, оборотившись к нему и опустив руки, и два широких, бессмысленных лица разом, как по команде, повернулись, провожая его взглядом.

Он пересек пустой двор, захламленный мусором, оставшимся от прежних обитателей, - золой, черепками, жестянками. У загородки работали еще две женщины, которые, как и мужчина, уже знали о его приезде, потому что он видел, как одна из женщин оглянулась. Но мужчина ("у, истукан, карлик колченогий, душегуб!" - с бессильной злобой выругался про себя Уорнер) не поднял головы и продолжал возиться у ворот до тех пор, пока Уорнер не подъехал к нему вплотную. Обе женщины теперь смотрели на него. Одна была в выцветшем чепце, другая - в бесформенной шляпе, которую прежде, должно быть, носил мужчина, - в руке у нее была ржавая жестянка, до половины наполненная погнутыми, ржавыми гвоздями.

- Добрый вечер! - сказал Уорнер и не сразу сообразил, что он почти кричит. - Добрый вечер, сударыни!

Мужчина не спеша обернулся, держа в руке молоток - ржаная головка с обломленным расщепом была насажена на неокоренный сук, вытащенный прямо из поленницы, - и Уорнер снова заглянул в холодные, непроницаемые, агатовые глаза под хмурым изломом бровей.

- Здрасьте, - сказал Сноупс.

- Вот надумал заехать, узнать, что вы тут решили, - сказал Уорнер все еще слишком громко, словно не мог совладать со своим голосом. "Ладно уж, не до этого", - подумал он и сразу мысленно зачертыхался, словно спохватившись, что тут ни на минуту отвлечься нельзя, а то бог знает, чем дело кончится.

- Я, пожалуй что, останусь, - сказал Сноупс. - Правда, дом под свинарник и то не годится. Ну да как-нибудь управимся.

- Как это так! - сказал Уорнер. Нет, не сказал, крикнул, ему уже было все равно; и вдруг замолчал. Он перестал кричать и вообще замолчал, потому что сказать было нечего, хотя в голове у него быстро промелькнуло: "О черт, сказать им: "Проваливайте отсюда" - боюсь, а куда их денешь, - некуда мне их девать, и арестовать его за поджог конюшни не смею, боюсь, он и меня подпалит". Сноупс уже снова отвернулся было к загородке, когда Уорнер наконец заговорил. Теперь он стоял к Уорнеру боком и глядел на него не то чтобы вежливо или хотя бы терпеливо, а просто выжидающе. - Ладно, - сказал Уорнер. - Мы еще поговорим насчет дома. И отлично столкуемся. Вот увидите. Ежели что не так, вам только нужно прийти ко мне в лавку. Впрочем, и ходить незачем: вы только дайте мне знать - и я сам мигом сюда приеду. Поняли? Все, решительно все, что вам не понравится...

- Я с кем угодно могу столковаться, - сказал Сноупс. - Я столковался с пятнадцатью, а может, и с двадцатью разными хозяевами с тех пор, как арендую фермы. А ежели не могу столковаться, то ухожу. Больше вам от меня ничего не надо?

"Ничего, - подумал Уорнер. - Ничего". Он ехал назад через двор, через все это захламленное запустение, по вытоптанной земле, с рубцами золы, обуглившихся головешек и закоптелых кирпичей - в тех местах, где ставили раньше бельевые баки или шпарили свиные туши. "Лучше бы у меня ничего не было, кроме той малости, без которой никак не обойтись", - подумал он. Он снова услышал скрип колодезного блока. На этот раз скрип не смолк, когда Уорнер проезжал мимо, и два широких лица - одно неподвижное, другое мерно, как метроном, поднимавшееся и опускавшееся в лад скрипучей жалобе колодца, снова медленно повернулись, словно на одном шарнире, а Уорнер обогнул дом и снова оказался на едва приметной дорожке, шедшей к зияющей дыре ворот, которые, он знал это, и в следующий раз,

когда он приедет сюда, будут валяться в траве. Контракт все еще лежал у него в кармане, этот контракт он писал со спокойным чувством удовлетворения, а сейчас ему казалось, что это чувство испытывал вовсе не он, а какой-то другой человек. Контракт так и остался неподписанным. "Можно бы включить в него особый пункт насчет поджога", - подумал он. Но он даже не остановил лошадь. "Да-а, - подумал он. - И повесить его на новую конюшню заместо вывески". И поехал дальше. Было уже поздно, и он пустил лошадь рысцой, чтобы она могла бежать почти до самого дома, переводя дух на спусках, и отъехал довольно далеко, как вдруг заметил под деревом у дороги человека, чье лицо он видел в окне дома. Только что у дороги никого не было, и вот уже на опушке рощицы стоит этот человек та же суконная кепка, то же равномерное движение челюсти, по-видимому, никчемное и непроизвольное, почти как у лошади, - стоит, словно очутился здесь по чистейшей случайности, но об этом Уорнер вспомнит и задумается лишь позже. Он чуть было не проехал мимо, но успел осадить лошадь. Теперь он не кричал, его большое лицо было приветливым и оживленным.

- Здравствуйте, - сказал он. - Вы Флем, верно? А я Уорнер.

- Вот как? - сказал другой. Он сплюнул. У него было широкое плоское лицо и мутные, цвета болотной воды, глаза. С виду он был добродушный, похож на самого Уорнера, только на голову ниже его да одет в грязную белую рубашку и дешевые серые штаны.

- Я хотел с вами потолковать, - сказал Уорнер. - Говорят, у вашего отца раз или два бывали мелкие неприятности с хозяевами. Эти неприятности могли скверно для него обернуться. - Тот все жевал. - Может, хозяева обходились с ним не по справедливости, я этого не знаю и знать не хочу. Я только вот что хочу сказать: ошибку, всякую ошибку можно исправить так, чтобы люди остались друзьями, даже если кто чем и не доволен. Правильно я говорю? - Тот упорно жевал. Лицо у него было неподвижное, похожее на противень с сырым тестом. Только пусть не думает, что единственный способ доказать свои права - это сделать что-нибудь такое, из-за чего ему придется назавтра уносить ноги, сказал Уорнер. - А то ведь наступит день, когда окажется, что уносить ноги больше некуда.

Уорнер замолчал. На этот раз он молчал так долго, что тот наконец заговорил, хотя Уорнер не был уверен, что он заговорил именно поэтому:

- На земле места много.

- Конечно, - сказал Уорнер, ласковый, добродушный, грузный. - Но совсем ни к чему ездить с места на место. Тем более из-за пустяка, ведь, ежели б сразу взяться и все уладить, то и оказалось бы, что дело выеденного яйца не стоит. А уладить его можно бы в пять минут, ежели б нашелся кто другой и уговорил того, первого, который, скажем, слишком горяч, что ли, объяснил бы ему: "Ладно, оставайся здесь. Хозяин и не думает тебя обвиноватить. Ты только потолкуй с ним тихо-мирно, и все устроится. Я-то знаю, ОН МНЕ САМ ОБЕЩАЛ". - Уорнер замолчал. - В особенности ежели б этому парню, о котором речь, тому, что повлиял бы на первого и все это ему втолковал, самому была бы выгода, покуда этот первый сидит смирно.

Уорнер снова замолчал. Немного погодя тот снова заговорил:

-Какая выгода?

- Ну, хорошая ферма. Кредит в лавке. Вволю земли, сколько сможет обработать.

- Ковыряться в земле - какая уж тут выгода. Я думаю это дело бросить.

- Ладно, - сказал Уорнер. - Допустим, этот малый захотел бы пойти по другой части. Для этого надо, чтоб ему помогли, дали ему заработать. А есть ли лучший способ...

- Вы держите лавку? - сказал тот.

- ...лучший способ...- повторил Уорнер и замолчал. - Что? - сказал он.

- Я слыхал, вы держите лавку.

Уорнер уставился на него. Теперь лицо его уже не было приветливым. Оно было только очень спокойным и очень сосредоточенным. Он сунул руку в нагрудный карман и достал сигару. Сам он не курил и не пил: организм его был так совершенен от природы, что, как он, верно, выразился бы сам, чувствовать себя лучше уже некуда. Но он всегда имел при себе две-три сигары.

- Хотите сигару? - спросил он.

- Я не курю.

- Только жуете, а?

- Жую, покуда весь сок не высосу. На десять центов в неделю. А спички мне без надобности.

- И слава богу, - сказал Уорнер. Он посмотрел на сигару; потом сказал тихонько: - Бог даст, и не понадобятся ни вам, ни кому другому из ваших. Он сунул сигару обратно в карман и со свистом выпустил воздух. - Ладно, сказал он. - Осенью. Когда он соберет урожай. - Во время этого разговора он ни разу не мог бы сказать с уверенностью, когда Флем смотрит на него, а когда нет, но теперь он видел, как тот поднял руку и с бесконечной осторожностью снял с рукава воображаемую пылинку. Уорнер снова выпустил воздух через нос. Но теперь это был вздох. - Ладно, - сказал он. - На той неделе. Можете обождать до тех пор? Но вы должны мне поручиться...

Тот сплюнул.

- В чем? - сказал он.

Через две мили Уорнера застигла темнота, короткие предмайские сумерки, в которых среди черных деревьев смутно белели кусты кизила, вздымая к небу руки, как монахини на молитве; зажглась первая звезда, и уже кричали козодои. Торопясь к яслям, лошадь ходко бежала в вечерней прохладе, как вдруг Уорнер рванул поводья и остановился.

- Сто чертей! - сказал он. - А ведь он выбрал такое место, где из дома его никто видеть не мог.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Подъезжая к Французовой Балке и везя в будке вместо швейной машины подержанный граммофон и новехонький набор зубьев для бороны, еще в фабричной упаковке, Рэтлиф, агент по продаже швейных машин, увидел старую белую кобылу, чутко дремавшую у загородки, и еще через мгновение - самого Билла Уорнера, который сидел на своем самодельном стуле, а позади него, на склоне холма, раскинулись лохматые лужайки и запущенный сад усадьбы Старого Француза.

- Добрый вечер, дядюшка Билл, - сказал он приятным, учтивым и даже почтительным тоном. - Я слышал, вы с Джоди взяли в лавку нового приказчика.

Уорнер пристально посмотрел на него, насупив рыжеватые брови над колючими маленькими глазками.

- Стало быть, уже разнесли слух, - сказал он. - Много со вчерашнего дня объехали?

- Миль семь-восемь сделал.

- Ха! - сказал Уорнер. - Нам нужен приказчик.

Это была правда. Им нужен был человек, который по утрам отпирал бы лавку, а по вечерам снова запирал ее - только от приблудных собак, потому что даже бродяги, как и приблудные негры, не оставались во Французовой Балке затемно. Джоди Уорнеру приходилось иногда отлучаться из лавки на целый день, а Билл вообще никогда там не бывал. Покупатели входили и сами брали что надо, себе и другим, а деньги за товары, цены которым они знали так же точно, до цента, как сам Джоди, клали в коробку из-под сигар, стоявшую под круглой проволочной сеткой, которой покрывают сыр, словно все это - коробка из-под сигар, и засаленные бумажки, и стертые монеты - было приманкой в западне.

- Что ж, по крайности, он будет каждый день пол подметать, - сказал Рэтлиф. - А такое условие не всякому удается вписать в страховой полис, когда страхуешься от пожара.

- Ха! - снова сказал Уорнер. Он встал со стула, не переставая жевать табак. Потом вытащил изо рта жвачку, похожую на клочок мокрого сена, бросил ее и обтер ладонь об штаны. Он подошел к загородке, в которой кузнец по его указанию устроил хитроумный проход, действовавший точь-в-точь как нынешний турникет (ни кузнец, ни сам Уорнер никогда не видели ничего подобного), только, вместо того чтобы опустить монету, надо было поднять чеку с цепочкой.

- Поезжайте к лавке верхом на моей лошади, а я возьму вашу упряжку, сказал Уорнер. - Хочу прокатиться в вашем фургончике.

- Мы можем привязать лошадь к задку и сесть вдвоем, - сказал Рэтлиф.

- Нет, езжайте верхом, - сказал Уорнер. - Под самым боком вы мне сейчас ни к чему. По-моему, вы иногда слишком уж умничаете.

- Как хотите, дядюшка Билл, - сказал Рэтлиф.

Он закрепил колеса тормозом, чтобы Уорнеру удобней было сесть, а сам взобрался на лошадь. Они тронулись, и Рэтлиф поехал чуть позади, так что Уорнер бросал ему слова через плечо, не оборачиваясь.

- Этот наш пожарный...

- Ну, это ведь неизвестно, - мягко сказал Рэтлиф. - В том-то и загвоздка. Если уж приходится выбирать между убийцей и человеком, которого только подозреваешь в убийстве, конечно, выберешь убийцу. По крайности, знаешь точно, на что идешь. Будешь глядеть в оба.

- Ладно, ладно, - сказал Уорнер. - В таком случае назовем его жертвой клеветы и оговора. Так что вы об нем знаете?

- Да ничего особенного. Только то, что слышал от людей. Сам я не видел его вот уж восемь лет. Тогда у него был еще один мальчишка, кроме Флема. Маленький. Теперь ему было бы лет десять - двенадцать. Видать, он потерялся во время какого-нибудь из ихних переездов.

- Может, за эти восемь лет вы об нем много наслышались, решили, что он от своих старых штук отрекся?

- Оно конечно, - сказал Рэтлиф. Легкий ветерок относил в сторону пыль, поднятую копытами трех лошадей, и она ложилась на пупавку и полынь, которые только что зацвели в придорожных канавах. - Восемь лет. А перед тем я его еще лет пятнадцать не встречал. Я рос неподалеку от тех мест, где жил он. Или нет, это он года два прожил там, где я рос. Он и мой папаша оба арендовали землю у одного старика, Энса Холленда. Эб тогда барышничал, лошадьми торговал. И я как раз был там, когда он потерпел на этом деле неудачу и стал простым арендатором. По натуре он не подлец. Он просто озлобился.

- Озлобился, - сказал Уорнер. Голос звучал теперь насмешливо, почти презрительно. - Джоди приходит вчера вечером, поздно. Я сразу все понял, как только поглядел на него. Точь-в-точь как прежде, когда он, бывало, мальчишкой нашкодит и знает, что я назавтра все равно узнаю, вот и торопится сам, первый, мне рассказать. "Я взял приказчика", - говорит. "Зачем? спрашиваю. - Разве Сэм стал плохо чистить тебе ботинки по воскресеньям?" А он как заорет: "Я должен был, должен был его нанять, должен, слышишь!" И лег, а к ужину и не притронулся. Не знаю уж, хорошо ли он спал; я не прислушивался. Но нынче утром он как будто малость успокоился. Да, куда спокойнее стал. "Может, от него и польза будет", - говорит. "Не сомневаюсь, говорю. Но ведь на этот случай и закон есть. А потом почему бы просто-напросто не снести их домишко? Ты бы мог даже продать его на дрова". А он глядит на меня, глаз не сводит. Только и ждет, покуда я замолчу, он, оказывается, ночью уже все обдумал. "Взять, говорит, к примеру, такого человека, как он. Человека независимого, который себя в обиду не даст, постоит за свои права и выгоды. И допустим, его права и выгоды - это в то же самое время права и выгоды еще одного человека. Допустим, его прибытки в то же самое время прибытки этого человека, который платит жалованье кое-кому из его родичей, а те блюдут интересы его дела. Допустим теперь, что это такое дело, в котором прибытки от времени до времени (а ты знаешь это не хуже моего, говорит) или, лучше сказать, все время растут, а он в них не участвует, этот человек, который тоже не прочь нажиться, этот независимый..."

- С таким же успехом он мог бы сказать "опасный", - сказал Рэтлиф.

- Да, - сказал Уорнер. - Ну и что же?

Вместо ответа Рэтлиф сказал:

- Лавка ведь не на Джоди записана, верно? - И сам же ответил себе, прежде чем Уорнер успел открыть рот: - Ну, ясно. И спрашивать было незачем. Но вообще-то... Флем, которого Джоди взял в приказчики... Покуда Джоди его держит, может, старый Эб...

- Мне плевать, - сказал Уорнер. - А вы сами что об этом думаете?

- Хотите знать, что я на самом деле думаю?

- А я о чем спрашиваю, черт побери?

- Я думаю то же, что вы, - спокойно сказал Рэтлиф. - Что из всех, кого я знаю, только двое могут позволить себе шутить с этими типами. Фамилия одного Уорнер, но зовут его не Джоди.

- А второй кто? - сказал Уорнер.

- Это тоже пока еще неизвестно, - ласково сказал Рэтлиф.

2

Кроме Уорнеровой лавки, хлопкоочистительной машины, мельницы с крупорушкой, кузни, сдаваемой в аренду, школы, церкви и трех десятков домишек, в каждом из которых был слышен звон обоих колоколов, на Французовой Балке был конный двор с конюшней, а рядом с ним тенистый, хотя и без клочка травы участок, на котором стояло громоздкое, неуклюжее строение, частью дощатое, частью бревенчатое, некрашеное, местами надстроенное, которое именовалось "Гостиница Литтлджон", и там, за приколоченной к дереву, полусмытой дождями вывеской, на которой красовалось: "НОМИРА с ХАРЧАМИ", ночевали и столовались разъезжие торговцы и скотопромышленники. У стены длинной веранды в ряд вытянулись стулья. В тот вечер, поставив фургончик и лошадей в конюшню, Рэтлиф сидел после ужина на веранде с пятью или шестью мужчинами, которые прибрели сюда из соседних домов. Эти люди бывали здесь всякий вечер, но сегодня они собрались еще до захода солнца, то и дело поглядывая на темный фасад Уорнеровой лавки, - так люди собираются, чтобы молча поглазеть на холодную золу, оставшуюся после линчевания, или на приставную лестницу и открытое окно, через которое кто-то бежал, потому что белый приказчик, взятый на жалованье в лавку человека, который еще способен стоять на ногах и в здравом уме, по крайней мере настолько, чтобы обсчитывать не себя, а покупателей, был делом таким же неслыханным, как белая стряпуха на кухне у кого-нибудь из них.

- Что ж, - сказал один. - Не знаю, что он за парень, этот, которого Уорнер нанял. Но кровь не водица. И ежели у тебя родня такая лютая, что во всякий час может поджечь конюшню...

- Оно конечно, - сказал Рэтлиф. - Но только старый Эб не подлец. Он просто озлобился.

Все помолчали. Они сидели на стульях или на корточках, не видя друг друга в темноте. Уже совсем смерклось, об ушедшем солнце напоминало только бледно-зеленое пятно на северо-западе. Закричали козодои, светляки замерцали и зароились меж деревьев у дороги.

- Как так озлобился? - сказал наконец кто-то.

- А так, озлобился и все, - сказал Рэтлиф ласково, непринужденно, словоохотливо. - Сперва эта история, что была во время войны. Тогда он никого не трогал, никому не вредил и не помогал ни тем, ни другим, знай занимался своим делом - барышничал, промышлял лошадьми, а ведь ни барыш, ни лошади политики никак не касаются, и вдруг является какой-то тип, у которого и лошадей-то своих никогда не было, и стреляет ему в ногу. Ясное дело, это его озлобило. А потом другая история - с тещей полковника Сарториса, миссис Розой Миллард. Эб вошел с ней в долю, и они вместе торговали лошадьми и мулами, честно-благородно, не собираясь никого обижать, ни северян, ни южан, и на уме у него были только лошади да барыш, до тех пор, покуда миссис Миллард не застрелил этот малый, который величал себя майором Грамби, и тогда сын полковника, Баярд, и дядюшка Бэк Маккаслин вместе с одним черномазым поймали Эба в лесу, и что-то там было такое - привязали его к дереву или еще к чему и, может, даже всыпали ему хорошенько вожжами, а то и горячими шомполами, хотя все это только слухи. Так или иначе, а только после этого Эб забыл свою верность Сарторисам, и я слышал, будто он долгонько прятался в холмах, покуда полковник Сарторис не занялся строительством своей железной дороги, так что Эб мог выйти без опаски. Ну, и это озлобило его еще посильнее. Ему оставалось только одно - снова приняться за барышничество. И тут он нарвался на Пэта Стэмпера. И Пэт живо отбил у него охоту к этому делу. И уж тут он вконец осатанел.

- Так вы, значит, говорите, что они с Пэтом Стэмпером сшиблись лбами и он еще после этого ноги унес? - сказал кто-то. А Стэмпера здесь знали все. Он стал легендой, хоть и был

еще жив, легендой не только в этих краях, но и во всем Северном Миссисипи и Западном Теннесси - большой, грузный человек, в светлой широкополой дорогой шляпе, с холодными синеватыми, как лезвие нового топора, глазами: он разъезжал в фургоне, где у него лежала палатка, и ставил лошадь

против лошади, как картежник ставит карту против карты, столько же ради удовольствия одержать верх над достойным противником, сколько ради самого выигрыша, и ему помогал негр-конюх, артист в своем деле, такой же, как, скажем, скульптор в своем, который мог взять любого одра, в чем только душа держится, увести его в пустой сарай или в другое место, все равно куда, были бы только четыре стены, а потом, с ловкостью фокусника, вывести оттуда такого коня, что и родная мать, кобыла, его бы не узнала, не то что прежний хозяин; и действовали они, Стэмпер и негр, в каком-то нерушимом согласии, словно единый ум, против которого бессильны простые смертные, потому что они могли при этом действовать порознь, в разных местах, орудуя двумя парами ловких рук.

- Нет, ему еще больше посчастливилось, - сказал Рэтлиф. - Он остался целехонек. Потому что ежели Стэмпер кого и изничтожил, так это миссис Сноупс. Впрочем, она сама никогда этого не признавала. Вся ее промашка только в том и была, что она сама не поехала в Джефферсон за сепаратором, хотя, пожалуй, с самого начала знала, что рано или поздно, а поехать придется. Не Эб купил у Пэта Стэмпера лошадь и продал ему две, а миссис Сноупс. А Эб был между ними только посредником.

Все снова замолчали. Потом тот, что заговорил первым, сказал:

- Откуда вы все это знаете? Наверно, сами были при этом?

- Был, - сказал Рэтлиф. - Я вместе с ним ездил за сепаратором. Мы жили примерно в миле от них. Мой отец вместе с Эбом арендовал землю у старика Энса Холленда, и я частенько торчал вместе с Эбом около конюшни. Потому что я был помешан на лошадях, так же как и он. А он тогда еще не осатанел. Он еще жил со своей первой женой, с той, что он привез из Джефферсона, а потом, в один прекрасный день, ее папаша прикатил в фургоне, погрузил ее вместе со всеми ее пожитками и сказал Эбу, что если тот еще когда-нибудь перейдет Уайтлифский мост, он его пристрелит. Детей у них не было, а мне как раз пошел восьмой год, и я бегал к ним чуть не каждое утро и проводил с Эбом целый день, мы с ним сидели на загородке, а соседи приходили поглазеть, на какого одра он выменял моток проволоки или поломанные плуги и бороны старика Энса, и Эб врал, всегда в меру, сколько лет лошадке и сколько он за нее отдал. Он был помешан на лошадях и этого не отрицал, но совсем не так помешан, как говорила миссис Сноупс в тот день, когда мы привели лошадь Бисли Кемпа и пустили ее в загон, а сами пошли в дом и Эб разулся на веранде, чтобы ноги перед обедом малость поостыли, а миссис Сноупс стояла в дверях и грозилась сковородкой, а Эб сказал: "Ну-ну, Винни, полно, ты ведь сама знаешь, что я всегда был помешан на хороших конях, так что зря ты на меня напустилась. Лучше благодари бога за то, что я по его милости не только знаю толк в лошадях, но и разумом не обижен".

Потому что лошади, можно сказать, никакой и не было. И сделки тоже никакой не было. Или нет, сделка была, да еще какая, потому что Эб отдал Бисли за лошадь плужный лемех и старую, никуда не годную Энсову мельницу для сорго, так что даже миссис Сноупс должна была согласиться, что это сходная цена за животину, которая па собственных ногах доплелась от загона Бисли до ихнего, но только, как она сказала, грозясь сковородкой, Эба и не могли облапошить, потому что у него за душой ничего нет такого, что можно было б обменять хоть на самую ледащую лошаденку. И это не потому, что Эб загодя бросил плуг подальше в поле, чтобы миссис Сноупс не могла его из дому увидеть, и повез лемех и мельницу для сорго в фургоне окольным путем, чтобы жена думала, будто он тем временем в поле работает. Похоже, что она уже знала то, чего мы с Эбом не знали, - что лошадь побывала в лапах у Стэмпера, прежде чем попала к Бисли, и теперь, едва к ней притронувшись, Эб подцепил Пэт-Стэмперову хворь. И может, миссис Сноупс была права. Может, в душе Эб считал себя Пэтом Стэмпером Холлендовой фермы - или, может, даже всего Четвертого участка, но он, конечно, был убежден, что Пэт Стэмпер не придет к его загородке и не потребует у него удовлетворения

за этакую дерзость. Я просто уверен, что когда он сидел там, у себя на веранде, разутый, а па кухне шипела свинина и мы дожидались, покуда нам дадут поесть, чтобы пойти в загон и сесть на загородку, а люди пусть приходят и глядят, что за лошадь Эб привел на этот раз, - я уверен, что Эб тогда не только понимал в барышничестве не хуже Пэта Стэмпера, но мог бы потягаться и с самим стариной Энсом. И я уверен, что когда мы там сидели и, можно сказать, не двигались, только в тень от солнца отодвигались, а этот дурацкий плуг стоял в борозде на дальнем поле, а миссис Сноупс глядела на Эба через заднее окошко и ворчала себе под нос: "Тоже барышник выискался! Сидит себе, врет да бахвалится перед кучкой простаков, а хлопок и кукурузу сорняки до того заглушили, что я обед ему носить боюсь - того и гляди, змея укусит!" - я просто уверен, что Эб поглядывал на животину, которую он выменял на почтовый ящик, или на моток проволоки старика Энса, или на мешок озимой кукурузы, и говорил себе: "Видит бог, это не только моя лошадь, но это самая красивая лошадь из всех, какие мне попадались!"

Верно, так уж судьба распорядилась. Словно сам бог порешил купить лошадь на деньги миссис Сноупс, отложенные на сепаратор. И надо прямо сказать, что, избрав Эба, он напал на человека, который только и мечтал совершить для него эту сделку. В то утро, когда мы с ним поехали за сепаратором, Эб и не собирался запрягать лошадь Бисли, он понимал, что ей не пройти в один день двадцать восемь миль до Джефферсона и обратно столько же. Он думал сходить к старому Энсу и попросить мула, чтобы подпрячь его к своему, и так бы и сделал, если бы не миссис Сноупс. Она все шпыняла его насчет того, какое удачное он выменял украшение для двора, и ежели, мол, эта кляча как-нибудь доплелась бы до города, может, ее удалось бы всучить хозяину платной конюшни - пусть торчит заместо вывески перед воротами. Так что, можно сказать, миссис Сноупс сама навела Эба на мысль взять лошадь Бисли в город. И вот, пришел я к ним в то утро, и мы запрягли лошадь Бисли в повозку вместе с мулом. А до того мы ее дня два-три откармливали, пичкали чуть не насильно, готовя в дорогу, и она с виду стала чуть получше, чем в тот день, когда мы ее привели. Но и теперь вид у нее был неважный. Эб решил, что это мул виноват, потому что по отдельности они выглядели недурно, но поставить эту лошадь рядом с любой другой четвероногой тварью никак было невозможно, это все дело портило. "Хорошо бы запрячь мула под повозкой, чтобы тянуть-то он тянул, а наружу не высовывался, и на виду чтоб оставалась одна лошадь!" - говорит Эб. Тогда он еще не озлобился. Ну, мы сделали все, что могли. Эб думал было подмешать в корм изрядную порцию соли, чтобы лошадь выдула побольше воды, по крайности ребра не так сильно будут торчать, но мы знали, что тогда ей нипочем не дойти до Джефферсона, а уж чтоб домой вернуться, так мы понимали, что об этом и речи быть не может, и к тому же она будет останавливаться у каждого ручейка или колодца и снова пить. Одним словом, мы сделали все как нельзя лучше. То есть мы надеялись, что так будет лучше всего. Эб ушел в дом и вышел в сюртуке (том же самом, какой он и теперь носит, когда-то этот сюртук был полковника Сарториса, миссис Роза Миллард подарила его Эбу лет тридцать тому назад), увязал в тряпицу те двадцать четыре доллара и шестьдесят восемь центов, что миссис Сноупс копила целых четыре года, и мы тронулись.

Про барышничество мы и не думали. Но про лошадь-то, конечно, думали, потому что побаивались, как бы нам не пришлось взвалить лошадь Бисли на повозку, а Эбу впрячься рядом с мулом и в таком виде к вечеру вернуться домой. Так вот, значит, Эб выехал за ворота и пустил упряжку по дороге так бережно и осторожно, как никогда еще не обращались с лошадью и мулом на этом свете, и мы с Эбом подымались пешком на каждый пригорок, на самый маленький бугорок, и думали так добраться до самого Джефферсона. День был погожий, жаркий, середина июля. До Уайтлифской лавки оставалось около мили, а лошадь не столько шла, сколько висела на дышле, и лицо Эба все сильнее мрачнело, всякий раз как у нее заплетались ноги, и вдруг видим - лошадь вся в мыле. Она вздернула голову, будто ее кто ткнул раскаленной кочергой, и влегла в хомут, в первый раз коснулась хомута с тех пор, как мул принял на себя всю тяжесть. Эб взмахнул кнутом, и мы съехали с холма и подкатили к Уайтлифской лавке, а лошадь эта самая вращает глазами, и они у нее белые, как костяные

грибки для штопки, а грива и хвост так и вьются, как огонь в траве. И провалиться мне, ежели она не была вся в мыле, как кровный рысак после хорошей пробежки, и даже ребра как будто меньше стали торчать. И тогда Эб, который сперва хотел ехать кружной дорогой, чтобы не проезжать мимо лавки, остановился и, сидя па козлах, как, бывало, сидел у себя дома на загородке, где никакой Пэт Стэмпер ему не был страшен, рассказал Хью Митчеллу и другим ребятам на галерее, что, мол, эта лошадь из Кентукки. А Хью Митчелл даже не улыбнулся. "Ну конечно, говорит. А я-то ума не приложу, что с ней сталось. Теперь понятно, отчего столько времени прошло: от Кентукки досюда - конец не близкий. Герман Шорт выменял эту лошадь у Пэта Стэмпера на мула с коляской еще пять лет назад, а Бисли Кемп прошлым летом отдал за нее Герману восемь долларов. Сколько же ты дал Бисли? Пятьдесят центов?"

В этом-то и было все дело. Не то чтобы лошадь обошлась Эбу слишком дорого, - он за нее только всего и отдал что лемех от плуга, потому как, во-первых, мельница для сорго никуда не годилась, а во-вторых, мельница-то была чужая. И не то чтобы кому-нибудь было жаль Германова мула с коляской. Все дело было в этих восьми долларах, которые Бисли выложил наличными, правда, Эб на Германа за эти восемь долларов не обижался. Герман ведь отдал своего мула и коляску. К тому же эти восемь долларов остались в наших местах, и, стало быть, не так уж и важно, у кого в кармане они застряли - у Германа или у Бисли. Важно было одно: Пэт Стэмпер, чужак, заявился к нам, напустил туману, и кровные йокнапатофские денежки пошли гулять туда-сюда. Когда человек меняет лошадь на лошадь - это одно, и черт ему судья. Но когда наличные доллары начинают кочевать из рук в руки - это совсем другое. А уж ежели является чужак и давай перекачивать деньги из кармана в карман, это как все равно грабитель вломился в твой дом и расшвырял все вещи как попало, хоть и не взял ничего. Вдвойне обидно! Так что надо было не просто всучить лошадь Бисли Кемпа обратно Пэту Стэмперу, но и как-то вырвать у Пэта восемь долларов Бисли Кемпа. Вот что я и имел в виду, когда сказал, что сама судьба велела Пэту Стэмперу сделать привал под Джефферсоном, как раз у дороги, по которой мы должны были проехать в тот день, когда отправились за сепаратором для миссис Сноупс; ну да, он расположился у самой дороги вместе со своим черномазым колдуном в тот самый день, когда Эб поехал в город с двадцатью четырьмя долларами и шестьюдесятью восемью центами в кармане, и только он один мог восстановить поруганную честь науки и искусства йокнапатофского барышничества.

Не помню уж, когда и где мы узнали, что Пэт в Джефферсоне. Может быть, в Уайтлифской лавке. А может, при таких обстоятельствах было не только естественно и справедливо, чтобы Эб встретился со Стэмпером по пути в Джефферсон - может, это было заранее предопределено судьбой. И вот, едем мы, значит, с Эбом, пособляя этим восьми долларам Бисли Кемпа одолевать подъемы, сами пешком плетемся, а лошадь Бисли налегает, что есть сил, на хомут, хотя почти всю тяжесть тащит мул, а Эб идет рядом и честит Пэта Стэмпера, и Германа Шорта, и Бисли Кемпа, и Хью Митчелла; а потом спускаемся под гору, и Эб притормаживает повозку слегой, чтобы она не пропихнула лошадь Бисли через хомут и не вывернула ее наизнанку, как носок, и Эб все честит Пэта Стэмпера, и Германа, и Бисли, и Митчелла, и так до тех пор, пока мы не добрались до моста на третьей миле, а там Эб свернул с дороги, загнал повозку в кусты, выпряг мула, подвязал вожжу так, чтобы я мог править, сидя верхом, дал мне четвертак и велел ехать в город, взять на десять центов селитры, на пять дегтю и рыболовный крючок номер десятый да поскорей вернуться назад.

До города мы, стало быть, добрались только после обеда. Мы покатили прямехонько туда, где расположился Пэт, и въехали на самую его стоянку, и лошадь Бисли теперь лихо влегала в хомут, и глаза у нее сверкали так же дико, как у Эба, а на морде выступила пена, потому что Эб втер ей селитру в десны, а под хомут аккуратно заправил два куска проволоки и еще один смолою прилепил на том месте, где загнал ей под шкуру этот крючок, так чтоб можно было хлестнуть по нему вожжой, и Пэтов черномазый кинулся ловить лошадь под уздцы, а не то она как раз вбежала бы в палатку, где спал Пэт, а потом Пэт сам вышел в этой своей светлой шляпе, надвинутой на один глаз, а глаза у него такого же цвета, как новый лемех, и почти такие же холодные, и большие пальцы рук засунул за пояс: "Ишь какую игрунью

привели", - говорит.

"Что правда, то правда, - говорит Эб, - Оттого-то я и хочу от нее отделаться. Вот ежели бы вы мне помогли, дали бы мне заместо нее какую-нибудь другую, я бы тогда добрался до дому, не расшибив в лепешку и себя, и этого мальчугана". И это было верно задумано - рвануть напролом, сразу выложить, что, мол, есть дело, так Пэта скорей убедишь, чем ежели станешь ходить вокруг да около. Пэт эту лошадь целых пять лет не видел, вот Эб и порешил, что шансов узнать ее у него примерно столько же, сколько у вора узнать долларовые часы, которые случайно зацепились за пуговицу его жилетки пять лет назад. И Эб вовсе не хотел обжулить Пэта. Он хотел только вернуть те восемь долларов - цену чести и гордости йокнапатофского барышничества, не выгоды, а единственно чести ради. Так вроде бы все и вышло. Я до сих пор уверен, что Эб надул Пэта и что Пэт отказался меняться иначе, чем упряжка на упряжку, не потому, что узнал лошадь Бисли, а просто такой у него был расчет. А впрочем, не пойму, может, Эб до того старался надуть Пэта, что Пэту и не пришлось надувать Эба. И вот черномазый выводит пару мулов, а Пэт стоит, засунув большие пальцы за пояс штанов, смотрит на Эба и жует табак, медленно так, со смаком, а Эб стоит, и лицо у него отчаянное, хоть страха на нем и незаметно, он понял, что зашел дальше, чем хотел, и теперь остается либо зажмуриться и шагать вперед без оглядки, либо пойти на попятный и бросить все к черту, сесть на повозку и уехать, пока лошадь Бисли еще чувствует уколы крючка. Но тут Пэт Стэмпер показал, что он за человек. Ежели бы он стал вкручивать Эбу мозги, уговаривать его, я думаю, Эб отступился бы. Но Пэт и не подумал это сделать. Он надул Эба, точь-в-точь как один первоклассный вор надувает другого, - просто-напросто не говорит ему, в чем секрет сейфа.

"Хороший мул у меня уже есть, - говорит Эб. - Мне бы от лошади избавиться, она мне не нужна. Дайте мне мула за лошадь".

"Да ведь мне тоже не нужна дикая лошадь, - говорит Пэт. - Я какую хотите животину сменяю, лишь бы она ногами шевелила, только расчет у меня свой. На одну эту лошадь я с вами меняться не буду, потому что мне она нужна не больше, чем вам. А вот этого мула я бы взял. У меня вон какая пара, под стать. За упряжку мне всякий даст втрое дороже, чем я возьму за них порознь".

"Но у вас и так будет упряжка для мены", - говорит Эб.

"Нет, - говорит Пэт. - Я должен получить с вас за них больше, чем взял бы, ежели разбить пару. Ежели вам нужен только один мул, попытайте-ка лучше счастья еще где-нибудь".

И тогда Эб посмотрел на этих мулов еще разок. Что ж, мулы как мулы. Не слишком хорошие, не слишком плохие. Врозь каждый был похуже, чем мул Эба, но в паре они выглядели неплохо, в общем, мулы ничего себе, так что Эб был обречен. Он был обречен с той самой минуты, когда Хью Митчелл сказал ему про те восемь долларов. И, думается мне, Пэт Стэмпер сразу понял, что Эб обречен, когда поднял голову и увидел, что черномазый держит под уздцы лошадь Бисли, а она рвется в палатку. Думается мне, он уже тогда знал, что ему и не надо стараться провести Эба, а надо только подольше твердить "нет", и все тут. Вот он и прислонился к нашей повозке, засунув большие пальцы за пояс, стоит, жует табак и глядит, как Эб снова осматривает мулов со всех сторон. И даже я понял, что Эб влип: он думал, у него под ногами твердое дно, а сам забрел в трясину, и теперь уж ему даже остановиться нельзя хоть на секунду, чтоб повернуть назад. "Ладно, - сказал Эб. - Я их беру".

И вот черномазый запряг в повозку новых мулов, и мы поехали в город. И мулы эти были как мулы. А я, черт меня дери, решил, что Эб хоть и попал в Стэмперову трясину, но уже выкарабкался, и когда мы снова выехали на дорогу и палатка Стэмпера исчезла из глаз, на лице у Эба появилось такое выражение, будто он сидит на загородке у себя дома и толкует соседям про то, что, может, в лошадях он и не смыслит, но все же он не такой дурак, как кажется. Но пока что вид у него был не совсем уверенный, он сидел на козлах насторожившись и глаз не спускал с новой упряжки, все испытывал ее. Но мы уже въехали в город, так что долго ее испытывать было не с руки, зато на обратном пути мы их как следует испытаем. "Ей-ей, - говорит Эб, - если только они хоть как-нибудь доплетутся до дому, значит, я отобрал у

него эти восемь долларов, будь он проклят!"

Но тот черномазый был артист. Потому как придраться было не к чему. Поглядеть на них - два обыкновенных мула, не из самых лучших, конечно, таких видишь на дороге целые сотни. Я только заметил, что есть у них повадка трогать с места рывком - сначала один рванул вперед и сразу осадил, потом другой тоже рванул и осадил, а когда мы выехали на дорогу, один из них, как заколдованный, вдруг на всем ходу стал поперек дороги, будто хотел поворотить назад и перескочить прямо через повозку, но ведь Стэмпер сказал только, что пара эта под стать, и ни словом не обмолвился, что его мулы когда-нибудь работали парой. Да, они и впрямь были под стать друг другу в том смысле, что ни один из них понятия не имел, когда другой сдвинется с места. Но Эб сумел с ними совладать, и мы поехали дальше и уже стали подыматься на тот большой пригорок возле городской площади, как вдруг видим, они тоже в мыле, точь-в-точь как лошадь Бисли перед Уайтлифской лавкой. Но это бы еще ничего, в тот день здорово парило; и тут я в первый раз заметил, что собирается дождь; помню, глядел я на большое, светлое, словно бы раскаленное облако на юго-западе и думал, что дождь нас захватит прежде, чем мы доберемся до дому или хотя бы до Уайтлифа, и вдруг вижу - повозка уже не поднимается вверх, на холм, а катится обратно, и тут я оглянулся и успел увидеть, как эти мулы - теперь уж оба - встали поперек дороги и уставились друг на друга через дышло, а Эб старается их развернуть и тоже вылупил глаза, и вдруг они сами развернулись, и, помню, я еще подумал: вот удача, что они не встали мордами к повозке. Потому что тут они рванули разом, впервые в жизни или уж, во всяком случае, впервые с той минуты, как Эб стал ихним хозяином, и мы вылетели на холм и вымахнули на площадь, как тараканы в выгребную яму, повозка встала на два колеса, а Эб дергает вожжами и твердит: "Сто чертей! Сто чертей!" - а народ, все больше женщины да ребятишки, с визгом врассыпную, кто куда, а Эб еле заворотил в переулок за лавкой Кейна и остановился, зацепившись колесом за колесо другой повозки, так что та, другая упряжка помогла ему затормозить. Ну, собралась целая толпа, чтобы помочь нам распутаться, а потом Эб отвел наших мулов к заднему крыльцу лавки и привязал к столбу так туго, что морды задрались кверху, а люди все подходят и говорят: "Глянь-ка, да это те самые Стэмперовы мулы", а Эб тяжело дышит, и вид у него теперь далеко не беспечный, осталась одна настороженность. "Давай, говорит, заберем этот треклятый сепаратор и поехали".

Вошли мы в лавку, отдали Кейну тряпицу миссис Сноупс, он сосчитал эти двадцать четыре доллара шестьдесят восемь центов, а мы забрали сепаратор и пошли назад к повозке, туда, где мы ее оставили. Она-то стояла на месте, дело было не в ней. Право, она даже слишком бросалась в глаза. Эб поставил ее у погрузочного помоста, и, помнится, мне был виден кузов и ободья колес, и люди, стоявшие в переулке, тоже были мне видны только по пояс, теперь их собралось вдвое, а то и втрое против прежнего, и я еще подумал, что и повозка слишком бросается в глаза, и народу вокруг нее что-то многовато; это было похоже на одну из тех картинок, знаете, под какими пишут "Что неправильно нарисовано на этой картинке?", и тут Эб говорит: "Сто чертей! Сто чертей!" - и побежал, но своего конца сепаратора из рук не выпустил. Подбегает к краю помоста и заглядывает под него. Мулы тоже были на месте. Они лежали. Эб туго привязал их к столбу, прихватив веревкой оба мундштука, и теперь они выглядели точь-в-точь, как двое парней из клуба самоубийц, ни дать ни взять удавленники - головы задраны и смотрят прямо в небо, языки вывалились, глаза повылазили из орбит, шеи вытянулись фута на четыре, а ноги поджаты, как у подстреленных кроликов, и тут Эб спрыгнул на землю и перерезал веревку складным ножом. Ну и артист! Он дал им своего зелья или чего там еще ровно столько, чтоб они доплелись до городской площади.

Тут Эб совсем расстроился. Я его как сейчас вижу - притулился где-то в углу, за Кейновыми плугами и культиваторами, с лица побелел, голос дрожит, руки тоже, насилу вытащил шесть монет из кармана, протянул мне и говорит: "Беги к доку Пибоди, притащи мне бутылку виски. Живо". Да, он совсем расстроился. Он уже не в трясину попал, а в омут, и единственный верный прыжок только и мог его спасти. Он выпил пинту виски в два глотка, осторожно, будто яйцо, положил в угол пустую бутылку, и мы пошли назад к повозке. Теперь

мулы кое-как держались на ногах, мы погрузили сепаратор, и Эб осторожно их тронул, а люди кругом всё толковали друг другу, что это, мол, Стэмперова упряжка. Лицо у Эба теперь уж было красным, а не белым, и солнце скрылось за тучей, но, я думаю, он этого даже не заметил, и мы весь день ничего не ели, да он, по-моему, и этого не заметил. И вот провалиться мне сквозь землю, а только Пэт Стэмпер словно бы и с места не трогался, так все и стоял у веревки, которой был огорожен его загон, сдвинув набекрень шляпу и засунув большие пальцы за пояс штанов, а Эб сидит на козлах и старается унять дрожь в руках, а мулы, которых он выменял у Стэмпера, стоят, ноги разъезжаются, головы понурили, дышат, как паровики. "Я приехал за своей упряжкой", - говорит Эб.

"В чем дело? - говорит Стэмпер. - Неужто они для вас слишком резвые? Что-то не похоже".

"Ладно, - говорит Эб. - Ладно. Мне нужна моя упряжка. Вот у меня четыре доллара. Получайте свои четыре доллара барыша и отдайте мою упряжку".

"Нет у меня вашей упряжки, - говорит Стэмпер. - Мне ведь эта лошадь тоже была без надобности. Я же вам говорил. Вот я и сбыл ее с рук".

Эб все сидел на козлах. Он теперь немного поостыл, Потянул ветерок, и в воздухе запахло дождем. "Но мул-то мой еще у вас, - говорит Эб. - Ладно. Я его беру".

"А что дадите? - говорит Стэмпер. - Хотите обменять эту упряжку на своего мула?" Да только Эб уже и торговаться был не в состоянии. Он вконец расстроился - сидит, как будто и не видит ничего, а Стэмпер привалился к стойке ворот и глядит на него как ни в чем не бывало. Поглядел с минутку и говорит: "Нет, не надо мне этих мулов. Ваш куда лучше. Так дело не пойдет, и меняться я не стану. - Он сплюнул, спокойно так, аккуратно. - И потом, я поставил вашего мула в упряжку с другой лошадью. Хотите поглядеть?"

"Ладно, - говорит Эб. - Сколько?"

"Даже глядеть не хотите?" - говорит Стэмпер.

"Ладно", - говорит Эб. И вот черномазый выводит Эбова мула и лошадь, маленькую вороную лошадку. Помню, даже по той пасмурной погоде, без солнца, она вся так и лоснилась - лошадка чуть побольше той, что мы отдали Стэмперу, и толстая, как свинья. Да, да, именно, как свинья, лошади такие упитанные не бывают, только свиньи. Толстая до самых кончиков ушей и с виду тугая, как барабан. Такая толстая, что едва идет: ноги ставит, будто в них и весу никакого нет, будто и не чует их под собой. "Слишком уж она толстая, говорит Эб. - Я на ней и до дому-то не доеду".

"Вот и я так думаю, - говорит Стэмпер. - Поэтому и хочу ее сбыть".

"Ладно, - говорит Эб. - Надо ее испробовать". И начинает слезать с повозки.

"Испробовать?" - говорит Стэмпер. Эб не ответил. Он осторожно слез с фургона и пошел к лошади, переставляя ноги осторожно, с трудом, словно тоже их под собою не чуял, как та лошадь. На ней был недоуздок. Эб взял у черномазого конец и стал садиться верхом. "Обождите-ка, - говорит Стэмпер. Что это вы хотите делать?"

"Хочу ее испробовать, - говорит Эб. - Я сегодня уже раз менялся с вами". Стэмпер поглядел на Эба. Потом снова сплюнул, отступил малость назад и говорит черномазому: "Ладно, Джим. Подсади его". И вот черномазый подсадил Эба на лошадь, но только он не успел отступить назад, как Стэмпер, потому что стоило Эбу сесть верхом, как будто ему электрический ток пропустили сквозь штаны. Лошадь завертелась волчком - не разобрать, где перед, где зад, аккурат, как у картофелины, - она грохнула Эба оземь, а Эб встал и снова к лошади, а Стэмпер говорит: "Подсади-ка его, Джим", и черномазый снова подсадил Эба, а лошадь снова его сбросила, а Эб встает, и, глазом не моргнув, опять к лошади, и опять берется за недоуздок, но тут Стэмпер его остановил. Ей-богу, похоже было, что Эб сам хочет, чтобы лошадь грохнула его покрепче, если уж и тут он себе руки-ноги не переломает, значит, ему причитается какая ни на есть животина, чтоб нас домой довезла, "Вам что, жить надоело?" - говорит Стэмпер.

"Ладно, - говорит Эб. - Сколько?"

"Зайдем в палатку", - говорит Стэмпер.

А я остался ждать в повозке. Ветер помаленьку крепчал, а у нас не было с собой верхней одежи. Зато в повозке было несколько мешков из-под отрубей, миссис Сноупс велела их взять, чтобы завернуть сепаратор, и я как раз заворачивал его в эти мешки, а тут черномазый вышел из палатки, откинул полу, и я увидел, что Эб пьет прямо из бутылки. Потом черномазый вывел лошадь с повозкой, Эб со Стэмпером вышли из палатки, и Эб пошел к нашей повозке, на меня даже не поглядел, только сбросил с сепаратора мешки, взял его и отнес в ту повозку, и они со Стэмпером сели и поехали назад в город. Черномазый уставился на меня. "Вымокнете вы, покуда домой доберетесь", говорит.

"Да, пожалуй!" - говорю.

"Хотите закусить, покуда они вернутся? - говорит. - У меня обед на плите".

"Нет, спасибо!" - говорю. И он пошел назад в палатку, а я остался ждать в повозке. Видно было, что вот-вот польет дождь. Помню, я подумал, что зато теперь у нас, по крайности, будут мешки и мы, может, останемся сухие. А потом Эб со Стэмпером вернулись, и Эб опять на меня даже не взглянул. Он пошел обратно в палатку, и я увидел, что он снова приложился к бутылке, а потом сунул ее за пазуху. А потом черномазый подвел мула и новую лошадь и запряг их, а Эб вышел и сел на козлы. Стэмпер и черномазый вдвоем его подсаживали.

"Пусть лучше мальчишка правит, как вы считаете?" - говорит Стэмпер.

"Править буду я, - говорит Эб. - Может, меняться я и не умею, но править лошадью покуда еще могу!"

"Ну как хотите, - говорит Стэмпер. - Эта лошадь вам еще покажет".

Она нам и впрямь показала! - Рэтлиф засмеялся, в первый раз за все время, негромко, едва слышно, и, хоти его не было видно в темноте, все хорошо знали, какой у него сейчас вид, как будто он был у них перед глазами, - сидит на стуле, непринужденно развалившись, с худощавым, смуглым, ласковым и лукавым лицом, одетый в чистую синюю рубашку, и выглядит таким же закоренелым холостяком, как и Джоди Уорнер, но на том сходство между ними и кончалось, да и не такое уж это было сходство, потому что в Уорнере это была дешевая и напыщенная любезность, а в Рэтлифе - добродушное целомудрие послушника из средневекового монастыря, - садовника, скажем, или виноградаря. - Да еще как показала. Не успели мы отъехать и милю, как полил дождь, загремел гром, и два часа мы ехали, скорчившись под мешками, и все глядели, как эта новая лошадь, такая толстая, гладкая да резвая, даже в дождь все рвалась вперед, совсем как у Стэмпера, когда Эб сел на нее верхом, покуда мы наконец не укрылись в старой конюшне у дороги. Собственно, укрылся-то я, потому что Эб к тому времени лежал пластом на дне повозки и дождь хлестал ему прямо в лицо, а я сидел на козлах и правил и вдруг вижу эта гладкая вороная лошадь становится гнедой. Мне тогда всего восемь лет было, и мы с Эбом до тех пор дальше его загона не барышничали. Заехал я под первую попавшуюся крышу и растолкал Эба. Под дождем он охолодел и стал почти трезвый. А скоро и вовсе протрезвел. "Чего? - спрашивает. - Что случилось?"

"Лошадь! - кричу. - Она масть меняет!"

Он был уже совсем трезвый. Мы разом спрыгнули с повозки, и Эб глаза так и вылупил - в постромках-то стояла гнедая лошадь, а перед тем, как ему уснуть, она была вороная. Он протянул руку, будто вообще уж не верил, что это лошадь, и потрогал то самое место, по какому он вожжами похлестывал, он еще у Стэмпера, когда лошадь пробовал, на это самое место плюхнулся, и тут я вижу, лошадь рванулась, сиганула вперед. Я еле успел увернуться, она налетела на стенку позади меня, совсем рядом, даже волосы у меня шевельнулись от ветра. А потом раздался такой звук, будто в шину здоровенного велосипеда воткнули гвоздь. Что-то зашипело: "П-ш-ш-ш-ш-ш" - и от гладкой, толстой вороной лошади Пэта Стэмпера ничего не осталось. Я, конечно, не говорю, что, кроме нас с Эбом, в конюшне был теперь только мул. Лошадь тоже была. Только это была та самая лошадь, на которой мы выехали утром из дому и которую выменяли у Бисли Кемпа на мельницу для сорго и плужный лемех две недели назад. Даже крючок вернулся к нам и жало торчало в ту же сторону, куда Эб его повернул, тот черномазый просто малость его передвинул, этот крючок. Но только на другое утро Эб нашел у нее под шкурой под самой передней ногой велосипедный ниппель, а это такое место, куда

хозяину, будь у него лошадь хоть двадцать лет, пожалуй, ни разу и в голову не придет заглянуть.

Мы добрались до дому только на другой день, когда солнце было уже высоко, и мой папаша ждал нас у дверей Эба, злой как черт. Он меня, конечно, сразу увел, и я только успел увидеть, что миссис Сноупс стоит на пороге она, верно, так и простояла там всю ночь - и говорит: "Где мой сепаратор?" а Эб говорит, что он, мол, всегда был помешан на лошадях, и тут уж ничего не поделаешь, а миссис Сноупс в слезы. Я У них, можно сказать, дневал и ночевал, но никогда еще не видел, чтобы она плакала. Что говорить, не такая она была женщина, чтоб часто плакать, она плакала тяжело, будто не знала, как это делается, будто сами слезы не знали толком, что им положено делать, стояла на пороге в старом платке и даже лица не прятала, только говорила: "Помешан на лошадях, ладно! Но почему именно на этой лошади? Почему на этой?"

Словом, мы с папашей ушли. Он так стиснул мне плечо, что больно стало, но когда я рассказал про вчерашний день, как и что случилось, он раздумал меня лупить. И все-таки к Эбу я воротился только в полдень. Он сидел на загородке, я тоже залез на загородку и сел рядом. Но загон был пустой. Не видно было ни мула, ни лошади Бисли. Только он ничего не сказал, и я тоже ничего не сказал, а потом Эб говорит: "Ты завтракал?", а я говорю, да, завтракал, а Эб говорит: "А я еще нет". И мы пошли в дом, а миссис Сноупс, конечно, там уже не было. Я так и представил себе: вот Эб сидит на загородке, - а она спускается с холма, в шляпке, в шали на плечах, даже в перчатках, идет в конюшню, седлает мула и взнуздывает лошадь Бисли, а Эб сидит и никак не может решить, пойти пособить ей или не надо.

Я развел в плите огонь. Эб был не мастер стряпать, и покуда мы все приготовили, стало уже так поздно, что мы решили сготовить заодно и обед, а потом поели, я вымыл посуду, и мы опять пошли к загону. Плуг без лемеха все еще торчал на дальнем поле, но привезти его теперь было не на чем, разве что Эб пошел бы к старику Энсу и попросил у него пару мулов, а это было все равно, что у гремучей змеи просить взаймы погремок; но в ту минуту, мне кажется, Эб чувствовал, что хватит с него волнений, по крайней мере - на сегодня. И вот мы сидели на загородке и глядели на пустой загон. А загон никак не назовешь большим, и если в него пускали хотя бы одну лошадь, уже казалось, что он битком набит. А теперь он был похож на техасскую прерию; и, право слово, только я было начал думать про то, какой он пустой, как Эб спрыгнул с загородки, прошел через весь загон, остановился и глядит на сарай, пристроенный к стене конюшни, сарай этот был бы ничего себе, ежели бы его починить как следует и покрыть новой крышей. "Думаю, говорит, в следующий раз выменять кобылу, стану выводить мулов, помаленьку табун разведу. Этот сарай как раз подойдет для молодняка, надо только малость его подправить". Потом он воротился, и мы снова сидели на загородке, а часа этак в четыре подъехала повозка. Это была повозка Клиффа Одэма, с высокими бортами, а на козлах рядом с Клиффом сидела миссис Сноупс, и они проехали мимо дома прямо к загону. "Не выгорело, - сказал Эб. - Станет он с ней пачкаться, как же". Мы уже спрятались за конюшней и видели, как Клифф задом подогнал повозку к помосту у ворот, а миссис Сноупс спрыгнула, сбросила платок, сняла перчатки, пошла через загон в коровник, вывела оттуда корову и заставила ее взойти на помост, подле которого стояла повозка, а Клифф говорит: "Вы подержите лошадей, а я загоню ее на повозку". Но миссис Сноупс будто и не слышала. Она поворотила корову мордой к задку повозки, уперлась плечом ей в ляжки и взгромоздила эту корову на повозку, прежде чем Клифф успел соскочить с козел. Клифф поднял задний борт, миссис Сноупс снова накинула платок, натянула перчатки, они сели в повозку и уехали.

И вот я опять развел огонь, чтобы он мог сготовить ужин, а потом мне надо было идти домой - солнце уже почти село. А на другое утро я притащил ему ведерко молока. Эб был на кухне, все еще возился с завтраком. "Вот спасибо, что принес, - сказал он, когда увидел молоко. - Я еще вчера хотел тебя просить - может, ты достанешь мне молочка". Он снова стал стряпать, потому что не ждал ее так скоро - ведь не могла ж она, в самом деле, сделать за сутки два конца по двадцать восемь миль, ежели только не больше. Но тут мы снова услыхали стук колес, и она вернулась, на этот раз с сепаратором. Мы схоронились за конюшней и оттуда

видели, как она тащила сепаратор в дом. "Ты ведь молоко так поставил, что она увидит, верно?" - говорит Эб.

"Да, сэр", - говорю.

"Наверно, она сперва наденет старый халат, - говорит Эб. - Жаль, что я раньше не начал стряпать". Но вряд ли она переодевалась, потому что гуденье началось почти сразу. Звук был что надо - резкий, сильный, видно, галлон молока был этому сепаратору разве что на один глоток. Потом гуденье смолкло. "Худо, что у нее только один галлон", - говорит Эб.

Я и говорю: "А я ей утром еще принесу". Но Эб меня не слушал, он с дома глаз не спускал.

"Ты вот чего, поди-ка загляни в дверь", - говорит. Я пошел и заглянул. Она сняла с плиты Эбову стряпню и разложила на две тарелки. И покуда она не повернулась и не подала мне эти две тарелки, я и не знал, видела она меня

"Вы, наверно, есть хотите, - говорит она. - Вот вы и поешьте там. А я тут буду работать, так что вы у меня под ногами не путайтесь". Ну, я взял тарелки, мы сели у загородки и поели. И тут сепаратор снова загудел. Я не знал, что молоко нужно пропускать через сепаратор несколько раз. И Эб, по-моему, тоже не знал.

"Наверно, Кейн ей объяснил, что к чему, - говорит Эб, а сам жует. - Раз ей хочется пропускать молоко по сто раз, она его сто раз и пропустит". Потом сепаратор остановился, а она подошла к двери и крикнула, чтоб мы принесли ей тарелки вымыть, и я отнес тарелки и поставил на крыльцо, а потом мы с Эбом пошли обратно и сели на загородку. Загон был такой большой, что, казалось, мог бы вместить Техас да еще и Канзас в придачу. "Видно, она прямо подъехала к этой чертовой палатке и говорит: "Вот ваша упряжка. А вы подавайте мой сепаратор, да поживее, потому что мне еще домой сколько ехать", - говорит он. А потом мы снова услыхали гудение и в тот вечер пошли к старику Энсу просить мула, чтоб допахать дальний клин, но он теперь ничего не хотел давать. Он только бранился да бранился, а когда кончил, мы вернулись назад и снова сели на загородку. И, уж конечно, мы услышали, как сепаратор снова загудел. Звук был такой же сильный, как раньше, будто сепаратор мог гнать молоко без конца, все равно, прошло через него это молоко один раз или сто. "Снова здорово, - сказал Эб. - Так ты не забудь завтра про этот галлон".

"Нет, сэр, говорю, не забуду". И мы опять послушали, как гудит сепаратор. Потому что тогда Эб еще не осатанел.

"Видно, ей эта штуковина много удовольствия доставляет, ишь как она довольна", - сказал Эб.

3

Он остановил пролетку и посидел с минуту, глядя на те же сорванные с петель ворота, на которые девять дней назад глядел Джоди Уорнер, сидя на своей чалой лошади, на затравевший, поросший бурьяном двор, на дом, покосившийся и потрепанный непогодой, на все это захламленное запустение, среди которого, еще до того, как он подъехал к воротам и остановился, громко и монотонно звучали два женских голоса. В этих молодых голосах не слышалось ни крика, ни визга, но была в них та застывшая, необъятная сила, которая совершенно чужда всякой членораздельной речи, всякому человеческому языку точно звуки исходили из клювов каких-то чудовищных птиц, точно в глухомань, в мертвое и непроходимое болото или пустыню вторглись, вспугнув и возмутив безмолвие, два последних представителя какой-то вымершей породы, обосновались на этом болоте и упорно оскверняют его своей бесконечной перебранкой, и вдруг все разом смолкло, как только Рэтлиф крикнул. А еще через мгновение из дверей на него уже глядели две девушки, рослые, похожие друг на друга, словно две гигантские коровы.

- Доброе утро, сударыни! - сказал Рэтлиф. - Где ваш папаша?

Они продолжали глядеть на него. Казалось, они даже не дышали, хотя он знал, что они дышат, должны дышать: телам такой грузоподъемности, такого явно исполинского, почти что обременительного здоровья нужен воздух, много воздуха. На миг они представились ему в виде двух коров, двух нетелей, которые стоят по колено в воздухе, будто в ручье или в пруду,

стоят, погрузив морды в воду, и вода стремительно и бесшумно разверзается под их дыханием, на миг, в немом изумлении, открывая взору подводный мирок, кишащий вокруг копыт, прочно упертых в дно. Потом они сказали в один голос, как хорошо слаженный хор:

- Он в поле.

"Вон как, - подумал он, трогаясь с места. - А что же он там делает?" Потому что он и представить себе не мог, чтобы у того Эба Сноупса, которого он знал прежде, было больше двух мулов. Но одного из них Рэтлиф уже видел, он стоит без дела в загоне позади дома; а другой привязан к дереву подле лавки Уорнера, в восьми милях отсюда, он знал это наверняка, потому что только три часа назад видел его на том самом месте, где вот уже шесть дней у него на глазах этого мула привязывает новый приказчик Уорнера, приезжая в лавку. На миг он придержал лошадей. "Ишь черт, - беззлобно подумал он, может, ему наконец представился случай, которого он ждет вот уже двадцать три года, - позабыть про Стэмпера и начать все сызнова". А когда показалось поле и Рэтлиф узнал угловатую, нескладную, приземистую фигуру за плугом, который тянули два мула, он даже не удивился. Он сразу узнал этих мулов, которые еще неделю назад принадлежали Биллу Уорнеру, но тут же изменил время глагола: "Не принадлежали, - подумал он, - а принадлежат. А, черт, вот так ловкач. Он уже не лошадьми промышляет. Он человека променял на пару мулов".

Рэтлиф остановился у загородки. Плуг был в дальнем конце поля. Человек повернул запряжку - он рванул вожжи с ненужным ожесточением, и мулы задрали морды, оскалились, сбились с шага. Рэтлиф бесстрастно смотрел на него. "Эб все тот же, - подумал он. - По-прежнему обращается с лошадью или с мулами так, будто они на него кулаком замахнулись, прежде чем он успел слово сказать". Он понял, что Сноупс тоже видел и даже узнал его, хотя виду не подал, а мулы тем временем оправились и повернули назад, их стройные ноги с узкими, как у оленей, копытами переступали быстро и нервно, оставляя за собой черный жирный пласт, поднятый блестящим сошником. Теперь Рэтлиф видел, что Сноупс смотрит прямо на него, - холодные блестки под всклоченными сердитыми бровями, точь-в-точь такими, как восемь лет назад, они ничуть не изменились, эти брови, разве что поседели немного, - а тот молча заворотил упряжку, все с той же бессмысленной жестокостью, и остановил плуг, поваливши его набок.

- Ты чего тут делаешь? - сказал он.

- Да вот, услыхал, что вы здесь, и заехал, - сказал Рэтлиф. - Давненько мы не виделись, а? Восемь лет.

Сноупс проворчал:

- По тебе этого не скажешь. С виду все такой же тихоня, будто всю жизнь спиртного и капли в рот не брал,

- А то как же, - сказал Рэтлиф.- Кстати о спиртном. - Он вытащил из-под сиденья бутылку с какой-то жидкостью, с виду похожей на воду. - Лучшее, что есть у Маккаллема. Только на прошлой неделе гнали. Возьмите.

Он протянул бутылку. Сноупс подошел к загородке. Теперь между ними было не больше пяти футов, но Рэтлиф по-прежнему не видел ничего, кроме двух холодных огоньков под злобным навесом бровей.

- Это ты мне привез?

- А то кому же. Берите.

Сноупс не двигался.

- За что?

Сноупс взял бутылку. И Рэтлиф почувствовал, как что-то ушло, исчезло из этих глаз. А может, теперь они просто не смотрели на него.

- Обожду до вечера, - сказал Сноупс. - Я больше в жару не пью.

- Ну а в дождь как? - сказал Рэтлиф. Теперь он точно знал, что Сноупс на него не смотрит, хотя тот не шевельнулся, все стоял с бутылкой в руке, и ничто не изменилось в его грубом, помятом, злобном лице. - Я думаю, вы здесь неплохо устроитесь, - сказал Рэтлиф. - У вас теперь хорошая ферма, и Флем, видать, крепко зацепился за эту лавку, будто отродясь только

и делал, что торговал.

Сноупс, казалось, его и не слушал. Он встряхнул бутылку, поднял ее и поглядел на свет, словно проверяя крепость.

- Надеюсь, вы здесь устроитесь.

Тут он снова увидел эти глаза - злые, непроницаемые и холодные.

- А тебе-то что, устроюсь я или нет?

- Ничего, - сказал Рэтлиф ласково, спокойно.

Сноупс нагнулся и сунул бутылку в траву у загородки, потом вернулся к плугу и поднял его.

- Езжай ко мне домой и скажи, чтобы тебе дали пообедать.

- Спасибо, не могу. Мне надо в город.

- Как знаешь, - сказал тот. Потом перекинул единственный гуж через плечо и снова свирепо рванул вожжи, и снова мулы заворотили, оскалив морды, и сразу же сбились с шага, еще не тронувшись с места.

- Большое спасибо за бутылку, - сказал Сноупс.

- Пустяки, - сказал Рэтлиф. Плуг двинулся дальше.

Рэтлиф глядел ему вслед. "Даже не сказал: "Заходи", - подумал он. Потом подобрал вожжи.

- А ну, шевелись, кролики! - сказал он. - Поехали в город.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

В понедельник утром, когда Флем Сноупс явился в лавку Уорнера, на нем была новехонькая белая рубашка. Она была еще не стиранная - все складки там, где полотно было сложено, когда куском лежало на полке, и порыжевшие от солнца полоски вдоль каждой складки, как на шкуре у зебры, были явственно видны. И не только женщины, пришедшие на него поглядеть, но даже Рэтлиф (недаром он продавал швейные машины: показывая свой товар, он выучился шить, и поговаривали даже, будто свои синие рубашки он шьет себе сам) видел, что эта рубашка скроена и сшита руками, и к тому же руками неловкими, неумелыми. Флем носил ее всю неделю. К субботнему вечеру она стала совсем грязная, а в понедельник он появился в другой рубашке, точь-в-точь как первая, даже порыжевшие полоски такие же. К следующей субботе она тоже была грязная, и загрязнилась в тех же самых местах, что и первая. Похоже было, что ее владелец хоть и вступил в новую жизнь, новую среду, в которой задолго до него установились определенные обычаи и непреложные правила, тем не менее в первый же день утвердил свои, особые способы загрязнения рубашки.

Он приехал на тощем муле, в седле (все сразу признали, что седло взято у Уорнеров), с притороченным к нему жестяным ведерком. Он привязал мула к дереву за лавкой, взял ведро и поднялся на галерею, где уже собралось с десяток людей, среди которых был и Рэтлиф. Он не сказал ни слова. Если он и поглядел на кого-нибудь в отдельности, то совершенно незаметно, - этот плотный, приземистый, гладкий человек неопределенного возраста, от двадцати до тридцати, с широким, неподвижным лицом, прорезанным узкой щелью рта, слегка испачканного по углам табаком, с глазами цвета болотной воды и резко, неожиданно торчащим на лице носом, крохотным и хищным, как клюв маленького ястреба. Казалось, нос этот был задуман и недоделан скульптором или

каменотесом и незаконченная работа попала в руки приверженца совершенно противоположной школы, или, быть может, какого-то фанатично злобного сатирика, или же человека, которому достало времени лишь на то, чтобы наспех прилепить посреди лица этот отчаянный и неистовый знак опасности.

С ведерком в руке он вошел в лавку, а Рэтлиф и остальные весь день проторчали на галерее, кто сидя, а кто примостившись на корточках, и видели, как не только вся деревня, но и вся округа стекается, порознь, парами и кучками, мужчины, женщины и дети, купить какую-нибудь мелочь, взглянуть на нового приказчика и уйти восвояси. Держались они не враждебно, но крайне настороженно, почти отчужденно, как полуодичалый скот,

пронюхавший, будто на их пастбище появился какой-то диковинный зверь, покупали муку, патентованные лекарства, веревки, табак и, поглядев на человека, чьего имени еще неделю назад никто из них даже не слыхал, а теперь с ним волей-неволей придется иметь дело, уходили так же молча, как пришли. Часов в девять подъехал на своей чалой лошади Джоди Уорнер и вошел в лавку. Изнутри послышался его приглушенный бас, но ответа не было, и казалось, будто он разговаривает сам с собой. Вышел он в полдень, сел на лошадь и уехал, а приказчик остался. Но, как бы там ни было, все знали, что принес Флем в жестяном ведерке, и к полудню тоже начали расходиться, а проходя мимо двери, заглядывали в лавку, но ничего не увидели. Если приказчик и ел что-нибудь, то, вероятно, в дальнем углу. Когда Рэтлиф вернулся на галерею, не было еще и часа, потому что обедал он в какой-нибудь сотне шагов от лавки. Но и другие не заставили себя ждать, и опять они сидели до самого вечера на галерее, перебрасываясь время от времени вполголоса каким-нибудь незначащим словом, а люди со всей округи приходили, покупали всякие мелочи на пять - десять центов и уходили.

К концу недели все уже побывали в лавке и видели его - не только те, кому в будущем предстояло иметь с ним дело, покупать у него еду и всякий другой товар, но и люди, которые ни до, ни после этого ничего не брали в лавке Уорнера, мужчины, женщины, дети - младенцы, которых ни разу еще не выносили за порог родного дома, недужные и престарелые, которых иначе вынесли бы за порог только в единственный и последний раз, - приезжали на лошадях, на мулах и целыми семьями в фургонах. Рэтлиф все еще был там, его фургончик с подержанным граммофоном и набором новых зубьев для бороны оставался в загоне у миссис Литтлджон, с дышлом, подпертым доской, и крепкие разномастные лошадки, застоявшись, злели в конюшне, и он каждое утро смотрел, как приказчик на муле под чужим седлом подъезжает к лавке в новой белой рубашке, которая понемногу, день ото дня, становится все грязнее и грязнее, везя жестяное ведерко с обедом, хотя никто ни разу не видел, как он обедает, привязывает мула и отпирает лавку ключом, хотя никто не ожидал, что ключ будет ему доверен, - по крайней мере, в первые же дни. Со второго или третьего дня он даже успевал открыть лавку еще до прихода Рэтлифа и всех остальных. Джоди Уорнер приезжал верхом часов в девять, поднимался на крыльцо, коротко кивал им головой и входил в лавку, но после первого раза он оставался там всего минут пятнадцать. Если Рэтлиф и его приятели надеялись разгадать скрытые намерения молодого Уорнера и приказчика или проникнуть в какую-то их тайну, им пришлось разочароваться. Все так же слышался низкий, раскатистый, деловитый бас Уорнера, все так же словно разговаривавшего с самим собой, потому что никакого внятного ответа не было, потом они с приказчиком подходили к двери, останавливались, Уорнер отдавал последние распоряжения, чмокал, всасывая сквозь зубы слюну, и уезжал; а когда все снова оборачивались к двери, там уже никого не было.

Наконец в пятницу под вечер явился сам Билл Уорнер. Может быть, Рэтлиф и его приятели этого как раз и ждали. Но если кто надеялся, что тут-то и откроется тайна, то, во всяком случае, не Рэтлиф. Так что, пожалуй, только Рэтлиф не удивился, когда все вышло наоборот, против их ожидания: не приказчик узнал наконец, у кого он служит, а Билл Уорнер узнал, кто служит у него. Он приехал на своей старой разжиревшей белой кобыле. Один из парней, сидевших на верхней ступени крыльца, спустился, взял лошадь под уздцы и привязал ее, а Уорнер слез, вошел на галерею под их почтительный шепот и весело спросил Рэтлифа:

- Сто чертей, а вы все еще бездельничаете?

Двое, сидевшие на изрезанной ножами деревянной скамье, встали, уступая ему место, но Уорнер сел не сразу. Сначала он остановился перед открытой дверью, почти так же, как все другие, длинный, худой, и, вытянув шею, как индюк, заглянул в лавку, всего на миг, и сразу же крикнул:

- Эй, вы, как вас там! Флем. Притащите-ка мне пачку моего табаку. Джоди вам показывал, где он лежит.

Он подошел к собравшимся, двое освободили для него изрезанную деревянную скамью, он сел, достал из кармана нож и своим веселым голосом, нараспев, как епископ, уже начал рассказывать смачный анекдот, когда приказчик (Рэтлиф не услышал его шагов) подошел к

нему сбоку. Не переставая говорить, Уорнер взял пачку табаку, отрезал жвачку, большим пальцем защелкнул нож и вытянул ногу, чтобы сунуть его в карман, но вдруг замолчал и резко поднял голову. Приказчик все еще стоял рядом с ним.

- Ну? - сказал Уорнер. - Чего вам?

- Вы не заплатили, - сказал приказчик. На миг Уорнер так и застыл, нога вытянута, в одной руке пачка и отрезанный кусок, в другой нож, который он не до нес до кармана. И все застыли тоже, молча и внимательно разглядывая свои руки или то, на чем остановился взгляд, когда Уорнер замолчал. - За табак, - сказал приказчик.

- Ах так, - сказал Уорнер. Он спрятал нож, достал из кармана брюк кожаный бумажник, величиной, формой и цветом похожий на баклажан, вынул пять центов и отдал приказчику. Рэтлиф не слыхал, как приказчик вышел из лавки, и не слыхал, как он туда вернулся. Теперь он понял почему. На приказчике были резиновые тапочки, тоже новехонькие.

- Так на чем это я остановился? - сказал Уорнер.

- Парень как раз начал расстегивать штаны, - добродушно подсказал Рэтлиф.

На другой день Рэтлиф уехал. Его гнала не жестокая необходимость зарабатывать себе на хлеб. В этих краях он мог бы добрых полгода переходить от стола к столу и ни разу не опустить руку в карман. Тронуться в путь его заставил издавна заведенный порядок, неизменное и непрестанное круговращение сплетен, удовольствие переносить их и пересказывать, потому что он уже две недели, сидя на галерее лавки, своими глазами видел, как накапливаются свежайшие, животрепещущие новости. Во Французову Балку он попал снова только через пять месяцев. Его путь лежал по четырем округам; он был непреложен и мог изменяться лишь в пределах самого себя. За десять лет Рэтлиф ни разу не побывал дальше своих четырех округов, но этим летом в один прекрасный день он вдруг очутился в Теннесси. И не только на чужой земле, но за золотым барьером, отгороженный от родного штата непрерывно растущей горой звонких монет.

Всю весну и лето дела его шли даже слишком хорошо. Он наторговал больше обычного, продавая швейные машины и доверяя их в кредит под будущий урожай, собирал все деньги, какие оказывалось возможным собрать, и продавал за наличные те вещи, которые ему удалось выменять, чтобы самому расплатиться с оптовиком в Мемфисе за новые машины, которые он опять-таки продавал под векселя с поручительством, пока однажды не обнаружил, что чуть не обанкротился на собственных спекуляциях. Оптовик потребовал у него свою половину денег по просроченным двадцатидолларовым векселям. Рэтлиф, в свою очередь, быстро объехал собственных должников. Он был приветлив, любезен, сыпал анекдотами и, казалось, по-прежнему никуда не спешил, но он прижал их основательно, так что отвертеться было невозможно, хотя хлопок еще только зацветал, а стало быть, деньги у них в карманах должны были завестись не раньше, чем через месяц-другой. В результате у него оказалось несколько долларов, подержанная фургонная упряжь и восемь белых леггорнов. Оптовику он был должен сто двадцать долларов. Он отправился к двенадцатому по счету клиенту, своему дальнему родственнику, и узнал, что тот неделю назад уехал в Колумбию, штат Теннесси, продать на тамошней конской ярмарке нескольких мулов.

Рэтлиф тут же поспешил вслед за ним, везя с собой упряжь и кур. Он предвидел не только возможность получить долг, конечно, при условии, что поспеет прежде, чем кто-нибудь, в свою очередь, сбудет мулов его родичу, но и занять сумму, достаточную, чтобы удовлетворить оптовика. Он добрался до Колумбии за четыре дня, и, когда огляделся, его сразу охватило радостное предчувствие, словно белого охотника, который случайно очутился среди безмятежного уединения девственной африканской долины, которая так и кишит слонами, знай только стреляй да забирай слоновую кость. Он продал швейную машину человеку, у которого справлялся, где остановился его родич, а потом поехал со своим родичем ночевать к двоюродному брату его жены, за десять миль от Колумбии, и там тоже продал машину. Он продал три машины за первые же четыре дня; он пробыл в Колумбии месяц и продал в общей сложности восемь машин, выручив восемьдесят долларов наличными, и за эти восемьдесят долларов, фургонную упряжь и восемь куриц он приобрел мула, привел его в Мемфис и

продал на конских торгах за сто тридцать пять долларов, отдал оптовику сто двадцать и новые векселя в погашение старых и вернулся домой к сбору урожая с двумя долларами пятьюдесятью тремя центами в кармане полноправным владельцем двенадцати векселей по двадцать долларов каждый, подлежавших оплате, как только хлопок будет очищен и продан. Когда в ноябре Рэтлиф приехал на Французову Балку, там уже все вошло в свою колею. Люди молча примирились с существованием приказчика, хотя своим его не признали, кроме Уорнеров, впрочем. Прежде Джоди обыкновенно каждый день хоть ненадолго заходил в лавку, а потом оставался где-нибудь неподалеку. Теперь же Рэтлиф узнал, что он месяцами не показывается вовсе и его постоянные, давние покупатели, которые по большей части сами брали, что нужно, и честно клали деньги в коробку из-под сигар, что стояла под колпаком для сыра, должны были за всяким пустяком обращаться к человеку, чьего имени всего два месяца назад они и слыхом не слыхивали, а он на все вопросы отвечал только "да" или "нет" и никогда не глядел никому прямо в лицо или глядел так небрежно, мельком, что никого не помнил по имени, но зато никогда не ошибался, считая деньги. Джоди Уорнер - тот ошибался постоянно. Разумеется, почти всегда в свою пользу, и покупатели уходили с катушкой ниток или жестянкой нюхательного табака, но рано или поздно спохватывались и возвращались. Они знали за ним этот грешок, но в то же время не сомневались, что Джоди, если только словишь его за руку, сразу вернет лишнее с грубоватым и сердечным дружелюбием, обратив все в шутку, хотя, в конце концов, покупатель все-таки далеко не всегда был уверен, что счет правильный. Они и это ему прощали, потому что он без отказа давал им в кредит продукты, и плуги, и бороны на долгий срок, и они знали, что придется платить проценты, но все это выглядело великодушно и щедро, независимо от того, ставились эти проценты в окончательный счет или нет. А приказчик никогда не ошибался.

- Вздор, - сказал Рэтлиф. - Рано или поздно он обязательно попадется. На двадцать пять миль в округе нет мужчины, женщины или ребенка, который бы не знал, что в этой лавке есть и что почем, не хуже самого Билла или Джоди Уорнера.

- Ха, - сказал Одэм Букрайт, плотный, коротконогий, чернобровый, с живым, подвижным лицом. - То-то и оно.

- Неужто никто его ни разу еще не словил?

- Нет, - сказал Букрайт. - И людям это не по нутру. А как же иначе?

- Конечно, - сказал Рэтлиф. - Как же иначе?

- А с кредитом что вышло? - сказал другой, долговязый, большеголовый увалень с редкими волосами и тусклыми, близорукими глазами - его звали Квик, он работал на лесопилке. И он рассказал, как было дело: они сразу увидели, что приказчик никому не хочет верить в долг. Наконец он прямо отказал в кредите одному человеку, который за последние пятнадцать лет, по крайней мере раз в год по уши залезал в долги, а потом снова вылезал из долгов, и в тот же день Билл Уорнер сам примчался на своей старой белой кобыле, которая екала селезенкой, ворвался в лавку и так орал, что было слышно даже в кузнице через дорогу: "Чья это, по-твоему, лавка, черт ее раздери?"

- Ну, мы как-никак знаем, чья она покамест, - сказал Рэтлиф.

- Или чьей ее покамест считают некоторые, - сказал Букрайт. - Но во всяком случае, в дом к Уорнерам он еще не переехал.

Потому что теперь приказчик жил на Французовой Балке. Однажды в субботу утром кто-то заметил, что оседланного мула нет позади лавки. По субботам лавка бывала открыта до десяти вечера, если не позже, а вокруг всегда толпился народ, и несколько человек видели, как он погасил лампы, запер дверь и ушел пешком. А на другое утро Флем, которого еще никогда не видели в Балке с субботнего вечера до понедельника, появился в церкви, и все, кто видел его, не поверили своим глазам. Кроме серой суконной кепки и серых брюк, на нем была теперь не только чистая белая рубашка, но и маленький черный галстук бабочкой, готовый, на резинке с металлической застежкой. Он был не длиннее двух дюймов, но, не считая галстука, который надевал в церковь сам Билл Уорнер, это был единственный галстук во всей Французовой Балке, и с того воскресного утра до самой смерти Флем носил его или другой,

точно такой же (позже, когда он уже стал президентом байка в Джефферсоне, говорили, будто он заказывал их сразу, оптом) - маленькая, зловещая плоская, непонятно на чем державшаяся полоска, точно загадочный знак препинания на широком белом поле рубашки, придававшая ему вид выспренне кощунственный, как у Джоди Уорнера, но только тысячекратно умноженный, и все, кто был в церкви, ощутили возмутительное физическое вторжение, вроде как тогда, весной, на галерее, когда они услышали стук негнущейся ноги его отца. Он ушел пешком и наутро пешком же пришел в лавку, и снова на нем был этот галстук. А к вечеру вся округа знала, что он с субботы живет и столуется в одном семейном доме, примерно в миле от лавки.

Билл Уорнер давно вернулся к своей прежней праздно-хлопотливой, безмятежной жизни, если только вообще он оставлял ее хотя бы на один день. В лавку он не заглядывал с Четвертого июля. А потом, в пустые досужие августовские дни, когда поспевает хлопок и людям нечего делать, перестал заходить в лавку и Джоди, и тут уж в самом деле стало казаться, что не только право хозяйничать в лавке, но и самая лавка, и все доходы от нее принадлежат этому приземистому молчаливому человеку в неуклонно грязнящейся белой рубашке и крошечном, неуязвимом для грязи галстуке бабочкой, человеку, который в эти дни временного безделья таился в полумраке лавки, пустом и густо пропитанном запахами, чем-то похожий на белесого, раздутого, всеядного, хотя и неядовитого паука.

А потом, в сентябре, что-то произошло. Или, вернее, что-то началось, хотя сперва никто не понял, в чем дело. Хлопок раскрылся, его уже собирали. Однажды утром первый, кто пришел в лавку, застал там Джоди Уорнера. Сарай с хлопкоочистительной машиной был отперт, и Уорнеров кузнец Трамбл со своим подручным и кочегаром-негром осматривали ее, готовясь к началу сезона, как вдруг в дверях лавки показался Сноупс, пошел прямо к сараю, где стояла машина, и исчез из виду, а стало быть, до поры до времени и из памяти. Только когда лавка закрылась, все поняли, что Джоди Уорнер просидел там целый день. Но даже тогда этому не придали никакого значения. Думали, что это Джоди послал приказчика присмотреть за подготовкой машины, хотя обычно делал это сам, - видно, поленился и решил лучше посидеть в лавке, чтобы не томить даром ноги. И только когда началась очистка хлопка и приехала первая груженая повозка, это заблуждение рассеялось. Тут все убедились, что в лавке снова отпускает товар и считает пяти- и десятицентовые монетки Джоди Уорнер, а приказчик весь день сидит на табурете у весов и следит, как повозки по очереди въезжают на весы, поворачивают и останавливаются у хлопкоприемника. Прежде Джоди сам справлялся и с тем и с другим. То есть большей частью он сидел у весов, предоставляя торговле идти как придется, - впрочем, она всегда шла как придется, - но время от времени, просто чтобы передохнуть, бросал повозку на весах, а весы запирал на четверть, а то и на три четверти часа, пока сам был в лавке; иногда в эту пору не случалось и покупателей, а только забредали праздношатающиеся, всегда готовые послушать его рассказы. Но это было ничего. Все шло своим чередом. А теперь, когда их стало двое, почему бы одному не сидеть в лавке, пока другой взвешивает хлопок, и почему бы Джоди не посадить у весов приказчика? Но в их душах шевельнулось холодное подозрение, что...

- Ну конечно, - сказал Рэтлиф. - Все ясно. Джоди теперь так и будет сидеть в лавке. Но кто заставил его там сидеть? - Они с Букрайтом переглянулись. - Во всяком случае, не дядя Билл. И лавка и машина отлично крутились без малого сорок лет, и Джоди управлялся с ними один. А человек в возрасте дядюшки Билла не очень-то охотно меняет свои понятия. Уж это так. Ну, ладно. Что же дальше?

С галереи были видны они оба. Подъезжали груженые повозки, вытягивались вереницей вдоль дороги, так что нос мула упирался в задок повозки, и ждали очереди, чтобы въехать на весы, а потом к хлопкоприемнику, а хозяева соскакивали на землю, наматывали вожжи на стойки и шли на галерею, откуда им было видно спокойное, непроницаемое, беспрерывно жующее лицо около весов, суконная кепка и крошечный галстук, а из лавки время от времени доносилось отрывистое, угрюмое бурчание, которым Уорнер отвечал своим покупателям, когда те вызывали его на разговор. Иногда они даже сами входили в лавку, чтобы купить

табаку или мешки, которые на самом деле были им ни к чему, или просто напиться воды из кедровой бадьи. Потому что в глазах у Джоди появилось что-то такое, чего раньше никогда не бывало - какая-то тень, какое-то выражение, среднее между досадой, раздумьем и самым настоящим прозрением, не то чтобы растерянное, а наоборот, вполне трезвое. Это было время, о котором потом, два и три года спустя, вспоминали, говоря друг другу: "Как раз тогда он обошел Джоди", хотя Рэтлиф неизменно уточнял: "Вы хотите сказать - когда Джоди начал это понимать".

Но все это было еще впереди. А пока они просто наблюдали, не упуская ничего. Целый месяц воздух от зари до зари был наполнен воем машины; повозки становились в очередь к весам и одна за другой подъезжали к хлопкоприемнику. Время от времени приказчик шел через дорогу, к лавке, и его шляпа, брюки, даже галстук были в клочьях хлопка; люди, скучавшие на галерее в ожидании своей очереди к хлопкоприемнику или к весам, провожали его глазами до двери и секунду спустя слышали голос - теперь уже его голос, негромкий, деловитый, отчетливый. Но Джоди Уорнер не шел за ним и не появлялся в дверях, как прежде, и с галереи смотрели, как приказчик идет обратно к машине, и видели его широкую, плотную спину, бесформенную, зловещую, без возраста. После того как хлопок был собран, очищен и продан, подошел срок, когда Билл Уорнер каждый год рассчитывался со своими арендаторами и должниками. Обыкновенно он делал это один, не разрешая даже Джоди ему помочь. Но в этом году он сидел за конторкой перед стальным сейфом, а рядом, на бочонке из-под гвоздей, сидел Сноупс с раскрытой счетной книгой. В узком, как коридор помещении, уставленном по стенам консервами, загроможденном сельскохозяйственными орудиями, а теперь набитом терпеливыми, пропахшими землей людьми, готовыми безропотно принять любую плату, какую Уорнер сочтет нужным им выдать за целый год труда, Уорнер со Сноупсом напоминали белого торговца где-нибудь в Африке и его подручного-туземца, который повторяет за ним все, как попугай.

Но этот туземец быстро приобщался к благам цивилизации. Никто не знал, сколько платит ему Уорнер, знали только, что не в правилах Билла Уорнера платить за что бы то ни было слишком много. И все же этот человек, который еще пять месяцев назад ездил за восемь миль на работу и с работы верхом на пахотном муле, в старом, дрянном седле, и вез себе на обед холодную репу или горох в жестяном ведерке, - теперь не только снимал комнату с пансионом, словно разъездной торговец, но и ссудил изрядную сумму одному из здешних жителей - обеспечение и проценты особо оговорены не были, - и, прежде чем последний хлопок прошел через машину, всем стало известно, что у него в любое время можно получить любую сумму от двадцати пяти центов до десяти долларов, если только заемщик не поскупится на проценты. А на следующий год, по весне, Талл был в Джефферсоне с гуртом скота, который он пригнал грузить на железную дорогу, и зашел навестить Рэтлифа, который лежал больной, - он страдал хроническим воспалением желчного пузыря, - у себя в доме, где хозяйство вела его вдовая сестра. Талл рассказал ему, что большое стадо молодняка, зимовавшее на пастбище той фермы, которую отец Сноупса взял еще на год в аренду у Уорнеров, тем временем, пока Рэтлифа возили в Мемфисскую больницу и оперировали, пока он вернулся домой и снова начал интересоваться тем, что происходит вокруг, постепенно подросло, а потом, однажды ночью, пропало, и сразу после исчезновения на другой ферме, которая тоже принадлежит Уорнеру, но в аренду не сдается, невероятным образом появилось стадо прекрасных херфордских коров, и прибыли они на новое место в целости и сохранности и нисколько не изменились, разве что прибавили в весе и в цене, и только потом стало известно, что скот появился на пастбище в результате изъятия залога по просроченной закладной, номинальным владельцем который был банк в Джефферсоне. Букрайт и Талл - оба навестили Рэтлифа и рассказали ему об этом.

- Может, они все это время в подвалах банка стояли, - слабым голосом сказал Рэтлиф. - А что Билл говорит - чьи они?

- Говорит - Сноупсовы. Он сказал так: "Спросите у этого сукина сына, которого Джоди нанял",

- А вы спрашивали?

- Букрайт спрашивал. А Сноупс говорит: "Они на Уорнеровом пастбище". А Букрайт ему: "Но Билл говорит, они ваши". А Сноупс отвернулся, сплюнул и опять свое: "Они, говорит, на Уорнеровом пастбище".

Рэтлиф все болел и потому не видел еще одного происшествия. Он только слышал о нем от других, но уже вполне достаточно поправился и окреп, чтобы поразмыслить над этим, когда сидел, обложенный подушками, задумчивый, пытливый, хитрый и непроницаемый, в кресле у окна и глядел, как начинается осень, вдыхал прозрачный, хмельной полуденный октябрьский воздух. Он думал о том, как однажды утром в эту вторую весну человек по фамилии Хьюстон, с огромным породистым волкодавом, привел ковать лошадь и увидел, что в кузнице над горном, пытаясь развести огонь и поливая уголь какой-то жидкостью из ржавого бидона, склонился незнакомый человек, молодой, ладно сложенный, мускулистый, а когда он обернулся, Хьюстон увидел открытое, спокойное лицо с узким, заросшим почти до самых бровей лбом. Незнакомец сказал:

- Здрасьте. Что-то огонь ни в какую не горит. Как плесну на него керосином - он сразу и гаснет. Глядите-ка. - Он снова наклонил бидон.

- Обождите, - сказал Хьюстон.- А это действительно керосин?

- Бидон стоял вот здесь на полке. Похоже, что в нем керосин. Он, правда, малость заржавел, но я отродясь не слыхивал, чтоб керосин, хотя б и с ржавчиной, не горел. - Хьюстон подошел, взял у него бидон и понюхал. Тот, другой, смотрел на него. Красавец пес сидел на пороге и смотрел на обоих. Что, не пахнет керосином, а?

- Дерьмо, - сказал Хьюстон. Он поставил бидон обратно на закопченную полку над горном. - Ну, ладно. Вычистите из горна всю эту грязь. Надо разводить заново. Где Трамбл?

Трамбл был кузнец, который работал здесь уже лет двадцать.

- Не знаю, - ответил другой. - Здесь никого не было, когда я пришел.

- А вы что здесь делаете? Это он вас прислал?

- Не знаю. Меня мой братан нанял. Он велел мне быть здесь нынче с утра, развести огонь и присматривать за кузней, покуда он не придет. Но только я плесну вот отсюда керосином...

- Кто это ваш братан? - спросил Хьюстон, В этот миг показалась старая тощая кляча, что было сил тянувшая потрепанную, тарахтящую пролетку, у которой одно колесо было крест-накрест стянуто двумя поперечинами, и казалось, одна лишь инерция не дает ей рассыпаться, а стоит ей остановиться, как она сразу развалится. В пролетке сидел другой незнакомец - хилый человечек, одетый словно бы с чужого плеча, с заостренным болтливым лицом ни дать ни взять морда хорька; он остановил лошадь, крикнув на нее так громко, словно между ними было целое поле, выскочил из пролетки и вошел в кузню, сразу заговорив, или, вернее, продолжая говорить.

- Доброе утро, доброе утро, - сказал он, и его маленькие блестящие глазки быстро забегали. - Хотите подковать лошадку, так, что ли? Отлично, отлично, хочешь сберечь жеребца, береги копыта. Да, хороша у вас лошадка, но я тут, неподалеку, в поле видел получше. Впрочем, какая разница: любишь меня, люби и моего коня, где уж нищему выбирать, не все сбывается, что желается, а то бы все ездили на кровных рысаках. Что тут у тебя? - сказал он человеку в переднике. Теперь он стоял на месте, но, казалось, все еще был в стремительном движении, точно его одежда была так сшита и так сидела на нем, что никак не обнаруживала движений тела, если только под пей вообще было тело. - Ты до сих пор не раздул огонь? Ну-ка, ну-ка.

Он ринулся к полке с бидоном - казалось, это все то же непрерывное движение - разом очутился подле полки, схватил бидон, понюхал и чуть не выплеснул его содержимое на угли в горне, прежде чем двое других успели пошевельнуться. Но в последнюю секунду Хьюстон удержал его, вырвал бидон и вышвырнул за порог.

- Да ведь я только-только отнял у него вот эту хреновину, - сказал Хьюстон. - Что здесь происходит, разрази вас гром? Где Трамбл?

- А, тот малый, что был здесь раньше? - сказал незнакомец. - С ним контракт расторгнут.

Теперь кузницу арендую я. Меня зовут Сноупс. А. О. Сноупс. А это мой двоюродный брат Эк Сноупс. Но кузница все та же и наковальня прежняя, только кузнец новый.

- Плевать мне, как его зовут, - сказал Хьюстон. - Лошадь он подковать может?

Снова незнакомец повернулся к парню в переднике и закричал на него так же, как раньше кричал на лошадь:

- Давай, давай! Разводи огонь!

Хьюстон с минуту постоял, глядя на них, потом сам взялся за дело, и огонь запылал.

- Ничего, выучится, - сказал незнакомец. - Дайте только срок. С молотом он управляется ловко, хотя, пожалуй, с виду не больно похож на заправского кузнеца. Ну да ничего, подучится. За ученого двух неученых дают. Вот погодите, парень малость набьет руку, - и через день-другой он подкует лошадь не хуже Трамбла или всякого другого.

- Свою лошадь я подкую сам, - сказал Хьюстон. - А он пусть только мехи раздувает. Это он, пожалуй, сможет и так, для этого руку набивать не надо.

Но едва подкова остыла в бадье, незнакомец снова ринулся и схватил ее. Это было полнейшей неожиданностью не только для Хьюстона, но, казалось, и для него самого, - похожий на хорька, он существовал как бы вне своей шкуры, вне одежды, так что одежду еще можно схватить, удержать, но не тело - его не удержишь, оно все равно сделает свое, навредит, напакостит, потому что неистовая мгновенная вспышка энергии вырывается наружу, едва намерение успеет возникнуть, - он вклинился между Хьюстоном и поднятым копытом, приложил к нему подкову, со второго же удара вогнал гвоздь в живое мясо, лошадь рванулась, и он как был, вместе с молотком, полетел в бадью, а Хьюстон и тот второй, в переднике, насилу загнали лошадь обратно в угол, и Хьюстон выдрал гвоздь, швырнул его вслед за подковой туда же, в угол, и вне себя вытолкнул лошадь задом из кузницы. Пес встал и спокойно занял свое место у ног хозяина.

- Можете передать Биллу Уорнеру, ежели, впрочем, ему есть до этого дело, а только он, видно, чхать на все хотел, можете передать ему, что свою лошадь я повел ковать в Уайтлиф, - сказал Хьюстон.

Лавка и кузница стояли напротив друг друга, разделенные дорогой. На галерее уже было несколько человек, и они видели, как Хьюстон, сопровождаемый огромным, спокойным, величественным псом, увел лошадь. Им даже не пришлось переходить дорогу, чтобы поглядеть на одного из этих пришлых, - тот, что был пониже ростом и постарше, в одежде, которая будет казаться на нем чужой, даже когда, вконец обветшав, свалится с плеч, с подвижной, заостренной мордочкой и блестящими бегающими глазками, сам подошел к лавке. Он поднялся на крыльцо, уже здороваясь с ними. Не переставая болтать, он вошел в лавку, и говор его был звучный, быстрый и бессмысленный, словно какое-то неразумное существо в пустой пещере болтает само с собой невесть о чем. Потом он снова показался в дверях, всё не переставая болтать:

- Ну, джентльмены, старому - гнить, новому - цвесть. Конкуренция - душа торговли, и хотя вся цепь никак не крепче, чем самое слабое ее звено, тем не менее вы сами скоро убедитесь, что на этого парня можно смело положиться, дайте ему только вникнуть в дело. Кузница старая и наковальня старая, зато новая метла чисто метет, и ежели старого пса новым штукам не выучишь, то молодого, да к тому же прилежного можно выучить чему угодно. Дайте только срок - ведь даже цент, отпущенный по водам, воздается сторицей. Да, да, как аукнется, так и откликнется, а от безделья, говорят, и удавиться недолго. Всех благ, джентльмены! - Он сошел с крыльца и сел в пролетку, всё продолжая болтать и обращаясь то к человеку в кузнице, то к своей тощей кляче, и все это единым духом, без малейшей запинки, так что невозможно было понять, с кем он разговаривает. Он уехал, а люди на галерее смотрели ему вслед с каменными лицами. Весь день они один за другим ходили через дорогу, к кузнице, и разглядывали второго пришельца - его спокойную, пустую, открытую, безобидную физиономию, которая, казалось, была лишь подкладкой для густой щетины на голове, как основа ворсистого ковра. Какой-то человек пригнал фургон со сломанной осью. И новый кузнец починил ее, хотя провозился чуть не до самого полудня и работал не отрываясь,

но вяло, словно в дремоте, как будто душой он был где-то далеко и нисколько не интересовался своим делом, несмотря на причитавшиеся ему за это деньги; озабоченный, неповоротливый, он, казалось, все делал невпопад, хотя в конце концов справился с работой. После полудня мимо проехал Трамбл, старый кузнец. Но если те, кто сидел на галерее, надеялись поглядеть, что будет, когда появится человек, который, по крайней мере до вчерашнего вечера, считал себя здесь хозяином, то им пришлось разочароваться. Трамбл с женой проехал через Балку в фургоне, нагруженном домашним скарбом. Если он и поглядел на свою старую кузницу, брюзгливый, но крепкий еще старик, хороший мастер, до вчерашнего дня ни у кого не вызывавший любопытства, - никто этого не заметил. Больше его никогда не видели.

Через несколько дней все узнали, что новый кузнец живет в одном доме со своим двоюродным братом (или кем он там ему доводится, этого никто не знал точно) Флемом и оба спят на одной кровати. А еще через полгода кузнец женился на одной из дочек хозяина, у которого оба они жили и столовались. Прошло десять месяцев, и вот он уже возил в воскресные дни детскую коляску (прежде - или, может, все еще - принадлежавшую Биллу Уорнеру, как седло, в котором ездил его двоюродный брат) вместе с пяти- или шестилетним мальчиком, сыном от первой жены, которой никто и в глаза не видел, доказывая тем самым, что в личной или, во всяком случае, в семейной жизни он гораздо проворней и напористей, чем на людях, в кузнице. Но все это выяснилось позже. Пока же все знали одно: у них кузнец не лентяй, с открытым сердцем, покладистый, всегда приветливый, даже великодушный, но неуклюжий от природы, и все, что превышало его возможности, всякий замысел или проект, все шло прахом, распадалось на мертвые составные части - куски дерева и железа, ремни, бесполезные инструменты.

Через два месяца Флем Сноупс выстроил в Балке новую кузницу. Разумеется, он нанял рабочих, но сам проводил на стройке целые дни, наблюдая, как подвигается дело. Это была первая из его затей, в которой он не только зримо участвовал, но и сам признался в этом, - заявил спокойно и прямо, что, мол, для того строит кузницу, чтобы людей снова обслуживали по-человечески. Он купил через лавку по себестоимости новое оборудование и нанял молодого фермера, который, в то время когда в полевых работах наступало затишье, ходил у Трамбла в подручных. За месяц новая кузница приобрела всех прежних клиентов Трамбла, а еще через три месяца Сноупс продал ее вместе с новым оборудованием, клиентурой и репутацией Уорнеру, взяв в придачу старую кузницу, железный хлам из нее продал утильщику, перевез Уорнерово оборудование в старую мастерскую, а новую мастерскую продал одному фермеру на своз под коровник, не уплатив ни цента за перевозку и оставив своего родича подмастерьем при новом кузнеце, и тут уж сам Рэтлиф сбился со счету, прикидывая, сколько барыша извлек Сноупс из всей этой комбинации. "Но остальное я, пожалуй, могу себе представить", - думал он, сидя у залитого солнцем окна, чуть бледный, но уже поправляющийся. Он почти видел эту картину: лавка, вечер, дверь заперта изнутри, лампа горит над конторкой, за которой, беспрерывно двигая челюстью, сидит приказчик, а Джоди Уорнер стоит перед ним и не смеет сесть, и в глазах у него уже куда больше страха, чем прошлой осенью, он дрожит всем телом и дрожащим голосом говорит: "Я хочу задать вам один простой и ясный вопрос и получить простой и ясный ответ. До каких пор это будет продолжаться? Когда же конец? Во сколько же мне встанет уберечь от огня одну конюшню с сеновалом?"

2

Он перенес болезнь, и это было видно по нему, когда, поставив в соседнем переулке свой фургончик с новой швейной машиной в размалеванной будке, запряженный парой крепких лошадок, гладких и разжиревших после целого года безделья, он сидел у стойки маленького тихого ресторанчика, половина которого номинально принадлежала ему, и в руке у него была чашка кофе, а в кармане подряд на продажу пятидесяти коз одному северянину, который недавно завел козье ранчо в западной части округа. Собственно, этот подряд он перекупил, по двадцать пять центов за голову, у первоначального подрядчика, который должен был получить

с северянина по семьдесят пять центов за козу, но чуть было не сорвал все дело. Рэтлиф перекупил у него подряд, потому что случайно знал, что в глухом местечке, неподалеку от Французовой Балки, есть одно стадо в пятьдесят с лишком голов, подрядчик о нем не подозревал, а

Теперь он уже был на пути к Французовой Балке, хотя еще не тронулся с места и даже не знал точно, когда тронется. Он не был там целый год. Он ждал этой поездки, не только предвкушая удовольствие от хитроумных сделок, далеко выходивших за границы пошлого и грубого стяжательства, но с острой радостью человека, поднявшегося с постели и снова ставшего хозяином собственного тела, хотя и несколько ослабевшего, но вольного двигаться под солнцем, на воздухе, где люди дышат и ходят, разговаривают, заключают сделки, и это удовольствие только увеличивалось оттого, что он еще не тронулся в путь и ничто в целом свете не могло заставить его тронуться раньше, чем он того захочет. Он больше не чувствовал слабости, он просто купался в блаженной истоме выздоровления, когда не существует времени, спешки, работы; и те накапливающиеся секунды, минуты и часы, рабом которых остается здоровое тело и во сне и наяву, теперь идут вспять, и время само лебезит и заискивает перед телом, которое обычно покоряется его безудержному бегу; Он сильно исхудал, чистая синяя рубашка свободно болталась у него на плечах, но выглядел он прекрасно, смуглое лицо ничуть не побледнело, только стало чуть светлее и как бы чище, от него веяло сдержанной силой, какая чувствуется в редких лесных цветах, стойких, без запаха, которые цветут прямо среди остатков зимнего снега. Он сидел, бережно держа в исхудалой руке чашку кофе, и рассказывал трем или четырем слушателям, как прошла операция, тем насмешливым, лукавым голосом, который ничуть не изменился после болезни, только немного ослабел. И тут вошли двое. Это были Талл и Букрайт. У Букрайта из заднего кармана комбинезона торчал кнут, обмотанный вокруг кнутовища.

- Здравствуйте, ребята, - сказал Рэтлиф. - Что-то вы нынче рано.

- Наоборот, поздно, - сказал Букрайт.

Они с Таллом подошли к стойке.

- Мы приехали ночью, пригнали скотину на станцию, сегодня погрузка, сказал Талл.- Говорят, вы болели. А я уж по вас соскучился.

- Мы все соскучились, - сказал Букрайт. - Моя жена говорит, за целый год во всей округе не появилось ни одной новой швейной машины. Так что там этот доктор в Мемфисе у вас вырезал?

- Бумажник, - сказал Рэтлиф. - Наверно, он для того меня сперва и усыпил.

- Ну нет, он вас усыпил, чтобы вы не продали ему швейную машину или целый фургон зубьев для бороны, прежде чем он успеет нож в руки взять, сказал Букрайт.

Буфетчик придвинул обоим по тарелке с бутербродами.

- Нет, мне бифштекс, - сказал Талл.

- А мне не надо, - сказал Букрайт. - Два дня только и делал, что смотрел, как из этих бифштексов навоз прет. Да еще гонял их с полей и огородов. Дайте мне колбасы и яичницу из шести яиц.

Он жадно накинулся на хлеб. Рэтлиф повернулся на своем табурете и сел лицом к пришедшим.

- Стало быть, по мне соскучились, - сказал он. - А я-то думал, у вас на Французовой Балке теперь столько нового народу, что, исчезни хоть дюжина агентов по продаже швейных машин, вы бы и тогда ничего не заметили. Сколько новых родичей выписал к вам Флем Сноупс? Двоих? Троих?

- Четверых, - сказал Букрайт с набитым ртом.

- Четверых? - сказал Рэтлиф. - Значит, этот кузнец - я хочу сказать, тот парень, который торчит в кузнице, покуда не настанет время идти домой ужинать, - как бишь его?.. Ах да, Эк. И тот другой, арендатор кузни, руководитель...

- Теперь он будет школьным учителем, - тихо сказал Талл. - Во всяком случае, так говорят.

- Да нет же, - сказал Рэтлиф.- Я говорю о Сноупсах. Об том, втором. А. О. Его еще Джек Хьюстон швырнул тогда прямо в бадью.

- Об нем и речь, - сказал Талл. - Говорят, он будет учительствовать у нас в школе на будущий год. Прежний учитель взял да и уехал как раз после рождества.

Вы и об этом, верно, еще не знаете.

Но Рэтлиф уже не слушал его. Он не думал о прежнем учителе. Он смотрел на Талла до того удивленный, что обычной насмешливой невозмутимости вдруг как не бывало.

- Как? - сказал он.- Учителем? Этот тип? Этот Сноупс? Который пришел в кузню в тот день, когда Джек Хьюстон... Вот что, Одэм, я, правда, болел, но как будто еще не оглох после болезни.

Букрайт не отвечал. Он прикончил свой хлеб, потянулся и взял кусок с тарелки Талла.

- Ты все равно не ешь, - сказал он. - Сейчас я велю принести еще.

- Ну и ну, - сказал Рэтлиф. - Провалиться мне на этом месте. Клянусь богом, я как увидел его, так сразу и подумал - с ним что-то неладно. Вон оно что. Он брался не за свое дело - кузница, полевые работы. Но что ему впору быть учителем - это мне и в голову не приходило. Вон оно что. Он нашел единственное место в целом свете, или, вернее, на Французовой Балке, где можно не только полный день сыпать всякими присловьями, но еще и деньги за это получать. Так, так. Стало быть, Билл Уорнер схлопотал наконец беду на свою голову. Лавку Флем сожрал, кузню сожрал, теперь до школы очередь дошла. Остается только дом. Потом, ясное дело, он поневоле и за вас примется, но пока что ему еще придется попотеть с домом, потому что Билла...

- Ха! - односложно сказал Букрайт. Он доел ломоть, который взял с тарелки Талла, и кликнул буфетчика:- Эй, дайте-ка мне покамест кусок пирога.

- Какого пирога, мистер Букрайт? - спросил буфетчик.

- Съедобного, - сказал Букрайт.

- ...потому что Билла, пожалуй, не так-то просто будет оттуда вытурить, - сказал Рэтлиф. - А может, из этого и вовсе ничего не выйдет. Так что смотрите, как бы Флему не пришлось приняться за вас раньше, чем он рассчитывал...

- Ха! - снова сказал Букрайт, отрывисто и неожиданно.

Буфетчик пододвинул ему пирог. Рэтлиф поглядел на Букрайта.

- Ну? - сказал он.- Что "ха"?

Букрайт поднес ко рту кусок пирога. Он повернул к Рэтлифу свое злое, мрачное лицо.

- Сижу я на прошлой неделе у Квика на лесопилке. Кочегар и еще один черномазый сгребают лопатами щепу к топке и переговариваются друг с дружкой. Кочегар хотел подзанять деньжонок, да боялся, что Квик ему не даст. Тогда другой черномазый и говорит: "Сходи к мистеру Сноупсу в лавку, он тебе даст взаймы. Мне он вот уж больше двух лет назад дал пять долларов, и я одно знаю - каждую субботу несу ему в лавку десять центов. А про пять долларов он ни разу и не вспомнил". - Букрайт отвернулся и вонзил зубы в пирог, отхватив сразу чуть не половину. Рэтлиф смотрел на него слегка насмешливо, почти с улыбкой.

- Так, так, - сказал он. - Стало быть, он принялся за дело сразу с обоих концов. Ну, в таком случае недолго ждать, покуда он доберется до середки и возьмется за вас, за простых белых людишек.

Букрайт снова откусил изрядный кусок. Буфетчик принес заказ, и Букрайт запихнул в рот остаток пирога. Талл принялся резать свой бифштекс на мелкие кусочки, словно собирался кормить ребенка. Рэтлиф следил за их движениями.

- Неужто никто из ваших не попытался что-нибудь сделать? - сказал он.

- А что мы можем сделать? - сказал Талл.- Конечно, неправильно все это. Но нас это не касается.

- Живи я там, я бы что-нибудь придумал, - сказал Рэтлиф.

- Ну да, - сказал Букрайт. Он расправлялся с жареной колбасой так же, как с пирогом. - И достался бы вам один галстук бабочкой заместо фургончика с лошадьми. Вам он был бы к лицу.

- Конечно, - сказал Рэтлиф. - Вы, пожалуй, правы. - Он отвернулся и поднес к губам ложечку, но сразу же опустил ее в чашку. - По этой чашке, кажется, сквозняк гуляет, - сказал он буфетчику. - Подогрейте-ка малость. А то, боюсь, кофе замерзнет, разорвет чашку, мне же платить придется.

Буфетчик взял чашку, налил горячего кофе и подал Рэтлифу. Рэтлиф осторожно положил туда ложечкой сахар, все с тем же неопределенным выражением на лице, которое, за отсутствием более точного слова, приходится называть улыбкой. Букрайт смешал все шесть яиц в одно невероятное хлёбово и, чавкая, уписывал его ложкой. Оба они, и он и Талл, ели быстро, но Талл ухитрялся делать это с какой-то почти педантичной изысканностью. Во время еды они не разговаривали, а очистив тарелки, сразу встали, подошли к коробке из-под сигар и расплатились.

- А не то резиновые тапочки, - сказал Букрайт. - Он их уже целый год не носит... Нет, на вашем месте я бы заявился туда в чем мать родила. Тогда на обратном пути холода не почувствуете.

- Да, оно верно, - кротко согласился Рэтлиф. Когда они ушли, он снова принялся за кофе и, неторопливо прихлебывая из чашки, стал досказывать трем или четырем слушателям про свою операцию. Потом он тоже встал, добросовестно расплатился за кофе и надел пальто. Был уже март, но доктор велел ему одеваться потеплее, и, выйдя в переулок, он постоял минутку перед своим фургончиком и крепкими маленькими лошадками, разжиревшими от безделья и лоснящимися новой шерстью после зимы, спокойно глядя на размалеванную будку, с которой, из-под ярких, облупившихся, неправдоподобных роз, ему улыбались женские лица застывшей, незрячей, зазывной улыбкой. "Надо будет все покрасить заново в этом году; только бы не забыть. Наверно, он отдаст то, что легко горит, - подумал он. - Переведет на его имя. Так, чтоб все знали. Да, - подумал он, - будь мое имя Билл Уорнер, а моего компаньона - Сноупс, я бы непременно то имущество, которое может гореть, записал на его имя". Он медленно пошел вперед, плотно застегнувшись на все пуговицы. Кроме него, на улице не было ни одного человека в пальто. Но ведь хворь на солнце быстро проходит; и когда он вернется в город, пальто, может быть, ему больше и не понадобится. А потом не понадобится и свитер - наступит май, июнь, лето, долгие, славные жаркие дни. Он шел такой же, как всегда, только исхудавший и побледневший, два раза остановился, чтобы сообщить двум людям, что, мол, да, теперь он в полном порядке, доктор из Мемфиса, видно, вырезал то, что надо, может, случайно, а может, и по науке, пересек площадь под угрюмым взглядом мраморного солдата Конфедерации, вошел в здание суда, потом зашел к нотариусу и там нашел то, чего искал - около двухсот акров земли с постройками были записаны на имя Флема Сноупса.

К концу дня его фургончик уже стоял посреди узкой малоезженной дороги среди холмов, и он, не слезая, читал имя на почтовом ящике. Столб под ящиком был новый, зато сам ящик старый. Жесть была помята и покорежена; видно, когда-то ящик совсем сплющился, точно под колесо фургона попал, а потом его снова выпрямили, но корявые буквы, возможно, были выведены на нем только вчера. Они словно кричали: МИНК СНОУПС, - все сплошь заглавные, размашистые, без всякого промежутка между словами, ползущие в стороны и вверх, на изогнутую крышку, чтобы всем уместиться. РэтлиФ свернул на глубокую колею, которая вела к покосившейся двухкомнатной лачуге, одной из тех, что без числа разбросаны по глухим холмистым местам, где он разъезжал. Дом стоял на холме; ниже был грязный, загаженный навозом загон, а еще ниже, у подножия холма хлев, который словно сбежал от человечьего духа - Оттуда вышел человек с подойником, и в тот же миг Рэтлиф почувствовал, что за ним следят из дома, хотя видно никого не было. Он остановил лошадей, но из фургончика не вылез.

- Здрасьте, - сказал он. - Вы мистер Сноупс? Я привез вам машину.

- Что привезли? - спросил мужчина в загоне.

Он прошел в ворота и поставил подойник на приступку осевшей веранды. Он тоже был ниже среднего роста, только худощавый, со сросшимися, низко нависшими бровями. "Но глаза такие же", - подумал РэтлиФ.

- Швейную машину, - сказал он любезно.

Краешком глаза он увидел на веранде женщину - широкую в кости, с грубым лицом и ярко-желтыми волосами, она вышла неожиданно легким шагом - но была босиком, и за спиной у нее жались двое растрепанных детишек. А Рэтлиф даже не взглянул на нее. Он глядел на мужчину, приветливо, ласково, дружелюбно.

- Что такое? - сказала женщина. - Швейная машина?

- Нет, - сказал мужчина. Он тоже не взглянул на нее. Он уже шел к фургончику. - Ступай в дом.

Женщина не обратила никакого внимания на его слова. Она спустилась с веранды, двигаясь до того быстро и ловко, что это казалось просто невероятным при ее сложении. Она уставилась на Рэтлифа бесцветными жесткими глазами.

- Кто это вам велел везти сюда машину? - сказала женщина.

Теперь Рэтлиф посмотрел на нее, все так же ласково, приветливо.

- Может, я ошибся? - сказал он. - Мне в Джефферсон передали поручение с Французовой Балки. Там сказано - Сноупсу. Я решил, что это вы и есть, потому что ежели бы вашему... двоюродному брату, так, кажется?.. - Мужчина и женщина молчали, глядя на него в упор. - Флему. Ежели бы Флему понадобилась машина, он бы обождал, покуда я приеду. Он знает, что мне надо быть там завтра. Ну, я и заехал узнать.

Женщина засмеялась хрипло, невесело.

- Вот и везите ее к нему. Ежели Флем Сноупс велел вам привезти что-нибудь дороже пяти центов, значит, тут дело не чисто. Он своей родне ничего даром не отдаст. Везите ее в Балку.

- Говорят тебе, иди в дом, - сказал мужчина. - Ступай.

Женщина даже не взглянула в его сторону. Она все так же хрипло смеялась, глядя на Рэтлифа.

- Он ничего даром не отдаст, - сказала она.- Нет, он не таковский, недаром у него сто голов скота, и сенной сарай, и свое пастбище.

Мужчина повернулся и пошел прямо на нее. Она тоже повернулась и завопила ему прямо в лицо, а дети, цепляясь за ее юбку, спокойно смотрели на Рэтлифа, словно они были глухие или жили в другом мире, где не было слышно этого крика; так могли бы смотреть двое щенят.

- Что, неправда? - кричала женщина. - Он рад бы тебя живьем сгноить, твой родич, ты сам это знаешь! А ты им так гордишься, потому что он служит в лавке и с утра до ночи ходит при галстуке! Попроси у него хоть мешок муки, увидишь, что получишь! Ну-ка попроси, попроси! Может, когда-нибудь он отдаст тебе свой старый галстук, чтобы ты тоже мог одеться не хуже вся кого другого Сноупса!

Мужчина, не останавливаясь, шел на нее. Он больше не сказал ни слова. Он был ниже ее ростом и двигался, безостановочно, как-то странно избочившись, непреклонно и вместе с тем чуть ли не благоговейно, и наконец она не выдержала, быстро повернулась и пошла назад, к дому, а дети побежали впереди, все поглядывая на Рэтлифа через плечо. Мужчина подошел к фургончику.

- Вам передали от Флема?

- Я говорю - с Французовой Балки. Сказали - от Сноупса.

- Кто ж это вам передал?

- Да так, один приятель, - сказал Рэтлиф приветливо. - Видно, ошибся. Пожалуйста, извините меня. Скажите, выеду я здесь на дорогу к Уайтлифскому мосту?

- Ежели Флем велел вам оставить ее здесь, так оставляйте.

- Я же вам говорю, что ошибся и прошу прощения, - сказал Рэтлиф. - Так как же, выеду я...

- Понятно, - сказал другой. - Вы, я вижу, хотите получить задаток наличными. Сколько?

- Вы спрашиваете про задаток за машину?

- А про что же еще, по-вашему?

- Десять долларов, - сказал Рэтлиф. - И вексель еще на двадцать сроком на полгода. До

уборки.

- Десять долларов? Да вам же передали поручение...

- Мы сейчас не о поручении толкуем, - сказал Рэтлиф. - Мы толкуем о швейной машине.

- Возьмите пять.

- Нет, - ласково сказал Рэтлиф.

- Ладно, - сказал мужчина. - Пишите вексель.

Он ушел в дом. Рэтлиф спрыгнул на землю, открыл будку и достал из-под новой машины жестяную шкатулку для бумаг. В ней была ручка, тщательно заткнутая бутылочка с чернилами и стопка вексельных бланков. Рэтлиф еще заполнял бланк, когда Сноупс опять подошел к нему. Едва перо Рэтлифа остановилось, Сноупс подвинул к себе бланк, взял у Рэтлифа ручку, размеренным движением обмакнул ее в чернила, не читая, расписался, потом снова сунул вексель Рэтлифу и достал что-то из кармана, Рэтлиф даже не поглядел что, внимательно и невозмутимо рассматривая подписанный вексель. Он сказал спокойно:

- Вы расписались "Флем Сноупс".

- Да, - сказал тот. - Ну и что? - Рэтлиф молча смотрел на него. - Ага, понятно. Вам и мое имя тоже нужно, чтобы, по крайности, один из нас не мог потом отпереться. Ладно. - Он взял вексель, нацарапал что-то еще и снова протянул Рэтлифу. - А вот ваши десять долларов. Помогите-ка мне снести машину.

Но Рэтлиф не шевельнулся, потому что мужчина дал ему не деньги, а еще какую-то бумагу, сложенную в несколько раз, замусоленную, с обтрепанными краями. Рэтлиф развернул ее и увидел, что это другой вексель - на десять долларов с процентами, подлежащий оплате по требованию через год после оформления, - выданный больше трех лет назад "Айзеку Сноупсу или предъявителю сего", подпись - "Флем Сноупс". На обороте была передаточная запись (Рэтлиф узнал руку, которая только что подписала два имени на первом векселе): "Минку Сноупсу от Айзека Сноупса (+) за неграмотностью", а ниже, и опять той же рукой, - другая, только что высушенная промокательной бумагой или просохшая сама по себе: "В. К. Рэтлифу от Минка Сноупса". Рэтлиф спокойно и невозмутимо разглядывал вексель почти целую минуту.

- Все в порядке, - сказал мужчина. - Мы с Флемом его двоюродные братья. Бабка оставила нам троим по десяти долларов на брата. Мы должны были получить деньги, когда самому младшему - а это он и есть - стукнет двадцать один. Флему понадобились наличные, он и занял их у него под вексель. А потом и ему понадобилась наличность, я и купил у него Флемов вексель. Ну а ежели вам желательно узнать, какого цвета у него глаза, или еще что, можете сами поглядеть, когда будете на Французовой Балке. Он живет у Флема.

- Понятно, - сказал Рэтлиф. - Айзек Сноупс. Так вы говорите, ему уже двадцать один?

- А откуда иначе он взял бы десять долларов, чтобы одолжить Флему?

- Ну конечно, - сказал Рэтлиф.- И все-таки это не десять долларов наличными...

- Послушайте, - сказал мужчина. - Я не знаю, что у вас на уме, да и знать не хочу. Но вам меня не одурачить, да и я вас дурачить не собираюсь. Ежели б вы не были уверены, что Флем уплатит по тому, первому, векселю, вы не взяли б его. А ежели за тот вы спокойны, чего ж за этот-то беспокоиться, тут и сумма меньше, и за ту же самую машину я его даю, да и законный срок вот уж два года как вышел. Отвезите ему оба векселя. Отдайте их ему, вот и все. И еще передайте от меня словечко. Скажите так: "От родича, который все ковыряется в земле, чтобы с голоду не подохнуть, тому родичу, который больше в земле не ковыряется и стал хозяином скотины и сенного сарая". Скотины и сенного сарая. Так и скажите. Лучше всего повторяйте это про себя, покуда будете ехать, чтоб уж наверняка.

- Ладно, не беспокойтесь, - сказал Рэтлиф. - Так, значит, выеду я по этой дороге к Уайтлифскому мосту?

Ночевал он у родственников (он родился и вырос неподалеку от этих мест), на Французову Балку приехал на другой день после полудня, поставил упряжку во дворе у миссис Литтлджон и пошел к лавке, где на галерее сидели явно те же самые люди, что и год назад, когда он в последний раз был здесь, и среди них Букрайт.

- Букрайт говорит, будто доктор-то в Мемфисе вырезал у вас не что-нибудь, а бумажник,- сказал один. - Немудрено, что на поправку ушел целый год. Удивительно, как это вы не померли, когда очухались: хвать, а бумажника нет.

- Тут-то я и вскочил, - сказал Рэтлиф. - А не то бы до сих пор там валялся.

Он вошел в лавку. Передняя половина ее была пуста, но он не остановился, как можно было ожидать, не дал даже глазам привыкнуть к полумраку. Он подошел к прилавку, приветливо здороваясь:

- Здравствуйте, Джоди! Здравствуйте, Флем! Не беспокойтесь, я сам все возьму.

Уорнер, склонившийся над конторкой, за которой сидел приказчик, поднял голову:

- А-а, стало быть, вы опять на ногах.

- И опять в трудах, - сказал Рэтлиф, заходя за прилавок и открывая единственную стеклянную витрину, в которой вперемешку лежали ботиночные шнурки, гребенки, табак, патентованные лекарства и дешевые сласти. - Как знать, может, это одно и то же. - Он принялся тщательно отбирать яркие, полосатые леденцы, одни брал, другие откладывал в сторону. Туда, где за конторкой, не отрываясь от бумаг, сидел приказчик, он не взглянул ни разу, да и тот на него глаз не поднял, - Вы не знаете, дядюшка Бен Квик дома?

- А где ж ему быть? - сказал Уорнер. - Только, сдается мне, вы уже продали ему швейную машину года два или три назад.

- Конечно, - сказал Рэтлиф, откладывая леденец и беря другой. Потому-то я и хотел бы повидать его дома: там, ежели ему станет дурно, будет кому его отхаживать. На этот раз я сам хочу купить у него кое-что.

- Чем же таким он разжился, черт возьми, что вы ради этого вон какой конец отмахали?

- Козами, - сказал Рэтлиф. Он считал леденцы и складывал их в карман.

- Чем?

- Да, да, козами. Вот уж вы бы никогда не подумали, правда? Но во всей йокнапатофской округе и в Гренье нет ни одной козы, кроме тех, что у дяди Бена.

- М-да, и впрямь не подумал бы, - сказал Уорнер. - Только ума не приложу, на что они вам?

- На что человеку козы? - сказал Рэтлиф. Он подошел к колпаку для сыра и положил монету в коробку из-под сигар. - Ясное дело - в фургон запрягать. У вас все здоровы - вы, дядя Билл, миссис Мэгги?

- Угу, - буркнул Уорнер. Он снова обернулся к конторке.

Но Рэтлиф этого уже не видел. Расплатившись, он сразу вышел на галерею, угощая всех леденцами.

- Доктор прописал, - сказал он. - Как бы он теперь еще один счет не прислал, на десять центов, за совет слопать на пять центов леденцов. Что ж, от леденцов я не откажусь. А вот все сидеть да сидеть, это не по мне. Но он велел.

Он лукаво и дружелюбно взглянул на сидевших. Скамья была длинная, они стояла у стены, под окном, у самой двери. Человек, сидевший с краю, встал.

- Ладно, - сказал он. - Так уж и быть, садитесь. Да ежели б вы и не болели, все равно еще с полгода прикидываться будете.

- Должен же я хоть что-нибудь получить за свои семьдесят пять долларов, которые вылетели у меня из кармана после этой истории, - сказал Рэтлиф. - Ну хоть уважение у людей, хотя бы на время. Только вы хотите меня посадить на самом сквозняке? Нет, уж лучше раздвиньтесь, а я сяду посередке. - Они раздвинулись и освободили ему место в середине. Теперь он сидел прямо под открытым окном. Он положил в рот леденец и, посасывая его, заговорил слабым, тонким, трогательным голосом, еще не окрепшим после недавней болезни: - Да, друзья. Я бы все еще валялся в постели, ежели бы не хватился бумажника. Но только когда я встал, вот тут только я перепугался не на шутку. "А вдруг, думаю, я тут себе лежу целый год, а какой-нибудь ловкач приехал и наводнил швейными машинами не только Французову Балку, но и всю Йокнапатофскую округу". Но господь меня не оставил. Пропади я пропадом, не успел я встать с постели, как он или кто там еще послал мне барана - точь-в-

точь, как в Писании, когда он спас Исаака. Он послал мне владельца козьего ранчо.

- Чего? - сказал один.

- Козьего ранчо. Вы-то небось об козьих ранчо и не слыхали никогда. Потому что в наших краях до такой штуки никому не додуматься. Для этого надо быть северянином. И вот один северянин где-то там в Массачусетсе, или в Бостоне, или в Огайо додумался, и прикатил сюда, в Миссисипи, с целым саквояжем зелененьких, и купил в пятнадцати милях к западу от Джефферсона две тысячи акров самой лучшей земли, какая только нашлась - все холмы, да лощины, да травы, - и обнес ее десятифутовой загородкой, такой частой, что, наверно, и вода-то сквозь нее не течет, и совсем уж приготовился было загребать деньгу лопатой, как вдруг сообразил, что ему не хватает коз.

- Чепуха, - сказал кто-то. - Коз всем хватает.

- И потом, - вдруг резко сказал Букрайт, - ежели вы хотите, чтобы вас и вон там, в кузнице, слышали, мы можем всем скопом туда перейти.

- Ну конечно, - сказал Рэтлиф. - Вам, ребята, и невдомек, до чего приятно языком потрепать после того, как полежишь на спине в таком месте, где каждый, кому тебя слушать неохота, может встать и уйти, а ты за ним пойти не можешь. - Тем не менее он немного понизил голос - высокий, отчетливый, насмешливый, неторопливый. - Так вот, ему они были нужны позарез. Вы не забывайте, что он северянин. Они делают дела не так, как мы. Надумай кто в наших краях завести козье ранчо, он просто взял бы да завел, потому как коз у него и без того больше, чем нужно. Только предупредил бы, что его дом, или веранда, или гостиная, или другое какое место, откуда коз никак не отвадить, - это и есть козье ранчо, и все тут. Но северянин сделает иначе. Ежели уж он берется за дело, так организует целый синдикат, согласно печатному своду правил, и имеет патент от самого министра из Джексона, тисненный золотыми буквами и гласящий, что, мол, мое вам нижайшее, подтверждаю, что двадцать тысяч коз, или чего там еще, суть воистину козы. Он не начнет с коз или с участка земли. Он начнет с листа бумаги и карандаша и все расчислит и выверит у себя в кабинете: столько-то коз на столько-то акров и столько-то футов загородки, чтоб козы не разбежались. А потом напишет в Джексон и получит патент на всю эту землю, загородку и коз, и сперва купит землю, чтобы было где поставить загородку, и поставит ее, чтобы наружу ничего не выскочило, а уж после станет покупать скотину, которой за этой загородкой гулять. И вот сперва все шло как по маслу. Нашел он землю, да такую, что самому господу богу и тому не снилось устроить на ней козье ранчо, купил ее почти без хлопот, пришлось только разыскать хозяев и втолковать им, что он действительно собирается платить им деньги, а загородка, можно сказать, сама собой выросла, потому что он сидел себе на месте, посреди участка, и знай только денежки выкладывал. А потом он видит, что коз не хватает. Обшарил он всю округу вдоль и поперек, чтобы набрать столько коз, сколько в патенте написано, а то золотые буквы так в лицо ему и скажут, что он плут. Но только все попусту. Как он ни бился, а загородки остается еще на пятьдесят коз. Стало быть, теперь это уже не козье ранчо, это банкротство. Или отдавай назад патент, или хоть из-под земли достань эти пятьдесят коз! Что ж получается? Человек притащился черт знает из какой дали, из самого Бостона, штат Мэйн, купил две тысячи акров земли, поставил сорок четыре тысячи футов загородки, а теперь вся эта затея может сорваться из-за коз дядюшки Бена Квика, потому что других коз между Джексоном и штатом Теннесси нет как нет.

- А вы почем знаете? - сказал один.

- А вы думаете, я бы встал с постели и потащился в такую даль, ежели б не знал? - сказал Рэтлиф.

- А вы бы сели в свой фургончик да ехали к нему не откладывая, - душа спокойнее будет, - сказал Букрайт. Он сидел у столба, лицом к окну, которое было у Рэтлифа за спиной.

Рэтлиф поглядел на него, приветливый и загадочный под своей всегдашней неприметной и насмешливой маской.

- Конечно, - сказал он. - А козы эти у него уже давно. Он, верно, снова пойдет толковать: того-то мне нельзя, а это непременно надо и, уж конечно, счетов наприсылает за свои советы...

Он переменил тему разговора так плавно и вместе с тем так решительно, словно, - как они поняли позже, - вдруг выставил табличку, на которой красными буквами было написано: "Тише!", и приветливо, непринужденно поглядел на Уорнера и Сноупса, показавшихся в дверях лавки. Сноупс не сказал

- Не рано ли закрываете, Джоди? - сказал Рэтлиф.

- Смотря что вы называете "поздно", - неохотно сказал Уорнер и пошел следом за приказчиком.

- Может, уже пора ужинать? - сказал Рэтлиф.

- В таком случае, я на вашем месте закусил бы да поехал покупать этих коз, - сказал Букрайт.

- Конечно, - сказал Рэтлиф.- Но, может, у дяди Бена к завтрашнему дню лишняя дюжина прибавится. Ладно, была не была...

Он встал и застегнул пальто.

- Перво-наперво коз купите, - сказал Букрайт.

И снова Рэтлиф посмотрел на него, приветливый, непроницаемый. Потом посмотрел на остальных. На него никто не смотрел.

- Да ладно, не горит. А что, ребята, кто-нибудь из вас столуется у миссис Литтлджон?

Вдруг он сказал: "Что это?" - и все сразу поняли, про что он спрашивает, - взрослый человек, босой, в тесном выцветшем комбинезоне, годном разве на четырнадцатилетнего подростка, шел по дороге мимо галереи, волоча за собой на веревке деревянную чурку с двумя приколоченными к ней жестянками из-под табака, и, ничего не видя вокруг, глядел через плечо на пыль, которая клубилась за чуркой. Поравнявшись с галереей, он поднял голову, и Рэтлиф увидел его лицо - тусклые и, казалось, вовсе незрячие глаза, разинутый слюнявый рот, окаймленный легким золотистым пушком.

- Тоже из ихних, - сказал Букрайт хрипло и резко.

Рэтлиф, не отрываясь, глядел на это жалкое существо, - штаны едва не лопаются на толстых ляжках, голова болтается на вывернутой шее, глаза устремлены назад, па волочащуюся в пыли чурку.

- И нам еще толкуют, будто все мы созданы по образу и подобию божию, сказал он.

- По-моему, и хуже этого бывает, чего только не насмотришься на свете, - сказал Букрайт.

- Не знаю, что-то не верится, хоть, может, оно и так, - сказал Рэтлиф.Значит, он здесь просто появился, и все?

- А что тут особенного? - сказал Букрайт. - Не он первый.

- Конечно. Но ведь надо же ему где-то жить.

Странное существо дошло до дома миссис Литтлджон и свернуло в ворота.

- Он ночует у нее в конюшне, - сказал один. - Она его кормит. Он кое-чего делает. А она как-то объясняется с ним.

- Видно, она-то и создана по образу и подобию божию, - сказал Рэтлиф. Он повернул голову; в руке у него все еще был забытый кусочек леденца. Он положил его в рот и вытер пальцы о полу пальто.

- Ну, так как же насчет ужина?

- Сначала купите коз, - сказал Букрайт. - А потом поужинаете.

- Завтра куплю, - сказал Рэтлиф. - Может, у дяди Бена тем временем еще полсотни голов поднакопится.

"А может, и послезавтра, - думал он, шагая по хмельному холодку мартовского вечера на медный зов колокольчика миссис Литтлджон. - Так что времени у него довольно. Кажется, я чисто сработал. Сыграл не только на том, что он, по-моему, знает обо мне, но и на том, что я, по его соображениям, знаю о нем, хоть я целый год и проболел и сильно отстал в великой науке и благородной забаве надувательства. А Букрайт сразу попался на удочку. Из кожи лез, чтоб меня предупредить. Даже в чужие дела вмешался ради этого".

Так что назавтра он не только не побывал у хозяина козьего стада, но уехал за шесть миль совсем в другую сторону и убил целый день, пытаясь продать швейную машину, которой

у него и с собой-то не было. Там же он и заночевал, а в Балку вернулся только на другой день утром и поехал прямо к лавке, где к одному из столбов галереи была привязана чалая лошадь Уорнера. "Стало быть, он теперь уж и на лошади ездит, - подумал Рэтлиф. - Так, так". Он не вылез из своего фургончика.

- Не возьмет мне кто-нибудь на пять центов леденцов? - сказал он. Может, придется подкупить дядю Бена через которого-нибудь из внуков. - Один из сидевших на галерее сходил в лавку и вынес леденцы. - Вернусь к обеду, сказал он. - И тогда снова буду к услугам любого бедствующего молодого врача - пусть режет.

Ехать ему было недалеко: меньше мили до моста, да еще за мостом чуть побольше мили. Он подъехал к чистому, опрятному дому, позади которого был большой хлев, а за хлевом выгон; там он увидел коз. Крепкий, рослый старик, сидевший в одних носках на веранде, закричал:

- Здорово, В. К.! Какого дьявола ты там, у Билла Уорнера, затеял?

Рэтлиф сказал, не слезая с козел:

- Так. Значит, он меня обошел.

- Пятьдесят коз! - кричал старик. - Слыхал я об одном человеке, который десять центов платит, только бы избавиться от пары коз, но сроду не слыхивал, чтоб кто-нибудь их покупал, да еще разом полсотни!

- Он ловкий малый, - сказал Рэтлиф. - Если купил полсотни, то, верно, знает, что ему ровно столько и понадобится.

- Да, ловкий малый. Ишь ты, пятьдесят коз. Вот адово племя! Тьфу! А у меня есть еще стадо, сказать - не соврать, курятник доверху набить можно. Может, возьмешь?

- Нет, - сказал Рэтлиф. - Мне нужны были именно те пятьдесят.

- Я тебе их даром отдам. И еще четвертак приплачу, только бы они мне глаза не мозолили.

- Благодарю, - сказал Рэтлиф. - Что ж, придется отнести это на счет накладных расходов.

- Пятьдесят коз, - сказал старик. - Оставайся обедать.

- Благодарю, - сказал Рэтлиф. - Боюсь, я и так уж слишком много времени

Он вернулся в Балку - одна долгая миля до реки, а потом одна короткая, за рекой, - маленькие крепкие лошадки бежали хоть и не дружно, зато резво. Чалая лошадь все стояла у лавки, и люди все сидели на галерее, но Рэтлиф не остановился. Он доехал до дома миссис Лпттлджон, привязал лошадей к загородке, а сам поднялся на веранду, откуда ему была видна лавка. Из кухни у него за спиной уже доносился запах стряпни, и люди на галерее скоро стали расходиться, так как дело шло к полудню, а чалая лошадь все еще стояла на прежнем месте. "Да, - подумал Рэтлиф. - Прижал он Джоди. Если человек отберет у тебя жену, остается одно - застрелить его, и тогда тебе полегчает. Но если кто отберет лошадь..."

Позади него раздался голос миссис Литтлджон:

- А я и не знала, что вы вернулись. Будете обедать?

- Да, мэм. Вот только сперва схожу в лавку. Я не долго.

Она вернулась в дом. Он вынул из бумажника два векселя, один положил во внутренний карман пальто, другой - в нагрудный карман рубашки и пошел по дороге прямо в мартовский полдень, ступая по полуденной, плотно прибитой пыли, вдыхая бездыханный, недвижный воздух полудня, поднялся на крыльцо и пересек опустевшую галерею, заплеванную табаком и изрезанную ножами. Лавка внутри была как пещера - темная, прохладная, пропахшая сыром и кожей; глаза не сразу привыкли к темноте. Потом он увидел серую кепку, белую рубашку, крошечный галстук бабочкой, жующие челюсти. Сноупс взглянул на него.

- Вы меня обошли, - сказал Рэтлиф. - Сколько?

Приказчик повернул голову и сплюнул в ящик с песком, стоявший под холодной печкой.

- Пятьдесят центов, - сказал он.

- Я сам уплатил за подряд двадцать пять. А получу семьдесят пять. Так что лучше разорвать договор в клочки, на перевозку не надо будет тратиться.

- Ладно, - сказал Сноупс. - Сколько дадите?

- Я дам вам за них вот это, - сказал Рэтлиф.

Он достал первый вексель из кармана пальто. И увидел - на секунду, на мгновение какая-то новая, полнейшая неподвижность сковала пустое лицо и приземистую, дряблую фигуру за конторкой. На это мгновение даже челюсть перестала жевать, но сразу же задвигалась снова. Сноупс взял бумагу и взглянул на нее. Потом положил ее на конторку, повернул голову и сплюнул в ящик с песком.

- Вы думаете, этот вексель стоит пятидесяти коз, - сказал он.

Это не был вопрос, это было утверждение.

- Да, - сказал Рэтлиф. - Потому что, кроме него, я должен еще передать вам кое-что на словах. Хотите выслушать?

Сноупс смотрел на него и жевал. Если б не это, он был бы совершенно неподвижен; казалось, он даже не дышал. Помолчав, он сказал:

- Нет. - И не спеша встал. - Ладно, - сказал он. Он вынул бумажник, достал оттуда сложенную бумагу и протянул ее Рэтлифу. Это была подписанная Квиком купчая на пятьдесят коз. - Спички есть? Я не курю. - Рэтлиф дал ему спичку и смотрел, как он поджег вексель, дождался, пока вся бумага вспыхнула, бросил ее в ящик с песком и, когда она сгорела, носком ботинка растер золу. Потом Сноупс поднял глаза; Рэтлиф не пошевельнулся. И тут, снова всего на миг, Рэтлифу показалось, будто челюсть перестала жевать. Ну? - сказал Сноупс. - Что еще? - Рэтлиф вытащил второй вексель, из другого кармана. Теперь он уже ясно видел, что челюсть перестала жевать. Она не двигалась целую минуту, пока широкое, бесстрастное лицо висело, как воздушный шар, над грязной бумагой с обтрепанными краями - вот он перевернул ее раз, другой. Потом опять поглядел на Рэтлифа, и в лице его не было ни малейшего признака жизни, хотя бы намека на дыхание, словно все тело каким-то образом приспособилось обходиться своими внутренними запасами воздуха. - Хотите и по этому взыскать? - сказал Сноупс. Он отдал вексель Рэтлифу - Ладно, обождите здесь. - И он вышел из лавки через заднюю дверь.

"Что такое?" - подумал Рэтлиф. Он пошел следом. Приземистая, медлительная фигура, теперь ярко освещенная солнцем, шла к загородке постоялого двора. Там были ворота, Рэтлиф смотрел, как Сноупс входит в ворота и идет через двор к конюшне. И тут что-то темное захлестнуло его удушье, слабость, тошнота. "Надо было меня предупредить!- крикнул он про себя. - Хоть бы кто предупредил меня!" И сразу же, вспоминая: "Да ведь меня предупреждали: Букрайт предупреждал. Он сказал: "Тоже из ихних". А я после болезни стал туго соображать и не мог..." Он уже снова стоял перед конторкой. Ему показалось, что он слышит шорох волочащейся чурки, хотя он знал, что так скоро этого быть не может, но тут же и в самом деле услышал

шорох, и тут же вошел Сноупс, повернулся, посторонился от двери, чурка стукнула о порог, неуклюжее существо в трещащем по швам комбинезоне, с болтающейся головой заслонило дверь и вошло, а чурка гремела, скребла по полу, пока не застряла под прилавком. Трехлетний ребенок, нагнувшись, без труда вытащил бы ее, но слабоумный только стоял, без толку дергая за веревку и уже начиная хныкать, скулить, разом и обиженно, и тревожно, и испуганно, и удивленно, и тогда Сноупс ногой выбил чурку из-под прилавка. Они подошли к конторке, где стоял Рэтлиф. Болтающаяся голова, глаза, что когда-то, едва открывшись, увидели, словно страшный лик Горгоны, ту изначальную несправедливость, на которую не может смотреть человек, и в них исчезла, навеки потухла всякая мысль, слюнявый рот в дымке мягких золотистых волос. Скажи, как тебя зовут,- приказал Сноупс. Жалкое существо глядело на Рэтлифа, беспрестанно тряся головой, пуская слюни. - Скажи, - терпеливо повторил Сноупс. - Как тебя зовут.

- Айк Х'моуп, - хрипло сказал идиот.

- Ну-ка повтори.

- Айк Х'моуп.

И он засмеялся, хотя через мгновение это был уже не смех, и Рэтлиф понял, что этот звук никогда и не был смехом - этот гогот, это всхлипывание, и уже не в силах человеческих

остановить этот звук, он летит опрометью и тащит за собой дыхание, будто летящий стрелой казачий конь тащит за собой какое-то едва живое существо, а глаза над округленным ртом были недвижны и незрячи.

- Т-сс! - сказал ему Сноупс. - Тихо! - Он схватил идиота за плечо и тряс его до тех пор, пока звук, булькая и клокоча, не начал стихать. Тогда Сноупс стал подталкивать его к двери, и идиот покорно пошел, глядя через плечо назад, на чурку с двумя порожними жестянками из-под табака, которая волочилась на конце грязной веревки и чуть было снова не застряла под прилавком, но Сноупс подтолкнул ее ногой, прежде чем она успела заклиниться. Неуклюжий, голова болтается, рот разинут, уши острые, как у фавна, комбинезон, натянутый на толстенные бабьи ляжки, едва не лопается - он снова заслонил дверь и скрылся. Сноупс затворил дверь и вернулся к конторке. Он еще раз сплюнул в ящик с песком. - Это Айзек Сноупс. Я его опекун. Хотите посмотреть бумаги?

Рэтлиф не отвечал. Он глядел на вексель, который положил на конторку, когда вернулся сюда, с тем же едва уловимым, насмешливым, спокойным выражением, с каким четыре дня назад в ресторане глядел на свою чашку кофе. Он взял вексель, так и не взглянув на Сноупса.

- Стало быть, если я сам отдам ему его десять долларов, вы все равно отберете их как опекун. А если я взыщу эти десять долларов с вас, вы сможете снова продать вексель. В третий раз. Так, так. - Он вынул из кармана еще одну спичку и вместе с векселем протянул ее Сноупсу. - Говорят, вы тут как-то раз сказали, что никогда не жгли денег. Вот вам случай поглядеть, каково это.

Он смотрел, как горит второй вексель и медленно падает, догорая, в ящик с грязным песком, как обуглившаяся бумага свертывается и, наконец, рассыпается под носком ботинка.

Он сошел с крыльца на истоптанную пыль дороги, не пробыв в лавке и десяти минут. "Еще слава богу, что люди умеют быстро забывать то, что у них не хватает мужества исправить", - сказал он себе, идя вперед. Пустая дорога, как в мираже, мерцала в густо насыщенной пыльцою светотени весны. "Да, сказал он себе, - наверно, я был болен серьезнее, чем предполагал. Оттого и дал маху, да еще как. Ну, ничего, вот сейчас поем, и, может, мне полегчает".

Но когда он в одиночестве сел за стол и миссис Литтлджон поставила перед ним тарелку, он не мог есть. Ему казалось, что он голоден, но с каждым куском, тяжелым и безвкусным, как земля, аппетит пропадал. В конце концов он отодвинул тарелку и тут же на столе отсчитал пять долларов - свою прибыль: тридцать семь пятьдесят он получит за коз, долой двенадцать пятьдесят стоимость подряда, и двадцать за первый вексель. Огрызком карандаша он прикинул: проценты за три года по векселю на десять долларов да сами эти десять долларов (они были бы его комиссионными и, стало быть, в реальный убыток не входили), и прибавил к тем пяти долларам недостающие деньги истрепанные бумажки, стертое серебро, медяки, все, что у него было. Миссис Литтлджон была на кухне, она сама готовила для своих постояльцев, мыла посуду и убирала комнаты, в которых они спали. Рэтлиф положил деньги на стол возле раковины.

- Этот, как его... Айк... Айзек. Я слышал, вы его кормите... Стало быть, деньги ему ни к чему. Но, может быть...

- Хорошо, - сказала она. Она вытерла руки передником, взяла деньги, старательно завернула серебро в бумажки и теперь стояла, держа деньги в руке. Она даже не сосчитала их.

- Да, - сказал он. - Надо приниматься за дело. Кто его знает, когда я снова попаду в лапы голодному и ретивому молодцу, у которого нет другого средства заработать, кроме как резать по живому мясу.

Он пошел к двери, потом остановился, взглянув на нее искоса, через плечо, с тем же едва заметным лукавством на лице, но теперь уже с улыбкой насмешливой, язвительной.

- Я бы хотел передать несколько слов Биллу Уорнеру... Впрочем, это не так уж важно.

- Я передам, - сказала миссис Литтлджон. - Ежели это не слишком длинно, я не забуду.

- Да неважно... Разве только при случае. Тогда скажите ему: Рэтлиф, мол, говорит, что ничего еще не известно. Он поймет.

- Постараюсь не забыть, - сказала миссис Литтлджон.

Он вышел и сел в фургончик. Теперь пальто ему было уже не нужно, а в следующий раз и брать его с собой не придется. Дорога побежала под звонкими копытами маленьких кряжистых лошадок. "Я просто не сумел докопаться до самой сути, - подумал он. - Слишком рано отступил, Я докопался до того, что один Сноупс подожжет конюшню другого Сноупса, и оба об этом знают, - и не ошибся. Но на этом я и остановился. Я не сумел докопаться до того, что первый Сноупс вдруг возьмет да затопчет огонь, да еще со второго Сноупса деньги за это вытянет, причем и это они тоже знают оба".

3

Все, кто следил за действиями приказчика, увидели теперь уже не присвоение какой-то там кузницы, а настоящую узурпацию права наследования. На следующую осень приказчик не только распоряжался у весов, но, когда подошел срок сводить годовые счета между Уорнером и его арендаторами и должниками, сам Билл Уорнер при этом даже не присутствовал. Сноупс делал теперь то, что Уорнер даже родному сыну ни разу не доверил, - сидел один за конторкой над счетными книгами и наличностью, вырученной за проданный урожай, подводил счета, вычитал арендную плату и выплачивал из оставшихся денег каждому, его долю, причем двое или трое стали было оспаривать правильность его расчетов, возможно, только из принципа, как когда-то, когда он впервые переступил порог лавки, но приказчик их даже не слушал, просто сидел в своей измаранной белой рубашке и крошечном галстуке, с неизменной жвачкой во рту и мутными, неподвижными глазами, так что никогда нельзя было понять, смотрят они на тебя или нет, сидел и ждал, пока они кончат, замолчат, и тогда, не говоря ни слова, брал карандаш и бумагу и доказывал им, что они не правы. Теперь уже не Джоди Уорнер, неторопливо входя в лавку, давал приказчику распоряжения и указания, которые тот должен был исполнять; теперь уже бывший приказчик, поднимаясь на крыльцо, небрежно кивал людям на галерее, точь-в-точь как, бывало, сам Билл Уорнер, входил в лавку, и оттуда сразу же доносился его голос, деловитый и отрывистый, перекрывая раздраженный бычий рев человека, который прежде был его хозяином, и, казалось, так и не мог понять, что же все-таки произошло. Потом Сноупс уезжал и больше в этот день не показывался. У старой белой кобылы Билла Уорнера теперь появился спутник - чалый, на котором прежде ездил Джоди, Белая кобыла и чалый конь стояли бок о бок, привязанные к одной загородке, пока Уорнер и Сноупс осматривали посевы хлопка и кукурузы, или стада, или межи арендных участков; Уорнер - бодрый, неугомонный, как сверчок, хитрый и безжалостный, как сборщик налогов, праздный и хлопотливый раблезианец, и с ним тот, другой, - руки в карманах неописуемых мешковатых серых штанов, а сам жует свою неизменную жвачку и время от времени задумчиво выплевывает похожие на пули сгустки шоколадной слюны. Однажды утром он привез новехонький плетеный чемодан. Вечером того же дня он отнес этот чемодан к Уорнеру. А через месяц Уорнер купил новую легкую коляску на ярко-красных колесах, с бахромчатым верхом, и она целыми днями носилась по глухим проселочным дорогам и дорожкам - жирная белая кобыла и крупный чалый конь в новой, отделанной медью сбруе, колеса так и алеют, спиц не видно, а Уорнер и Сноупс - просто невероятно! - сидя рядом, над облаком легкой, клубящейся пыли, летят вперед в стремительном, безостановочном движении. И вот однажды, этим же летом, Рэтлиф снова подъехал к лавке и увидел на галерее лицо, которое в первый миг не узнал, так как видел его только один раз и к тому же два года назад, но только в первый миг, потому что сразу же крикнул: "А, здравствуйте! Ну, как машина, работает?" - и, сидя в фургончике с видом приветливым и совершенно непроницаемым, глядел на злобное, упрямое лицо со сросшимися бровями, припоминая: "Как же его? Такое имя, вроде собачьей клички... Ах, да - Минк".

- Здор'ово, - сказал тот. - Работает, а что? Сами же хвастались, что плохих не держите.

- Ну конечно, - сказал Рэтлиф, все такой же приветливый, непроницаемый. Он слез с козел, привязал лошадей к столбу и поднялся на галерею, где сидели четверо. - Только я бы не так сказал. Я бы сказал, что Сноупсы плохих не берут.

Тут он услышал стук копыт, обернулся и увидел коня, скакавшего во весь опор, а рядом

с ним легко и резво бежала породистая собака, а потом Хьюстон осадил коня, соскочил, еще не остановившись, бросил поводья ему на голову, как делают на Западе, поднялся на крыльцо и встал против того столба, у которого сидел на корточках Минк Сноупс.

- Я думаю, ты знаешь, где твоя корова, - сказал Хьюстон.

- Догадываюсь, - сказал Сноупс.

- Вот и хорошо, - сказал Хьюстон. Он не дрожал, не трясся от злости, но это была неподвижность динамитной шашки. Он даже голоса не повысил. - Я тебя предупредил. Ты знаешь, какой у нас здесь закон. Когда поля засеяны, скотину нужно держать на привязи, а не то будешь отвечать по суду.

- А вы бы поставили загородку, моя корова к вам бы и не забрела, сказал Сноупс.

А потом они стали осыпать друг друга ругательствами, крепкими, короткими и бесстрастными, как удары или револьверные выстрелы, не слушая друг друга, не двигаясь с места - один на крыльце, другой на корточках у столба.

- А вы из ружья попробуйте, - сказал Сноупс. - Может, так вы ее скорее прогоните.

Хьюстон вошел в лавку, а пятеро на галерее спокойно стояли или сидели на своих местах, и человек со сросшимися бровями был так же спокоен, как остальные, а потом Хьюстон вышел, ни на кого не глядя, сошел с крыльца, вскочил в седло и ускакал, сильный, неутомимый, высокомерный, и собака побежала следом за ним, а через минуту-другую Сноупс тоже встал и ушел пешком. Тогда один из оставшихся наклонился и осторожно сплюнул через перила, в пыль, а Рэтлиф сказал:

- Что-то я не совсем разобрал насчет этой загородки. Я так понял, что Сноупсова корова забрела на поле к Хьюстону.

- Правильно, - сказал тот, который только что сплюнул. - Сноупс живет на бывшей Хыостоновой земле. Теперь она принадлежит Биллу Уорнеру. Была в закладе, и Уорнер прибрал ее к рукам с год назад.

- Уорнеру Хьюстон и задолжал, - сказал другой. - И говорил он про загородку на этом участке.

- Понимаю, - сказал Рэтлиф. - Это, значит, просто так. К слову пришлось.

- Но Хьюстон не оттого распалился, что землю потерял, - сказал третий. - Просто он горячий. Его вообще распалить недолго.

- Понимаю,- сказал Рэтлиф.- Значит, вот что стало с этой землей. Вот, значит, кому дядюшка Билл отдал ее в аренду. Выходит, у Флема появились еще родичи. Но только, по-моему, этот Сноупс особой породы, все равно как гадюка - змея особой породы.

"Стало быть, он намерен еще побеспокоить братана", - подумал Рэтлиф. Но вслух он этого не сказал, только спросил, непринужденный, приветливый, непроницаемый:

- Любопытно, где теперь дядюшка Билл со своим компаньоном? Я еще не знаю их путь так хорошо, как вы, ребята.

- Нынче утром я видел двух лошадей и коляску у загородки усадьбы Старого Француза, - сказал четвертый. Он тоже наклонился и осторожно сплюнул через перила. Потом он добавил, точно припомнив какой-то пустяк: - А на стуле теперь Флем Сноупс сидит.

КНИГА ВТОРАЯ

ЮЛА

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Когда Флем Сноупс получил место приказчика в лавке ее отца, Юле Уорнер не было и тринадцати лет. Она была последним, шестнадцатым ребенком в семье, "малышкой", хотя уже на десятом году переросла мать. Теперь, в свои неполные тринадцать, она была выше многих взрослых женщин, и даже груди ее уже не были чуть заметными, твердыми, пронзительно-заостренными конусами, как у созревающего подростка или даже девушки. Напротив, всей своей внешностью она скорее напоминала о символике древних дионисийских времен - о меде в лучах солнца и о туго налитых виноградных гроздьях, о плодоносной лозе, кровоточащей густым соком под жадными и жестокими копытами козлоногих. Казалось, она была не живой

частицей окружающего мира, а как бы плавала в наполненной пустоте, и дни ее текли словно под звуконепроницаемым стеклянным колпаком, где она, уйдя в себя, с извечной мудростью, этим наследием томящейся женской плоти, прислушивалась к росту своего тела. Как и отец, она была неисправимо ленива, но в ней его вечная хлопотливая и веселая праздность явила себя подлинной силой, непоколебимой и даже жестокой. По собственной воле она вовсе не двигалась, разве только к столу и от стола, в постель и с постели. Ходить она выучилась поздно. У нее была первая и единственная детская коляска в округе, дорогая и громоздкая, величиной почти с пролетку. Она не расставалась с коляской еще долго после того, как выросла и уже не могла вытянуть в ней ноги. Когда она стала такой большой и тяжелой, что только взрослый мужчина мог вынуть ее из коляски, ее выдворили оттуда силой. С тех пор она перебралась на стулья. Она вовсе не требовала, чтобы ее несли, если нужно было куда-нибудь идти. Просто похоже было, что с младых ногтей она уже твердо знала, что ей никуда не хочется, что нет ничего нового или невиданного в конце любого пути и все места, везде и всюду, одинаковы. Так продолжалось до пяти или шести лет, а потом ей пришлось как-то передвигаться, потому что мать, уходя, не хотела оставлять ее дома, и ее носил на руках слуга-негр. Их часто видели втроем на дороге: миссис Уорнер была в праздничном платье с шалью на плечах, а за ней негр тащил крупного, длинноногого ребенка (сразу было видно, что это девочка), слегка пошатываясь под своей ношей, - этакое похищение сабинянки, только под конвоем дуэньи.

Как водится, у нее были куклы. Она рассаживала их по стульям вокруг себя, и они сидели, неподвижные, как она, тоже без признаков жизни. Потом отец велел своему кузнецу сделать ей игрушечную коляску, наподобие той, в которой она провела свои первые три года. Коляска вышла грубая и тяжелая, но это была единственная игрушечная коляска, какую в этих краях когда-либо видели или хотя бы представляли себе понаслышке. Она складывала туда всех кукол и сидела рядом на стуле. Сначала думали, что это умственная отсталость, что она просто не переступила еще ту почти осязаемую грань, за которой девочка, играя, становится маленькой женщиной, но вскоре стало ясно, откуда это безразличие, - ведь, чтобы двигать коляску, ей пришлось бы двигаться самой.

Так она росла до восьми лет, всегда на стульях, пересаживаясь с одного на другой, и то лишь поневоле, когда в доме шла уборка или нужно было поесть. По настоянию жены, Уорнер продолжал заказывать кузнецу игрушечные подобия всяких домашних вещей - маленькие метлы и швабры, маленькую настоящую плиту, - надеясь, что забава, игра приучит ее к делу, но все это порознь и вместе производило на нее не большее впечатление, чем на старого пьяницу рюмка холодного чаю. У нее не было товарищей в играх, не было закадычной подруги. Они ей были не нужны. Никогда и ни с кем не связывала ее та пылкая, иной раз быстротечная дружба, когда две девочки объединяются в тайном воинственном заговоре против своих сверстников-мальчишек и против всех взрослых. Она бездействовала. С таким же успехом она могла бы оставаться в утробе матери. Она словно бы родилась лишь наполовину, разум и тело либо каким-то образом совершенно отделились друг от друга, либо безнадежно спутались, перемешались; словно на свет появилось лишь что-то одно или же одно появилось не вместе с другим, но в его лоне.

- Может, она вырастет сорванцом, мальчишкой в юбке? - сказал однажды отец.

- Это когда же? - сказал Джоди, вспыхивая, распаляясь в порыве ожесточения. - Покуда она раскачается, все дубы, которые взойдут из желудей за ближайшие пятьдесят лет, успеют вырасти, засохнуть и сгореть в печке, прежде чем она соберется залезть на который-нибудь из них.

Когда Юле исполнилось восемь лет, брат решил, что пора ей начинать учиться. Отец с матерью давно уже рассудили, что когда-нибудь начать все равно придется, вероятно, главным образом потому, что Билл Уорнер, который официально числился попечителем, был главной опорой школы и вершителем ее судьбы. Все родители видели в ней одно из деловых предприятий Уорнера, и в конце концов Уорнеру пришлось потребовать, чтобы его дочь ходила в школу хотя бы какое-то время, точно так же, как он требовал со своих должников

уплаты процентов сполна. Миссис Уорнер не особенно заботило, пойдет ее дочь в школу или нет. Она была одной из лучших домашних хозяек в округе и без устали занималась своим делом. Она испытывала поистине физическое наслаждение, ничего общего не имеющее с простым удовлетворением, доставляемым экономией и благополучием, перебирая выглаженные простыни или оглядывая уставленные банками полки, набитые картофелем погреба и увешанные гирляндами окороков стропила коптильни. Сама она ничего не читала, хотя в ту пору, когда выходила замуж, была грамотна. Ей не часто случалось этим воспользоваться, за последние сорок лет она и книгу в руках держать разучилась, предпочитая обращаться непосредственно к самой жизни, обо всем, будь то правда или выдумка, судачить и все обращать в назидание. Так что никакой нужды в грамоте она для женщины не видела. Она была убеждена, что сведения, сколько и чего класть в то или иное блюдо, черпают не из книг, а из кастрюли, с помощью ложки, и что хозяйка, которая только в школе узнает, сколько денег у нее осталось, если из того, что было, вычесть то, что истрачено, никогда не будет настоящей хозяйкой.

Только брат, Джоди, выступил на восьмое лето ее жизни пламенным поборником образования и через три месяца горько об этом пожалел. Но пожалел он не о том, что сам настоял, чтобы она пошла учиться. Он жалел, что всегда был и будет уверен в необходимости того, за что ему теперь приходилось платить такой дорогой ценой. Потому что Юла отказалась ходить в школу пешком. Посещать школу, присутствовать на занятиях она не отказывалась, она только не желала туда ходить. А школа была недалеко, меньше чем в полумиле от дома. Но все пять лет своей учебы - а если подсчитать в часах, сколько она там усвоила, это время пришлось бы мерить не годами и даже не месяцами, а днями - она ездила туда и обратно. Другие дети, жившие в три, в четыре, в пять раз дальше, ходили пешком во всякую погоду, а она ездила. Она просто отказывалась ходить, спокойно и решительно. Она не плакала и даже не упрямилась, не говоря уже о физическом сопротивлении. Она просто сидела, не шевелясь и, очевидно, ни о чем не думая, но источая яростное и неуязвимое упорство, точно кровная, норовистая кобылка, которая пока еще молода, но через год-другой ей цены не будет, а потому хозяин, как она ни бесит его, как ни изводит, все же не решается отстегать ее кнутом. Отец тотчас, как и следовало ожидать, умыл руки.

- Пускай ее сидит дома, - сказал он. - Здесь она, правда, тоже палец о палец не ударит, но, может, хоть чему-нибудь по хозяйству выучится, когда будет таскаться от стула к стулу, чтобы не путаться под ногами. Нам только бы уберечь ее от беды, покуда она вырастет и сможет спать с мужчиной, так, чтобы оба мы, он и я, не угодили за решетку. Тогда ты выдашь ее замуж. Глядишь, еще такого жениха ей найдем, что и Джоди избавит от богадельни. Мы отдадим им дом, и лавку, и все добро, а сами поедем с тобой на ту ярмарку в Сент-Луисе, куда, говорят, со всего света съезжаются, и ежели нам понравится, ей-богу, купим там палатку да заживем себе помаленьку.

Но брат настаивал, чтобы она училась. А она все отказывалась ходить в школу, все сидела сиднем, женственная, мягкая и недвижная, ни о чем не думая и, видимо, даже ничего не слыша, а битва между матерью и братом бушевала над ее безмятежной головой. В конце концов негр, который прежде носил ее на руках следом за матерью, когда та ходила по гостям, стал запрягать семейную коляску и отвозить Юлу за полмили в школу, а в полдень и в три часа, когда детей распускали по домам, ждал ее около школы. Так продолжалось недели две. Потом миссис Уорнер положила этой затее конец, усмотрев в ней прямую бесхозяйственность, - все равно что ставить на огонь четырехведерный котел, чтобы сварить тарелку супа. Она предъявила ультиматум: если Джоди хочет, чтобы сестра училась, пусть сам позаботится о том, как доставлять ее в школу. Она сказала, что раз уж Джоди все равно что ни день, ездит верхом в лавку и из лавки, пускай возит Юлу на лошади, позади себя, а она все сидела, ни о чем не думая, ничего не слыша, и Джоди рвал и метал, но все без толку, а потом сидела по утрам на крыльце, держа дешевый клеенчатый ранец, который ей купили, и дожидаясь, пока подъедет брат и угрюмо заворчит, приказывая ей залезть на лошадь позади себя.

Он отвозил ее в школу, привозил в полдень назад, потом снова отвозил и ждал ее после

конца уроков. Так продолжалось почти месяц. Потом Джоди решил, что она как-нибудь пройдет две сотни ярдов от школы до лавки и будет ждать его там. К его удивлению, она согласилась беспрекословно. Так продолжалось ровно два дня. На исходе второго дня брат примчался с ней домой, ворвался в прихожую и, остановившись перед матерью, закричал, трясясь от злости и негодования:

- Понятное дело, почему она так сразу согласилась встречать меня у лавки! Если бы вдоль дороги, через каждую сотню футов, расставить мужиков, она ходила бы пешком, как миленькая! Как собачонка, ей-богу!

Только увидит брюки, так от нее сразу какой-то дух идет! За десять футов слышно!

- Вздор, - сказала миссис Уорнер. - И вообще отвяжись от меня. Ведь это ты настоял, чтобы она училась. Ты, а не я. Я уже вырастила восемь дочерей и всегда считала, что они воспитаны не хуже, чем у людей. Но будь по-твоему, может, и впрямь двадцатисемилетний холостяк понимает в этих делах больше, чем я. Можешь хоть завтра забрать ее из школы, мы с отцом возражать не станем. Ты принес мне корицу?

- Нет, - сказал Джоди. - Позабыл.

- Постарайся не забыть вечером. Мне очень нужно.

Так что больше она у лавки не ждала. Брат поджидал ее у школы. Прошло почти пять лет с тех пор, как эта картина стала привычной для всех в деревне, - чалая лошадь под разъяренным, кипящим злобой мужчиной и девочкой, у которой даже в девять, в десять, в одиннадцать лет все было слишком развито - ноги, грудь, бедра; слишком развита была вся эта первородная женская плоть, которая, в сочетании с дешевым клеенчатым ранцем, какие носят приготовишки, казалась парадоксом, издевательством над самой сутью учения. Даже сидя на лошади, за спиной у брата, та, что обитала в этой плоти, вела, казалось, две различные обособленные жизни - как грудной младенец. Была одна Юла Уорнер, которая снабжала кровью и питала эти ноги, бедра, груди, и была другая, которая только обитала в них, шла туда, куда и они, потому что это было наименее хлопотно, прекрасно себя чувствуя в них, но не желая участвовать в их действиях, - так чувствуешь себя в меблированных комнатах, обставленных чужими руками, но удобных и оплаченных вперед. В первое утро Уорнер погнал лошадь рысью, чтобы поскорее добраться до школы, но почти сразу же почувствовал, как все это тело, которое и на стуле, в неподвижности, утверждало свое непреоборимое отвращение к прямым линиям, колышется у него за спиной, мягкое и округлое. И тут ему представилось, будто позади него катится сверкающий, игристый, млечный шар, катится куда-то вдаль, не только за черту горизонта, но, словно солнце, по всему свету, И он стал ездить шагом. Он не мог иначе, а сестра одной рукой цеплялась за его подтяжки или сюртук, а в другой держала ранец с книгами, и они ехали мимо лавки, где, как обычно, все были в сборе, мимо веранды миссис Литтлджон, где обыкновенно сидел странствующий торговец или барышник, - и Уорнер теперь был уверен, твердо убежден, что знает, зачем эти люди здесь, зачем приехали за двадцать миль из Джефферсона, а потом он подъезжал к школе, где остальные дети, в комбинезонах, грубых коленкоровых куртках и в стоптанных отцовских башмаках, а то и вовсе босиком, уже толпились во дворе, пройдя пешком втрое, вчетверо, впятеро больше. Она сползала с лошади, а брат не трогался с места и, кипя злобой, глядел ей вслед и видел, что она уже совсем как женщина покачивает на ходу бедрами, и в бессильном бешенстве размышлял, не лучше ли сразу вызвать учителя и объясниться с ним - предупредить, припугнуть, даже пустить в ход кулаки или же ждать, пока случится то, что по его, Уорнера, убеждению неизбежно должно случиться. Они снова ехали туда в час дня и обратно - в двенадцать и в три, и тогда Уорнер проезжал на сто ярдов дальше по дороге, к рощице, где лежало сваленное дерево. Негр-работник свалил его ночью, а Уорнер светил ему с лошади фонарем. Он подъезжал к этому дереву и злобно рычал, когда она в третий раз залезала со ствола на лошадь: - Черт бы тебя взял, ты что, не можешь иначе, лезешь так, будто лошадь высотой в двадцать футов! Он даже решил однажды, чтоб она больше не ездила по-мужски. Так продолжалось всего один день, пока он случайно не обернулся и не увидел невообразимо округлый изгиб длинной ноги, и голое бедро между чулком и подолом,

казавшееся таким же безмерно обнаженным, как купол обсерватории. И он еще пуще злился оттого, что понимал - она не нарочно так выставляется. Он знал, что ей просто-напросто безразлично, она даже не знает об этом, а если бы и знала, так не дала бы себе труда прикрыться. Он знал, он представлял себе и это, что и на лошади она сидит точно так же, как дома на стуле, и так же, как всякий день в школе, и порой, в своей яростной беспомощности, недоумевал, как это в ее теле, которое с каждым днем становится все тяжелее, в простом движении, в ходьбе ощущается эта пышная, сводящая с ума, почти текучая мягкость; и даже когда она сидит, даже когда едет на лошади, погрузившись в себя, мечтая о чем-то далеком от всякой чувственности, она источает, обнаруживает эту невероятную способность жить, существовать вне одежды, которая на ней, и она не только не может с этим ничего поделать, но ей просто-напросто все равно.

Она училась в школе с восьми лет и почти до кануна рождества в тот год, когда ей исполнилось четырнадцать. Без сомнения, она закончила бы и этот учебный год и, весьма вероятно, еще один или два, так ничему и не научившись, но в январе школа закрылась. Закрылась потому, что пропал учитель. Он исчез ночью, не сказав никому ни слова, не получив жалования за полугодие, не забрав своих скудных, как у монаха, пожитков из холодной комнаты в пристройке, которую он снимал в течение шести лет.

Его фамилия была Лэбоув. Он был родом из соседнего округа, где на него, по чистой случайности, натолкнулся сам Билл Уорнер. В ту пору должность учителя занимал один старик, горький пьяница, чью приверженность к рюмке лишь усугубляло непослушание учеников. Девочки не уважали ни его взгляды и познания, ни его педагогические таланты; мальчики не уважали его потому, что он не мог их не только ничему научить, но хотя бы заставить слушаться и вести себя прилично или просто быть вежливыми с учителем, и ученики не только перестали ему подчиняться, но превратили школу в какой-то домашний цирк, где мучили и травили старого, беззубого медведя.

Так что все, в том числе и сам учитель, понимали, что в следующем году его здесь уже не будет. Но люди не особенно беспокоились, будут ли вообще занятия в следующем году или нет. Школа у них была. Они сами ее выстроили, сами платили учителю и посылали детей учиться лишь тогда, когда для них не было никакой работы, иными словами после сбора урожая до сева, с середины октября до конца марта. Никто и не думал о том, чтобы найти нового учителя, пока однажды летом Уорнера, который поехал по делам в соседний округ и замешкался там дотемна, не пригласили переночевать на захудалой ферме среди холмов в холодном и неуютном домишке с полом из горбыля. Войдя в дом, он увидел дряхлую старуху, которая сидела у остывшего очага и сосала грязную глиняную трубочку, а на ногах у нее были здоровенные мужские башмаки, не совсем обычные и даже несколько причудливые с виду. Но Уорнер не обратил на это внимания, пока не услышал за спиной стук и шарканье, и, обернувшись, не увидел девочку лет десяти в драном, но чистеньком клетчатом платьице и башмаках, точь-в-точь таких же, как на старухе, разве только чуть побольше. Прежде чем уехать на другое утро, Уорнер успел заметить еще три пары таких же башмаков и убедился, что ничего подобного он никогда не видел. Хозяин объяснил ему, что это такое.

- Как? - сказал Уорнер. - Футбольные бутсы?

- Есть такая игра, - сказал Лэбоув. - В нее играют в университете.

И он стал рассказывать. Это все старший сын. Его сейчас нет дома, он на лесопилке, зарабатывает деньги, чтобы вернуться в свой университет, он уже проучился там один летний семестр и половину зимнего семестра. Тогда-то как раз в университете и играли в эту игру, для которой нужны такие башмаки. Сын хотел выучиться на школьного учителя, так он, по крайней мере, говорил, когда в первый раз уехал в университет. То есть он хотел учиться в университете, а отец не видел в этом никакого толку. Ферма не заложена и рано или поздно достанется сыну, она всегда их кормила. Но сын стоял на своем. Он работал на лесопилках и говорил, что скопит достаточно, чтобы закончить летнее отделение и выучиться хотя бы на учителя, - на летнем отделении ничему другому не учат. Он даже поспеет еще домой к концу лета, чтобы помочь управиться с урожаем. И вот, стало быть, зарабатывает он деньги. "Работа

потруднее, чем на ферме, - сказал Лэбоув-старший. - Но ему пошел уже двадцать первый год. Тут уж ничего не поделаешь, разве я мог ему помешать", - и записывается на летнее отделение, всего на восемь недель, и, значит, мог бы вернуться в августе, но не вернулся. Настал сентябрь, а его все не было. Они даже не знали толком, где он, хоть и не очень волновались, а больше досадовали и даже обижались, что он бросил их в самую страду, когда надо убирать урожай, возить хлопок на очистку и ссыпать кукурузу в закрома. В середине сентября пришло письмо. Он решил остаться в университете до самой зимы. Получил там работу, с урожаем пусть управляются без него. Что это за работа, он не писал, и отец решил, что он опять пристроился на лесопилке, потому что в представлении старого Лэбоува ни одно доходное занятие не могло быть связано с ученьем, и снова от него не было никаких вестей до октября, когда прибыла первая посылка с двумя парами этих чудных башмаков на шипах. Третья пара пришла в начале ноября. Последние две - сразу после Дня благодарения, всего, стало быть, пять пар, хотя в семье их семеро. Вот они и таскают их все скопом, без разбору, как зонтики, если только находится свободная пара. На всех четыре пары, пояснил Лэбоув. Потому что старуха (это была бабушка старшего Лэбоува) как вцепилась в первую пару, едва только ее вынули из ящика, так и не отдает никому. Видать, ей нравится, как шипы стучат по полу, когда она раскачивается в качалке. Но все-таки осталось еще четыре пары. Так что дети стали бегать в школу обутые, а когда вернутся домой, разуваются, чтобы дать и другим попользоваться. В январе сын приехал. Он им рассказал про эту игру. Он играл в нее всю осень. Ему разрешили остаться в университете на весь осенний семестр за то, что он играл. Ботинки выдавали бесплатно, чтоб в них играть.

- Как же он сумел получить сразу шесть пар? - спросил Уорнер.

Этого Лэбоув не знал.

- Может, их там было тогда без счету, - сказал он.

А еще сыну дали в университете свитер, отличный, толстый, теплый свитер, темно-синий, с большой красной буквой "М" на груди. Его тоже забрала прабабка, хоть он и был на нее велик. Она надевала его по воскресеньям, зимой и летом, и в погожие дни, усевшись рядом с внуком на козлы фургона, катила в церковь, и алый знак доблести и отваги пылал на солнце, а в непогоду, смирный, но все же алый и нарядный, змеился по высохшей груди и животу старухи, которая сидела на своем стуле, раскачиваясь и посасывая потухшую трубочку.

- Вот, значит, где он теперь, - сказал Уорнер. - В футбол играет.

Нет, объяснил ему Лэбоув. Теперь он на лесопилке. Он сосчитал, что ежели пропустить нынешний летний семестр и проработать это время, он сколотит довольно денег и сможет остаться в университете, пусть даже его перестанут держать ради этого самого футбола, и тогда он пройдет полный курс, вместо летнего отделения, где учат только на школьного учителя.

- А я думал, он и хочет быть учителем, - сказал Уорнер.

- Нет, - сказал Лэбоув. - Просто он ничему другому не мог выучиться на летнем отделении. Вам, наверно, смешно будет слышать это. Он говорит, что хочет быть губернатором.

- Вот оно что, - сказал Уорнер,

- Наверно, вам смешно?

- Нет, - сказал Уорнер. - Не смешно. Губернатором. Так, так. Когда свидетесь с ним снова, скажите ему, ежели он согласится обождать с губернаторством год-другой и пока поучительствовать, пусть приедет в Балку и заглянет ко мне.

Это было в июле. Возможно, Уорнер и не ждал, что Лэбоув в самом деле к нему приедет. Но искать нового учителя он перестал, хотя забыть об этом никак не мог. Не говоря уж об его обязанностях попечителя, у него самого был ребенок, которому предстояло на будущий год или, в крайнем случае, через год пойти учиться. Однажды, в начале сентября, он лежал, разувшись, у себя на дворе в гамаке из бочарной клепки, подвешенном меж двумя деревьями, и вдруг увидел, что через двор к нему идет человек, которого он никогда прежде не видел, но сразу узнал, человек, скорее отощавший, чем худощавый, с прямыми черными волосами,

жесткими, как конский хвост, с высокими индейскими скулами, бесцветными, спокойными, строгими глазами, с длинным носом приметой мысли, но с чуть раздутыми ноздрями - приметой гордыни и тонкими губами - приметой тайного и неодолимого честолюбия. Это было лицо оратора, лицо человека, исполненного непоколебимой веры в силу слова, как в некий принцип, ради которого стоит умереть, если потребуется. Тысячу лет назад это было бы лицо монаха, воинствующего фанатика, который с нелицемерною радостью, непреклонно поворачивался спиной ко всему земному и уходил в пустынь и проводил там остаток дней и ночей своих в мире, ни на миг не поддаваясь соблазнам, не ради спасения человечества, до которого ему не было никакого дела, чьи страдания не вызывали в нем ничего, кроме презрения, но по собственному влечению, врожденному, неутолимому и неистовому.

- Я пришел сказать, что не могу работать у вас в школе в этом году, сказал он. - Времени нет. Я теперь так устроился, что могу остаться в университете на целый год.

Уорнер не встал со своего гамака.

- Это же только на год. А как в будущем году?

- Я на лесопилке тоже договорился. Вернусь туда на будущее лето. Или подыщу еще что-нибудь.

- Так, - сказал Уорнер. - Я тут и сам кой-чего надумал. Школу у нас до первого ноября открывать ни к чему. До этого времени вы можете оставаться в Оксфорде и играть в эту свою игру. А потом приедете, откроете школу и начнете занятия. Можете привезти сюда из университета книги, чтоб не отставать от своего курса, а в тот день, когда вам играть, езжайте в Оксфорд и играйте, и пусть они там решают, не отстаете ли вы и выучились ли чему по своим книжкам, и что там им еще нужно будет узнать. А потом вернетесь в школу; если задержитесь на день-другой, тоже не беда. Я дам вам лошадь, которая довезет вас за восемь часов. Отсюда до Оксфорда каких-нибудь сорок миль. А в январе, когда начнутся экзамены, мне ваш папаша об этом говорил, вы можете прервать занятия, поехать в свой университет и сидеть там до тех пор, покуда совсем не разделаетесь. А в марте можете вообще закрыть школу и ехать туда хоть до самого конца октября. Ежели только захотеть, ведь это плевое дело - не отстать от своего курса, когда живешь всего в сорока милях от университета. Так как же?

Уорнер знал, что Лэбоув вот уже несколько мгновений на него не смотрит, хотя тот не пошевельнулся и глаза его были по-прежнему открыты. Лэбоув стоял, не двигаясь, в безукоризненно чистой рубашке, застиранной до того, что она стала тонкой, как москитная сетка, в пиджаке и брюках, тоже безупречно чистых, но разного цвета, и к тому же пиджак был немного тесен, и Уорнер понимал, что это единственные его брюки и пиджак, да и тех у него не было бы, если бы он не дошел своим умом или ему не дали бы понять, что нельзя ходить на лекции в комбинезоне. Он стоял, и не надежда просыпалась в нем, не робкая радость, а всепожирающая ярость, и его тощее тело было словно бы неподвластно никакому внешнему воздействию, иссушенное и опаленное изнутри, как раскаленный горн.

- Ладно, - сказал он. - Буду к первому ноября.

Он повернулся было, чтобы уйти.

- А вы не хотите узнать, сколько вам будут платить?

- Хочу, - сказал Лэбоув, останавливаясь.

Уорнер сказал. Он не шевельнулся в своем гамаке, лежал, скрестив ноги в носках домашней вязки.

- Ну, а эта игра, - сказал он. - Нравится она вам?

- Нет, - сказал Лэбоув.

- Я слыхал, она немногим отличается от обыкновенной драки.

- Да, - так же односложно сказал Лэбоув и замолчал, вежливо и выжидающе глядя на худощавого хитрого старика, который, разувшись, валялся в гамаке, праздный до глубины души, и, казалось, успел уже и его заклеймить этим проклятием, этим неколебимым своим убеждением в том, что спешить некуда, что ни минута, ни час не имеют никакой цены, заклеймил и держит его здесь, заставляет попусту терять время, думать о том, чего он никогда никому не рассказывал и рассказывать не собирался, потому что теперь ему это было

безразлично. Это началось год назад, перед самым концом летнего семестра. Он хотел вернуться домой, как и обещал отцу, чтобы помочь с уборкой. Но как раз в самом конце семестра он нашел работу. Собственно говоря, она сама свалилась ему в руки. До сбора и очистки хлопка оставалось еще две, а то и три недели, он жил на квартире, где за небольшую плату мог остаться до середины сентября. Так что из заработка можно было не тратить почти ничего. Он согласился. Нужно было разровнять и утрамбовать площадку под футбольное поле. Он тогда еще не знал, что такое футбольное поле, да и не хотел знать. Для него это была просто возможность каждый день заработать сколько-нибудь денег, и он даже не переставал копать, когда время от времени с холодной насмешкой задумывался о том, что это за игра такая, если приготовить для нее землю куда дороже и хлопотней, чем этот же самый участок возделать для посева; право же, чтобы оправдать все эти затраты денег и времени, фермер должен был бы вырастить на нем по меньшей мере золото. Поэтому он не испытывал любопытства, а лишь все то же насмешливое неодобрение, когда в сентябре, на не законченное еще поле выбежали игроки и он увидел, что юноши даже не играют, а только тренируются. Он наблюдал за ними. Вероятно, он глядел на них пристальнее или, во всяком случае, чаще, чем сам замечал это за собой, и на лице у него, в глазах, мелькало что-то такое, о чем он тоже не подозревал, потому что как-то раз один из них (Лэбоув уже сообразил, что их обучает платный тренер) сказал ему:

- Думаешь, ты мог бы сыграть лучше, а? Ну-ка, пойди сюда.

А вечером, в сухих и пыльных сентябрьских сумерках, он сидел на крыльце дома, где жил тренер, и спокойно, терпеливо твердил одно: "нет" и "нет".

- Не стану я залезать в долги ради какой-то игры, - сказал он.

- Да тебе и не придется, чудак ты этакий, - сказал тренер. - Учить тебя будут бесплатно. Спать можешь у меня наверху, будешь задавать корм скотине, доить корову, топить печку, а я буду тебя кормить. Понимаешь? - На лице у него ничего нельзя было прочесть, потому что уже стемнело и лица не было видно, и голос, Лэбоув был в этом уверен, тоже не мог его выдать. И все же тренер сказал: - Понятно. Ты не веришь.

- Да, - сказал он. - Не верю. Кто мне все это даст только за то, чтоб я играл!

- А вот попробуй, тогда сам увидишь. Ты согласен остаться здесь играть, пока у тебя денег не требуют?

- А ежели потребуют, смогу я уйти?

- Да, - сказал тренер. - Даю тебе слово.

И вот, в тот же вечер, он написал отцу, что не приедет помогать с уборкой, а если им понадобятся вместо него рабочие руки, он пришлет денег. Ему выдали форму, и на другой день, как и накануне, когда он был еще в своем рабочем комбинезоне, он толкнул одного из игроков так, что тот долго не мог встать, и ему стали объяснять, что есть определенные правила, когда можно бить и когда нельзя, а он терпеливо пытался постигнуть, уразуметь, в чем тут разница: "Но как же я доведу мяч вон до той линии, ежели дам себя поймать и свалить с ног?"

Ничего этого он не рассказал. Он просто стоял перед гамаком в чистых брюках и пиджаке не под пару, спокойный и сдержанный, тихо и односложно отвечая на вопросы Уорнера "да" или "нет", меж тем как все это мелькало, безлико, быстро и плавно проносилось в его памяти, - минувшее, былое, пройденное и незначащее, как и сама осень, далекая и пролетевшая словно сон. Он вставал в четыре утра у себя на холодном чердаке, топил печи в домах пяти преподавателей и шел обратно, чтобы задать корму скотине и подоить корову. Потом лекции, ученая премудрость, исторгнутая из всех глубин, куда только проникала человеческая мысль, ею дышали увитые плющом стены и строгие, как монашеские кельи, аудитории, она была беспредельна, хватило бы только сил и жажды знания; а потом тренировки (скоро ему разрешили ходить через день, и в свободное время он сгребал палые листья на пяти дворах), заготовка угля и дров для завтрашней топки. Потом он снова доил корову и, наконец, в пальто, которое подарил ему тренер, садился за книги у лампы в своей холодной каморке, пока не засыпал над недочитанной страницей. Так проходило пять дней, а потом, в субботу, - вершина, взлет, и он гнал этот ничтожный, презренный кожаный шарик

через мелькающие, бессмысленные белые линии. И все же в эти секунды, вопреки своему презрению, своему закоренелому скептицизму, своему суровому спартанскому наследию, он жил, вольно, неистово, пружинящая под йогами земля, удары, тяжелое дыхание, жадно протянутые руки, быстрота, захлебывающийся рев переполненных трибун, но и тогда выражение насмешливого недоверия не сходило с его лица. И потом эти ботинки. Уорнер глядел на него, подложив руки под голову.

- И потом эти ботинки, - сказал Уорнер.

"Да ведь я никогда всерьез не верил, что это протянется до следующей субботы", - мог бы ответить Лэбоув. Но не ответил, просто стоял, опустив руки и глядя на Уорнера.

- Их там, наверно, не считали, - сказал Уорнер.

- Оптом закупали. Всех размеров.

- Вот как, - сказал Уорнер. - Наверно, надо было только сказать, что старая пара тебе не совсем по ноге или что ты ее потерял.

Лэбоув не опустил глаз. Он стоял, спокойно глядя в лицо человеку в гамаке.

- Я знал, какая им цена. Выспросил у тренера, почем пара. Сколько за нее платит университет. И какая цена выигрышу, победе, значит.

- Понятно. Вы брали новую пару, только когда выигрывали. Домой вы прислали пять пар. Сколько же всего было игр?

- Семь, - сказал Лэбоув. - Одна вничью.

- Понятно, - сказал Уорнер. - Ну, ладно, вам ведь надо попасть домой засветло. Так я приготовлю вам лошадь к ноябрю.

Лэбоув открыл школу в последнюю неделю октября. В эту же неделю он кулаками подавил непокорство, которое оставил ему в наследие прежний учитель. В пятницу вечером на лошади Уорнера он проехал около сорока миль до Оксфорда, побывал утром на лекциях, потом играл в футбол, в воскресенье проспал до полудня, а в полночь уже лежал во Французовой Балке на своем соломенном тюфяке в нетопленной каморке. Он жил у одной вдовы, неподалеку от школы. Все его имущество состояло из бритвы, брюк и пиджака не под пару, двух рубашек, пальто, подаренного тренером, книг Коука и Блэкстоуна* {Эдвард Коук (1552-1634) и Уильям Блэкстоун (1723- 1780) - английские юристы, авторы книг о британском законодательстве}, комплекта сенатских отчетов штата Миссисипи, томиков Горация и Фукидида в оригинале, подаренных ему на рождество преподавателем древних языков, в чьем доме он топил по утрам печи, и самой яркой лампы, какую когда-либо здесь видели. Лампа была никелированная, с вентилями, клапанами и регулятором; она красовалась на его дощатом столе и, наверное, стоила больше, чем все остальное его имущество, вместе взятое, и люди приходили по вечерам издалека, поглядеть на ее ослепительное и ровное сияние.

К концу недели его уже знали все - алчный рот, нестерпимо мрачные глаза, упрямое, злое, выбритое до синевы лицо, словно фотомонтаж, на котором слились черты Вольтера и пирата елизаветинских времен. Его называли "профессором", так же как его предшественника, хотя он выглядел нисколько не старше своих двадцати одного года и хотя вся школа помещалась в одной-единственной комнате, где были смешаны в полнейшем беспорядке ученики от шестилетних малышей до девятнадцатилетних юношей, которых он должен был встречать кулаками, дабы не уронить свое профессорское звание, и классы от младшего, зубрившего азбуку, до старшего, осваивавшего начатки простых дробей. Он учил их всему. Как купец носит ключ от своей лавки, так он носил в кармане ключ от школы. Каждое утро он отпирал ее и подметал пол, делил мальчиков по возрасту и росту на две команды - водоносов и дровосеков, и внушениями, угрозами, насмешками и силой заставлял их работать, иногда помогая им, - не для того, чтобы подать пример, а с чувством какого-то презрительного и непроизвольного физического удовольствия, чтобы дать выход избытку сил. Он без пощады оставлял старших мальчиков после уроков, загораживал собой дверь, запирал ее на засов и тумаками гнал их от открытых окон. Он заставлял их лезть вместе с ним па крышу, менять дранку и делать всякую другую работу, о чем прежде приходилось заботиться Уорнеру, как попечителю, после того как учитель, бывало, прожужжит ему все уши своими жалобами. По

вечерам прохожие видели ослепительное ровное сияние патентованной лампы в окне его каморки, а он сидел за книгами, которые он любил совсем не так горячо, как воображал, но был вынужден читать их, постигать, высасывать и выжимать до последней капли, с тем же презрительным упорством, с каким он рубил дрова, отмеряя прочитанные страницы чередою секунд безвозвратно уходящего времени, которое ползет медленно, но неуклонно, как гусеница.

Каждую пятницу на исходе дня он шел в загон Уорнера, садился на жилистую, крепкую, узкоголовую лошадь и ехал туда, где на завтра была назначена игра, или на железнодорожную станцию, чтобы сесть в поезд, порой едва поспевая натянуть форму перед самым свистком судьи. Но в понедельник утром он неизменно был снова в школе, хотя в иных случаях от четверга до понедельника спал только одну ночь - субботнюю. После игры между колледжами двух штатов в День благодарения мемфисская газета поместила его портрет. Он был в своей футбольной форме, и потому на Французовой Балке нашли бы, вероятно, что портрет не похож. Но имя значилось его, и его бы, надо думать, узнали, только газету он с собой не привез. Они понятия не имели, чем он занимается по субботам и воскресеньям, было известно лишь, что у него какие-то дела в университете. Впрочем, их это и не занимало. Они его признали, но хотя, став учителем, он сподобился некоего отличия, это могло считаться отличием только среди женщин и ценилось только в женском мире, все равно как духовный сан. Ему не возбранялось прикладываться к бутылке, но пить с ним они не стали бы, и хотя при нем они не были так сдержанны на язык, как при настоящем священнике, но если бы и он вздумал что-нибудь себе позволить, то в следующем полугодии мог бы лишиться места, и он это понимал. Он принимал эти взаимоотношения такими, как они складывались, и даже сам старался поддержать свою репутацию все с той же угрюмой сосредоточенностью, в которой были и гордость и вызов, но в общем серьезно и спокойно.

Во время экзаменов в университете его не было целую неделю. Вернувшись, он убедил Уорнера устроить баскетбольную площадку. Большую часть работы он сделал сам со старшими мальчиками и научил их играть, К концу следующего года команда Французовой Балки уже победила всех противников, с которыми ей удалось встретиться, а еще через год, играя в команде сам, Лэбоув повез своих ребят в Сент-Луис, где они, в комбинезонах и босиком, взяли первенство долины Миссисипи, обыграв всех претендентов.

Вернувшись па Фрапцузову Балку, он закончил курс. За три года он получил степень магистра искусства и бакалавра прав. Теперь он уезжал, видимо, навсегда - вместе со своими книгами, и замечательной лампой, и бритвой, и дешевой репродукцией Альмы Тадемы, которую тоже подарил ему преподаватель древних языков на рождество, - обратно в университет, к занятиям сразу на двух факультетах с утра и до самого вечера. Теперь ему приходилось читать в очках, и он болезненно щурился на свету, переходя из аудитории в аудиторию в своем единственном костюме - брюках и пиджаке не под пару, пробираясь сквозь толчею смеющихся юношей и девушек в такой одежде, какой он никогда раньше не видал, а они глядели даже не сквозь него, а мимо, просто его не замечали, точно так же, как не замечали уличных фонарей, которые он, Лэбоув, увидел впервые здесь же два года назад. Он шел с тем же выражением, какое было на его лице, когда он летел по четко расчерченному белыми линиями футбольному полю, смотрел на девушек, которые, вероятно, приехали сюда, чтобы выскочить замуж, и на юношей, которые приехали сюда неизвестно зачем.

И вот наконец, стоя рядом с другими во взятой напрокат мантии и шапочке, он получил туго свернутый пергаментный свиток, маленький, не больше свернутого в трубку табель-календаря и, подобно календарю, заключавший в себе эти три года - четкие белые линии, ночи в седле на неутомимой лошади и другие ночи, когда он сидел в пальто, согреваясь только теплом лампы, над бесконечными страницами мертвого пустословия. Через два дня он стоял вместе со своими однокурсниками перед коллегией судей в Оксфордском суде и был допущен к адвокатской практике. Теперь все было позади. Всю ночь он провел в ресторане при гостинице, за шумным столом, во главе которого восседал сам председатель суда, окруженный преподавателями права и другими крестными отцами от юриспруденции. Это было

преддверие того мира, в который он прокладывал себе дорогу уже три, нет, четыре года, считая тот, первый, когда он еще сам не знал, к чему стремиться. Ему надо было теперь только досидеть, только дождаться, все с тем же непроницаемым лицом, пока отзвучат заключительные слова, утонув в заключительных рукоплесканиях, а потом встать, и выйти из комнаты, и идти дальше, все так же глядя вперед, идти, как шел он уже три года, не спотыкаясь, не оборачиваясь. Но он не мог. Даже теперь, преодолев эти сорок миль на пути к свободе и (он это знал, он говорил себе это) к достоинству и самоуважению, он не мог уйти. Он должен был вернуться назад, в сферу, в орбиту притяжения одиннадцатилетней девочки, которая, даже когда сидит в перемену на ступеньках школьного крыльца, жмурясь на солнце, как кошка, и ест холодную сладкую картофелину, подобна самим богиням в его томиках Гомера и Фукидида, словно и ей дано быть разом и растленной и непорочной, как они - девы и матери воинов и взрослых мужей.

В первое же утро, когда брат привез ее в школу, Лэбоув сказал про себя: "Нет. Нет. Не надо. Не оставляйте ее здесь!" Он проработал всего одно полугодие, каждую неделю уезжая ночью в Оксфорд и возвращаясь обратно, да еще в январе, когда сдавал экзамены, пропустил две недели, и все же он не только вытащил школу из того хаоса, в котором оставил ее прежний учитель, но и привел в какой-то порядок учебную программу. Он работал без помощника, в единственной комнате не было даже перегородок, но он разделил учеников по способностям и заставил заниматься, и они не только подчинились, но в конце концов стали заниматься добросовестно. Он не гордился, он даже не был удовлетворен. Но он был доволен тем, что сделан какой-то сдвиг, какой-то шаг если и не к знанию в широком смысле слова, то хотя бы к порядку и дисциплине. И вот однажды утром он отвернулся от грубо сколоченной классной доски и увидел лицо восьмилетней девочки, тело четырнадцатилетней и грудь двадцатилетней женщины, которая, едва переступив порог, принесла в эту холодную, скудно освещенную, плохо отапливаемую комнату, предназначенную служить суровым нуждам протестантского начального образования, влажный дух хмельного весеннего распутства, языческое ликующее преклонение пред изначальным и всемогущим лоном.

Он с первого взгляда понял то, что ее брату, без сомнения, суждено было понять последним. Он понял: она не только не хочет и не будет учиться, но ни в одной книге на свете нет ничего, что могло бы понадобиться ей, появившейся на свет уже во всеоружии для того, чтобы без страха встречать и одолевать все, что может поставить на ее пути будущая жизнь. Он видел девочку, на которую следующие два года ему суждено было смотреть, как ему казалось сначала, лишь со злобой, девочку, которая, видимо, достигла порога зрелости и переступила его еще в утробе матери, и теперь не угрюмая, а в спокойном оцепенении, повинуясь любому воздействию извне, только переносит из одних стен в другие это свойство недвижимого ожидания, несет его за пределы дней, сквозь время, расцветающее ровно и неторопливо, до той поры, когда некий мужчина, чьего лица она, вероятно, еще не видела, а имени не слыхала, сломит и рассеет это ожидание. Пять лет ему было суждено видеть, как брат привозит ее каждое утро, и едва он ее оставит, она замирает на том же месте и почти в той же позе, и руки ее часами неподвижно лежат на коленях, словно два самостоятельных уснувших существа. Если ему удавалось как-то привлечь ее внимание, она отвечала: "Не знаю", а если он настаивал: "Я этого не учила". Казалось, мышцы ее, вся ее плоть были неподвижны, недоступны усталости и скуке, или же она, этот символ дремлющей девственности, была наделена жизнью, но не чувствами, и только ждала, когда явится брат, ревнивый, кипящий злобой евнух-жрец, и увезет ее.

Каждое утро она появлялась с клеенчатым ранцем, и Лэбоув не знал, есть ли в нем что-нибудь, кроме печеного сладкого картофеля, который она ела на переменах. Едва вступив в класс, она превращала даже простые дощатые парты и скамьи в рощу Венеры и зачаровывала всех мужчин, от мальчишек, едва вошедших в возраст, до взрослых девятнадцатилетних и двадцатилетних парней, из которых один имел уже жену и детей и мог вспахать за день десять акров земли, и все они, загораясь воинственным соперничеством, упорно домогались первенства в жертвоприношении. Иногда по пятницам в школе бывали вечера, на которых под

присмотром Лэбоува ученики играли в задорные юношеские игры. Она ни в чем не принимала участия и все же властвовала, царила над всеми. Она сидела у печки, точь-в-точь как в часы занятий, рассеянная и безмятежная среди крика, визга и топота ног, но это ее хватали во всяких ситцевых и льняных платьишках по всяким укромным закоулкам и уголкам. Она не обгоняла свой класс, но и не отставала от него, не потому, что отказывалась учиться, и не потому, что была дочерью Уорнера, который содержал школу, но потому, что стоило ей попасть в какой-нибудь класс, как там уже через сутки не оставалось ни успевающих, ни отстающих. Год спустя ее уже некуда было переводить, потому что ни одно существо, у которого в жилах течет живая кровь, не оставалось от нее в стороне. Для них был возможен лишь один кумир, и, словно рой пчел, они слетались к ней, к этому кумиру, вились вокруг и докучали ей, а она, все такая же безмятежная, невозмутимая, словно в забытьи, спокойно отвергала всю громадную совокупность человеческой мысли и муки, именуемую знанием, просвещением, мудростью, разом беспредельно нечистая и нерушимо целомудренная: царица, матка.

Целых два года он видел это, не испытывая, как ему казалось, ничего, кроме злобы. К концу второго года он должен был завершить курс, получить обе свои степени. Тогда все будет кончено, останется позади. Единственная причина, по которой он сюда нанялся, тогда отпадет, перестанет существовать. Цель будет достигнута дорогой ценой, которую он честно заплатил, включая и ночные поездки верхом за сорок миль в университет и обратно, ибо ездить верхом забавы ради было противно обычаям потомственного фермера, обрабатывающего землю собственными руками. Теперь он мог уехать, бросить этот поселок, забыть о нем навсегда. Первые полгода он верил, что сделает это, а остальные полтора уговаривал себя, что так именно и будет. Но уговаривать себя и верить было особенно легко, пока он не жил здесь, - два месяца весной и потом восемь недель летом, когда он постепенно оканчивал четвертый семестр, а потом еще восемь недель так называемого отпуска, которые он проработал на лесопилке, хотя теперь уже не нуждался в приработке, мог бы окончить университет и без него, но ему хотелось иметь в кармане побольше денег, когда он пройдет через последнюю дверь и ступит на дорогу, прямую и твердую, и ничто уже не будет стоять между ним и его целью; а потом шесть недель осенью, когда каждую субботу эти белые линии мелькали у него под ногами, и обезумевший воздух вопил и ревел, а он в эти короткие мгновения, вопреки собственному естеству, жил - неистово, напряженно, сам себе не веря, что это так.

А потом, в один прекрасный день, он убедился, что вот уже два года лжет себе. Случилось это на вторую весну, когда он приехал в университет, примерно за месяц до окончания. Он не отказался от места в школе, хотя, уезжая из Французовой Балки месяц назад, был уверен, что больше туда не вернется, поскольку из его договора с Уорнером само собой разумелось, что он работает только для того, чтобы иметь возможность окончить университет. Поэтому он думал, что уезжает навсегда. До выпускных экзаменов оставался всего месяц, потом экзамен на право адвокатской практики, и дверь перед ним распахнется. Ему даже обещали место по специальности, которую он себе избрал. И тут это случилось, совершенно неожиданно, когда он однажды вечером вошел в столовую пансиона, чтобы поужинать, и хозяйка сказала: "А у меня для вас есть угощение. Это мне зять привез", - и поставила перед ним тарелку. На тарелке одиноко лежала печеная сладкая картофелина, и вдруг хозяйка вскрикнула: "Ах, мистер Лэбоув, вам нехорошо!" - а он совладал с собой, встал и вышел. Когда он добрался наконец до своей комнаты, то почувствовал, что должен спешить, бежать, не теряя ни минуты, хоть пешком. Он увидел ее воочию, даже запах ее услышал: вот она сидит на школьном крыльце и ест сладкий картофель, жует его спокойно и неторопливо, сохраняя все ту же чудовищную способность не только беспомощно и неумышленно оказываться как бы вне своей одежды, но и быть совершенно нагою, даже не подозревая об этом. Теперь он знал, что не на школьном крыльце, а в его мыслях была она каждое мгновенье все эти два года, что им владела не злоба, а страх, и что те призрачные врата, которые он воздвиг для себя и считал своей целью, вовсе не цель, а лишь остров спасения, - так человек, которому грозит гибель, бежит не ради приза, а ради избавления от смерти.

Но тогда он еще не сдался по-настоящему, хотя и сказал себе в первый раз: "Нет, я туда

не вернусь". Прежде не было надобности это говорить, потому что он верил, что уйдет оттуда. Но он еще мог хотя бы вслух убеждать себя, что не вернется, и благодаря этому благополучно прошел через присуждение степени и права на адвокатскую практику, а потом и через банкет. Перед самым торжеством к нему обратился один из товарищей. Сразу после банкета все собирались в Мемфис, чтобы продолжить праздник в интимном кругу. Он понял, что это означает: попойка в гостинице, а после, по крайней мере для некоторых, публичный дом. Он отказался - не потому, что был девственник, и не потому, что не мог позволить себе тратиться на такие вещи, но потому, что до самого последнего мгновения все еще верил, все еще сохранял свою чисто эмоциональную и беспочвенную веру дикаря в образование, в белую магию латинских титулов, точно так же, как монах стародавних времен верил в свой деревянный крест. А потом прощальная речь утонула в заключительных аплодисментах и стуке отодвигаемых стульев; дверь была распахнута, дорога ждала его, а он уже знал, что никуда не пойдет. Он подошел к приятелю, который звал его в Мемфис, и сказал, что согласен. Вместе с другими он вышел из вагона на мемфисском вокзале и спокойно спросил, как пройти в публичный дом.

- Вот черт! - сказал кто-то из товарищей. - Да потерпи ты немного. Дай сперва хоть в гостинице запишемся.

Но он не хотел ждать. Он пошел один по адресу, который ему дали. Уверенно постучался в какую-то подозрительную дверь. Все равно, ему и это не поможет. Он на это и не надеялся. Он обладал тем качеством, без которого человек не может быть ни по-настоящему храбрым, ни по-настоящему трусливым: способностью видеть обе стороны медали, мысленно представить себя уже побежденным, - качеством, которое само по себе - беда, несчастье. "По крайней мере, хоть за невинность она меня презирать не сможет", - говорил он себе. Наутро он взял у своей ночной подружки лист дешевой линованной бумаги, вырванный из блокнота, и конверт (розовый, пахнущий духами) и написал Уорнеру, что будет работать в школе еще год.

Но проработал он там еще три года. За это время он и впрямь стал совсем монахом, а холодная, мрачная школа, маленькая, бедная деревушка стала его горой, его Гефсиманским садом, и, он сам это понимал, его Голгофой. Он уподобился древним анахоретам. Нетопленная каморка была его одинокой кельей, тонкий соломенный тюфяк, брошенный на деревянный пол, - ложем из камней, на котором он лежал навзничь, обливаясь потом в ледяные зимние ночи, нагой, непреклонный, стиснув зубы, и лицо у него было как у ученого мудреца, а ноги волосатые, как у фавна. А потом наступал день, и он мог встать, и одеться, и поесть, даже не разбирая вкуса еды. К еде он всегда был безразличен, но теперь он часто даже не знал, поел он или нет. Потом он выходил и отпирал школу, садился за свой стол и ждал, когда она появится и пойдет по проходу между партами. Сначала он думал жениться на ней - подождать, пока она станет старше, и просить ее руки, хотя бы попытаться, но давно уже отбросил эту мысль. Во-первых, он не хотел жениться, быть может - пока, а быть может - и вовсе. И потом не в жены она была ему нужна, она была нужна ему только на один раз, так человек с гангреною руки или ноги жаждет удара топора, который снова сделает его сравнительно здоровым. Однако он готов был и на эту жертву, лишь бы избавиться от наваждения, но знал, что это невозможно, не только из-за ее отца, который никогда не согласится на их брак, но из-за нее самой, из-за той ее сущности, которая начисто уничтожала всякую ценность одной клятвы в верности на всю жизнь, всякую способность одного человека быть вечно преданным, обесценивала те жалкие возможности любви, какие мог ей предложить один человек. Он почти видел ее будущего мужа - карлик, гном, без мощи в чреслах и без желания, он будет значить для нее не больше, чем для книги - имя владельца на форзаце. И опять то же самое, опять из книг мертвое, искаженное подобие образа, который уже ввел его однажды в соблазн: Венера и колченогий Вулкан, который не обладает ею, а только владеет единственно благодаря силе, той силе, что дает мертвая власть денег, богатства, безделушек, всякой мишуры, как мог бы он владеть не картиной, не статуей, а, к примеру, полем. Лэбоув видел это поле: прекрасная земля, тучная, плодоносная, унавоженная, бессмертная и глухая к речам того, кто заявляет на

нее свои права, беспамятная, высасывающая вдесятеро больше живого семени, нежели ее хозяин способен накопить и извергнуть за всю свою жизнь, воздающая сторицей и рождающая урожай, в тысячу крат больший, чем смеет надеяться собрать и сохранить владелец.

Да, надеяться было не на что. И все же он не уезжал. Не уезжал, чтобы иметь возможность, дождавшись, когда разойдутся последние ученики и школа опустеет, встать со спокойствием проклятого и отверженного, подойти к скамье и положить руку на доску, еще хранящую тепло ее тела, или даже встать на колени, прижаться лицом, потереться щекой, обнимать твердое, бесчувственное дерево, пока тепло не улетучится. Он сошел с ума. И он знал это. Иногда он больше не хотел ее любви, но хотел причинить ей боль, видеть, как брызнет, потечет кровь, видеть, как клеймо ужаса и муки ляжет на это безмятежное лицо, которое он подомнет под себя, оставить на нем неизгладимое клеймо, увидеть, как оно вообще перестанет быть человеческим лицом. Тогда он избавится от этого безумия, изгонит его из себя, и тогда они поменяются ролями. Тогда он сам повергнется ниц перед этим лицом, лицом четырнадцатилетней девочки, несмотря на возраст отмеченное тягостным знанием, которое ему никогда не будет дано, и в изобилии, в избытке порочным, извращенным опытом. Он был как дитя перед этим знанием. Он был как юная, нетронутая девушка, растерянная и перепуганная насмерть, загнанная в ловушку не хитростью и опытом соблазнителя, а слепыми, безжалостными, силами внутри нее самой, которые жили в ней долгие годы, а она и не подозревала об этом. Он ползал бы перед нею в пыли, он твердил бы, задыхаясь: "Укажи мне, что делать. Скажи. Я сделаю все, что ты скажешь, только бы постичь, узнать то, что знаешь ты". Он сошел с ума. И знал это. Он знал, что рано или поздно что-нибудь непременно случится. И еще он знал: что бы ни случилось, побежденным будет он, хотя он пока не догадывался, где единственная трещина в его броне, не думал, что она найдет ее безошибочно, чутьем, даже не сознавая, какой опасности избежала. "Опасность? - думал, кричал он про себя. - Опасность? Не для нее - для меня. Я боюсь того, что могу сделать, не из-за нее, потому что ни я, ни другой мужчина не в силах причинить ей никакого зла. Я боюсь потому, что плохо будет мне".

И вот, однажды, он нашел свой топор. В каком-то сладостном оргазме рубил он, после первого неумелого удара, по обрывкам нервов и связок гангренозной конечности. Сначала он ничего не слышал. Последние шаги замерли, дверь захлопнулась в последний раз. Он не слышал, как она отворилась снова, но что-то заставило его поднять лицо, исступленно прижатое к скамье. Она снова была в классе и смотрела на него. Он понял, что она не только заметила место, подле которого он стоял на коленях, но и знает, почему он здесь стоит. Возможно, в этот миг он верил, что она все время знала это, потому что сразу увидел, что она не испугана и не смеется над ним, что ей просто-напросто все равно. А она и не подозревала, что глядит в лицо человека, готового на убийство. Она спокойно выпустила дверную ручку и пошла между партами прямо к печке.

- Джоди еще нет, - сказал она. - А на дворе холодно. Что это вы здесь делаете?

Он встал с колен. Она все шла, держа в руках клеенчатый ранец, с которым ходила вот уже пять лет, и вне школьных стен, он знал это наверняка, открывала его лишь для того, чтобы положить туда холодные сладкие картофелины. Он пошел на нее. Она остановилась, не спуская с него глаз.

- Не бойся, - сказал он. - Не бойся.

- Бояться? - сказала она. - Чего?

Она отступила на шаг и снова остановилась, пристально глядя ему в лицо. Она не боялась. "Она и этого еще не учила", - подумал он; и тут что-то бешеное и холодное взметнулось в нем, то ли отречение, то ли горькая тоска по отринутому, хотя на лице его ничего не отразилось, оно даже улыбалось слегка - трагическое, усталое лицо проклятого и отверженного.

- В том-то и дело, - сказал он, - В том-то и беда. Не боишься. Но этому ты должна выучиться. Хоть этому ты у меня выучишься.

Но он уже научил ее чему-то иному, хотя еще с минуту или две сам об этом не

подозревал. Да, одному она в самом деле выучилась за пять лет в школе, и теперь ей предстояло выдержать экзамен. Он шел на нее. Она не двигалась. Потом он схватил ее. Он налетел так быстро и неотвратимо, словно она была футбольным мячом или же мяч был у нее и она преграждала ему путь к последней белой черте, которую он ненавидит, но должен ее достичь. Он набросился на нее, и тела их столкнулись, ошиблись, потому что она даже не попыталась уклониться, не говоря уж о сопротивлении. Казалось, на миг ее сковало вялое, безвольное удивление, и она стояла, большая, неподвижная, почти такая же высокая, как он, уставившись ему в глаза, - это тело, которое всегда было словно бы вне одежды и, не сознавая этого, превращало в приапический хаос то, чему он, ценой трехлетних жертв, терпения, самоистязаний и беспрерывной борьбы с собственной неукротимого кровью, купил право посвятить свою жизнь, тело, бессильное и текучее, как молоко, которое каким-то чудом не растекается, сохраняет форму.

Потом оно вдруг все напряглось в неистовом, немом сопротивлении, но даже теперь он не мог уловить в ней ни страха, ни хотя бы негодования, а только удивление и досаду. Она была сильна. Он это предвидел. Он этого хотел, он ждал этого. Они яростно сцепились. Он все улыбался и шептал.

- Так, - шептал он. - Борись. Борись. Вот оно - мужчина и женщина борются. Ненависть. Убить, но только так, чтобы отныне и во веки не осталось сомнения, кто убит. И даже мертвым не знать покоя в могиле, отныне и во веки они там вдвоем, и этим двоим никогда уж не знать покоя ни вместе, пи врозь, пока живы.

Он обнял ее не слишком крепко, чтобы лучше чувствовать неистовое сопротивление костей и мышц, только не давая ей вцепиться ему в лицо. Она не проронила ни звука, хотя брат, который никогда не опаздывал, мог теперь быть уже у самых дверей школы. Лэбоув об этом не думал. А если бы и подумал, то ему, вероятно, было бы все равно. Он держал ее не слишком крепко, все улыбаясь, шепча вперемешку обрывки латинских и греческих стихов и американские непристойности, как вдруг ей удалось высвободить одну руку и двинуть его локтем пониже подбородка. Он покачнулся и не успел выпрямиться, как она другой рукой отпустила ему полновесную затрещину. Он отлетел назад, прямо на скамью, упал и опрокинул скамью на себя. Она стояла над ним, дыша глубоко, но не задыхаясь, даже волосы у нее не растрепались.

- Хватит меня лапать, - сказала она. - Вот еще всадник без головы, Икабод Крейн* {Икабод Крейн - герой новеллы Вашингтона Ирвинга "Легенда о Сонной лощине", школьный учитель, за которым гнался всадника без головы}.

Когда хлопнула дверь и замерли ее шаги, он услышал тиканье дешевых настольных часов, которые привез с собой из Оксфорда, необычно громкое в наступившей тишине, с металлическим дребезгом, как будто мелкая дробь сыпалась в жестянку, но он еще не успел встать, как дверь снова отворилась, и он, сидя на полу, видел, как она снова прошла между партами.

- Где мой...- сказала она.

Тут она увидела свой ранец, подняла его с полу и повернула назад. Он снова услышал, как хлопнула дверь. "Значит, она ему еще не сказала", подумал он.

Он знал ее брата. Тот не стал бы сперва отвозить ее домой, вошел бы сразу, получив наконец подтверждение своей правоты после пяти лет беспочвенной и яростной уверенности. Это было бы уже хоть что-то. Конечно, самых сокровенных глубин не достичь, и все-таки он бил бы ту же плоть, то же самое горячее, живое тело, в котором бежит та же кровь, - это был бы пароксизм, оргазм своего рода, катарсис, наконец, - хоть что-то! И он встал, и подошел к своему столу, и сел, и повернул часы к себе (они всегда стояли боком, так чтобы он мог их видеть, когда подходил к кафедре для опроса). Он знал расстояние от школы до дома Уорнера и достаточно часто ездил на лошади в университет и обратно, чтобы подсчитать, за сколько минут можно доехать верхом. К тому же назад Джоди поскачет галопом, подумал он. Он отмерил взглядом, сколько должна пройти минутная стрелка, и сидел, глядя, как она ползет к крайней чёрте. Потом он осмотрел единственное свободное место в комнате; правда, и тут

стояла печка, не говоря уже о скамье. Печку сдвинуть нельзя, а скамью можно. Но даже тогда... Может, лучше встретить его во дворе, а то как бы кому не покалечиться. Но потом он подумал, что именно этого ему и нужно, чтобы кто-нибудь покалечился, и тут он спокойно спросил себя: "Кто же?" - и ответил: "Не знаю. Мне все равно". Он снова стал глядеть на циферблат. Даже когда прошел целый час, он все еще не мог поверить, что его постигло последнее, непоправимое несчастье. "Он стережет меня в засаде с револьвером, - думал он. - Но где? В какой засаде? Какая еще ему нужна засада?" - а сам уже видел, как назавтра утром она снова входит в класс, невозмутимо спокойная и даже не помнящая ничего, и несет с собой холодный сладкий картофель, и будет жевать его в перемену, сидя на солнце, на крыльце, словно одна из потерявших девственность, а возможно, и безымянно понесших во чреве богинь, которые вкушают хлеб бессмертия на залитом солнцем склоне Олимпа.

И тогда он встал, собрал книги и бумаги, которые каждый день после занятий уносил вместе с часами в свою убогую комнату, а наутро приносил обратно, сложил их в ящик стола, закрыл его и вытер стол носовым платком, все это неторопливо, но безостановочно, со спокойным лицом, потом завел часы и поставил на прежнее место. Пальто, подаренное ему тренером шесть лет назад, висело на гвозде. Он поглядел на него, помедлил, потом быстро подошел, снял его, надел и даже застегнулся, и вышел из комнаты, теперь совсем пустой, где все-таки было и всегда будет слишком тесно и людно; где с того первого дня, когда брат ее сюда привел, было слишком тесно, и всегда впредь во всякой комнате, где она побудет немного или хоть вздохнет, даже одному человеку будет слишком тесно.

Едва выйдя за порог, он увидел чалую лошадь, привязанную к столбу около лавки. "Ну, разумеется, - подумал он спокойно, - Конечно же, он не носит пистолет с собой и не прячет его дома под подушкой. Конечно. Вот оно. Вот где у него пистолет". И он говорил себе, шагая к лавке, что, может быть, ее брату даже нужны свидетели, как нужны они ему самому, и лицо его было трагическим и спокойным. "Это и будет доказательством! - крикнул он беззвучно. - Они поверят в то, чего никогда не было. И хорошо! И пускай! Хоть в этом убедиться, хоть знать, что люди поверили, хоть одно это знать! И так оно и останется в их памяти навсегда, вовеки неистребимо, потому что только двое знают правду, и один из них будет мертв".

День был серый, цвета и фактуры железа, один из тех безветренных, тягуче-застылых дней, слишком мертвенных, чтобы разрешиться хотя бы снегом, когда даже свет не разгорается и не меркнет, а как бы разом возникает из ничего на заре и так же разом исчезает, гаснет в сумерках. Поселок будто вымер - запертая наглухо кузница, сарай с бездействующей хлопкоочистительной машиной, потрепанная непогодой лавка; одна только лошадь была живой в своей неподвижности, да и то лишь благодаря сходству с заведомо живым существом. Но они, конечно, внутри, в лавке. Он уже видел их, - тяжелые башмаки и сапоги, комбинезоны и парусиновые куртки топорщатся над толщей всякой одежды, надетой под низ без разбора, - они расположились вокруг ящика с песком, а печурка, словно присев на корточки, распространяет вокруг себя сильное, доброе тепло, и у этого тепла есть запах, настоящий запах, мужской, чуть ли не монастырский, без женщин, этот зимний густой дух осторожных табачных плевков, присохших к железным бокам печки. Доброе тепло! Он пойдет в него не с холода, мрачного и пустого, но из самой жизни, поднявшись на крыльцо, переступит порог и оставит жизнь за дверью. Когда он проходил мимо, лошадь подняла голову и поглядела на него. "Нет, ты мне не нужна, - сказал он ей. - Стой тут, чтобы кровью тебя не запачкало, кровь сейчас потечет. А я пойду". Он поднялся на крыльцо, прошел по исшарканному полу галереи. К закрытой двери была прибита реклама какого-то патентованного снадобья, уже поблекшая, с изображением самодовольного, бородатого, преуспевающего мужчины, живущего с женой и детьми где-то далеко отсюда, в роскошном доме, недосягаемого для страстей и кровавой измены, которому и умирать не пришлось, чтобы его набальзамировали, вездесущего и бессмертного, в десятках тысяч поблекших, драных изображений, красующихся в любую погоду, в дождь, в мороз, в жестокий летний зной, на десятках тысяч облезлых и вовсе не крашеных дверей, стен и заборов по всей стране.

Потом, уже взявшись за ручку двери, он вдруг остановился. Однажды - он, конечно, ехал

тогда на футбол, потому что, кроме как на футбол, он ни разу поездом не ездил, не считая той ночной поездки в Мемфис, - однажды он вышел из вагона на пустую платформу. Вдруг у дверей вокзала началась какая-то суматоха. Он услышал брань, крик, из дверей выбежал негр, за ним, с криком, белый. Негр обернулся, съежился, случайные зрители бросились врассыпную, а белый из короткого револьвера выстрелил в негра. Ему вспомнилось, как негр, схватившись за живот, упал ничком, потом вдруг перевернулся на спину и словно стал длиннее, вытянулся по меньшей мере на целый ярд; белого, который так и сыпал проклятиями, скрутили и обезоружили, паровоз засвистел, поезд тронулся, и кондуктор в железнодорожной форме, выбравшись из толпы, побежал, но, уже догнав свой вагон и вскочив на подножку, все оборачивался назад. И ему вспомнилось, как он протолкался вперед, машинально применяя футбольные приемы, и как взглянул вниз, на негра, который неподвижно лежал на спине, все сжимая руками живот, и глаза его были закрыты, а лицо совершенно спокойно. Потом какой-то человек, врач или служитель, опустился на колени перед негром. Он попробовал разнять его руки. Никаких признаков сопротивления не было - просто казалось, что руки, за которые тянул врач или служитель, окаменели. Глаза негра не открылись, не изменилось и спокойное, мирное выражение лица; он как бы говорил: "Глядите, белые. Меня застрелили". Но в конце концов ему разняли руки, и он вспомнил, как срывали джемпер, комбинезон, драный пиджак, и оказалось, что это совсем не пиджак, а пальто, обрезанное у бедер чем-то острым, как видно, бритвой; под ним была еще рубашка и брюки. Пояс брюк расстегнули, и пуля выкатилась на платформу, совсем сухая, без капельки крови. Он выпустил ручку двери, снял пальто и перекинул его через руку. "Так, по крайней мере, будет наверняка", - подумал он, открывая дверь, входя. Сперва он решил, что в лавке никого нет. Он увидел печурку, ящик с песком, окруженный бочонками из-под гвоздей и перевернутыми вверх дном ящиками; почувствовал смрадный перегар свежих плевков. Но у печки никто не сидел, и когда, в следующий миг, он увидел толстое, мрачное, сердитое лицо ее брата, глядевшее на него поверх конторки, его охватила злоба и негодование. Он подумал, что Уорнер избавился от свидетелей, нарочно выпроводил всех, чтобы лишить его этого последнего оправдания, этого доказательства его торжества, которое он пришел купить ценою жизни; и вдруг он понял, что не хочет умирать, более того, яростно отметает самую мысль о смерти. Он отшатнулся, уже увертываясь, шаря вокруг себя в поисках какого-нибудь оружия, когда лицо Уорнера еще выше поднялось над конторкой, словно желчная лупа.

- Какого еще дьявола вам нужно? - сказал Уорнер. - Я же вам только позавчера говорил, что оконные стекла еще не привезли.

- Стекла? - сказал Лэбоув.

- Забейте покуда досками, - сказал Уорнер. - Вы что, думали, я специально поеду в город, чтобы вам в спину не надуло?

И тут он вспомнил. Во время рождественских каникул в окне выбили стекла. Тогда он заколотил его досками. Он этого не помнил. Не помнил он и о позавчерашнем разговоре насчет обещанных стекол, не говоря уже о своей просьбе привезти их из города. И теперь он стоял, припоминая. Он медленно выпрямился и стоял с пальто, перекинутым через руку; теперь он даже не видел мрачного, подозрительного лица. "Да, - думал он спокойно. - Да. Понятно. Она ему ничего не сказала. И даже не забыла сказать. Она просто не знает, что об этом нужно сказать". А Уорнер все говорил; видимо, он ему ответил.

- Ну, так что ж вам тогда надо?

- Мне нужен гвоздь, - сказал он.

- Возьмите. - Лицо уже снова исчезло за конторкой. - Не забудьте молоток принести назад.

- Молоток мне не нужен, - сказал он. - Мне нужен только гвоздь.

Его дом, где он прожил в холодной комнате шесть лет со своими книгами и яркой лампой, стоял между лавкой и школой. Он даже не взглянул на него, проходя мимо. Он вернулся в школу, закрыл и запер дверь. Обломком кирпича вбил гвоздь в стену, рядом с дверью, и повесил на него ключ. Школа была у дороги на Джефферсон. А пальто он уже

захватил.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Всю эту весну и все долгое лето на четырнадцатом году ее жизни пятнадцати-, шестнадцати-, семнадцатилетние подростки, те, что ходили вместе с ней в школу, и те, что не ходили, роились вокруг нее, словно осы вокруг спелого персика, на который был так похож ее полный влажный рот. Они составляли тесную, сплоченную, шумную группу, и Юла была ее осью, центром безмятежная, вечно что-то жующая. Были среди них три или четыре девочки, малорослые, щуплые, но никто не знал наверное, приблизила ли она их к себе случайно или умышленно, для контраста. Они были меньше ее, хотя почти все старше. Словно изобилие, облекавшее ее с колыбели, затмив их округлостями тела, великолепием волос и кожи и не довольствуясь этим, непременно должно было принизить и вовсе подавить их объемом, массою, весом.

Они собирались по меньшей мере раз в неделю, а обыкновенно еще чаще. По воскресеньям они с утра встречались в церкви и рассаживались в ряд на двух скамьях, которые с общего согласия паствы и священника стали теперь их скамьями, как будто это был класс или даже изолятор. Они встречались на деревенских празднествах в опустевшей школе, которой предстояло пустовать почти два года, до появления нового учителя. Они всегда приходили гурьбой, в парных играх выбирали только друг дружку, мальчики были дурашливы, упрямы и шумливы. Это было похоже на еженедельное собрание масонов, очутившихся вдруг где-нибудь в Африке или Китае. Уходили они тоже все вместе и тесной, шумной гурьбой шагали по дороге при свете луны или звезд, чтобы проводить ее до ворот отцовского дома и потом разойтись. Никто не знал, искали мальчики случая проводить ее домой наедине или нет, потому что люди ни разу не видели, чтобы она возвращалась откуда-нибудь или шла куда-нибудь одна, да вдобавок пешком, если была хоть малейшая возможность этого избежать.

А еще они встречались на спевках, крещениях и пикниках. В тот год предстояли выборы, и после конца сева и окучивания хлопка устраивались не только спевки на весь день и крещения по первым воскресным дням каждого месяца, но и предвыборные пикники. Много недель подряд можно было видеть Уорнерову коляску среди других экипажей где-нибудь подле деревенской церкви или на опушке леска, где женщины в изобилии раскладывали на длинных дощатых столах холодные закуски, которых хватило бы на неделю, меж тем как мужчины стояли у помостов, откуда говорили речи кандидаты на окружные должности в сенат штата и в конгресс, а молодые кучками или парами слонялись по леску или же, если удавалось заманить девушек куда-нибудь в укромный уголок, по-юношески неуклюже и грубо ухаживали, обольщали. Она не слушала речей, не накрывала столы, не пела. Вместе с двумя, тремя или четырьмя меньшими девочками она просто сидела, окруженная шумной, нестройной ватагой, ее ядро, центр, средоточие, точно так же, как и в прошлом году на школьных вечеринках, источая сладостный дурман зачатия, материнства, но никому не позволяя до себя дотронуться и даже в этой расковывающей, манящей атмосфере, которой она дышала и в которой двигалась (или, вернее, сидела неподвижно), умудряясь сохранить непреклонную чистоту, недоступная даже мимолетному, случайному порыву, даже вспышке протестантского религиозного исступления или любовной страсти. Она словно бы знала, если не имя и не лицо своего суженого, то, во всяком случае, ту минуту, тот миг, для которого она предназначена, и ждала этой минуты, а не той, когда можно будет садиться за стол, как казалось со стороны.

А еще они встречались дома, у девочек. Об этих встречах они, конечно, уговаривались заранее, и устраивали их, конечно, другие девочки, но если она и знала, что ее приглашают, чтобы привлечь мальчиков, то виду не показывала. Она ночевала у подруг, иногда гостила у них по два и по три дня. Ей не позволяли ходить вечером на танцы ни в свою школу, ни в соседние школы или лавки. Она об этом никогда и не заикалась; или, вернее, брат строго-настрого запретил ей это, прежде чем кому-нибудь в голову пришло, что она может туда

попроситься. Но бывать у подруг он ей не мешал. Он даже сам отвозил ее и привозил назад на своей лошади, как возил прежде в школу и из школы, по той же самой причине, по какой не позволял ей уходить из школы одной и встречать его у лавки, все так же кипя злобой и мрачным негодованием, фанатично убежденный в справедливости своих подозрений, в том, что он не зря тратит порох, ехал за много миль, а она все так же держала свой клеенчатый ранец с ночной рубашкой и зубной щеткой, захваченными по настоянию матери, и той же рукой цеплялась за помочи его комбинезона, и мягкое млечное тело терлось об его спину, и в ушах его звучало беспрерывное чавканье, и, наконец, он осаживал лошадь перед домом, где ее ждали в гости, и рычал:

- Да перестань ты жевать эту чертову картошку, слезай, отпусти меня, мне же работать надо!

В начале сентября в Джефферсоне открылась ежегодная окружная ярмарка. Она поехала с родителями в город и четыре дня прожила в гостинице. Все мальчики и три девочки уже ждали ее там. Пока отец смотрел скотину и всякие земледельческие орудия, а мать оживленно толкалась среди женщин, выставивших свои варенья, соленья и печенья, она целыми днями бродила от тира к качелям, а от качелей к эстраде, в том же платье, которое носила в школу год назад, только с выпущенным подолом, окруженная шумной свитой дерзких и задиристых юнцов, и все время что-то жевала или раз за разом, но слезая и не переставая жевать, каталась верхом па деревянной лошадке карусели, и ее длинные ноги олимпийской богини оголялись почти до бедер.

Когда ей пошел пятнадцатый год, вокруг нее уже увивались юноши. Они были ростом со взрослых мужчин и, во всяком случае, работали наравне со взрослыми - эти восемнадцати-, девятнадцати-, двадцатилетние парни, которым, по обычаям тех времен и тех мест, пора уже было подумать о сватовстве и хотя бы ради нее обратить внимание на других девушек, а уж ради самих себя - на любую девушку. Но они не думали о женитьбе. Их было больше десятка, этих парней, которые в ту вторую весну, в какую-то минуту, в какой-то миг, ее брат даже не мог бы сказать, когда именно это случилось, ворвались в ее спокойную орбиту, словно обезумевшее стадо диких быков, и безжалостно отшвырнули прочь подростков, которые окружали ее прошлым летом. Пикники в этом году бывали не так часто, как перед выборами, к счастью для ее брата, который теперь ездил со всей семьей в коляске, угрюмый, кипящий злобой, в жаркой, мешковатой черной паре и крахмальной сорочке без воротничка, и, словно охваченный каким-то недоверчивым удивлением, даже не рычал на нее больше. Он изводил миссис Уорнер до тех пор, пока та не заставила ее носить корсет. И всякий раз, увидев ее вне дома, одну или на людях, ощупывал, проверяя, надет ли корсет.

На спевках и крещениях он больше не бывал, но чуть не силой гнал туда родителей. Так что только по воскресеньям молодым людям предоставлялась хоть какая-то свобода. Они являлись к церкви все разом, на лошадях и мулах, которых лишь накануне выпрягли из плуга, а завтра на заре должны были снова впрячь в плуг, и поджидали коляску Уорнера. Только здесь и видели ее теперь юные прошлогодние друзья, - пока она шла от коляски до церковной двери, скованно и неловко, в корсете и выпущенном детском платье, мелькала на миг и сразу же исчезала в волнующейся толпе тех, кто отнял ее у них. А еще через год в воскресное утро к дому будет подъезжать уже настоящий кавалер, расфранченный, в сверкающей лаком пролетке, заложенной выездным жеребцом или кобылой, который оттеснит нынешних парней. Но это будет только через год; а пока около нее царит вечная кутерьма, хотя и удерживаемая в рамках приличия, или, по крайней мере, благоразумия, святостью храма и воскресного дня, обузданное вожделение, словно свора псов, настойчиво преследующая совсем еще неопытную и ничего не подозревающую молодую сучку. Они гуськом входили в церковь и усаживались на задней скамье, откуда им была видна ее золотистая, как мед, скромно потупленная голова рядом с родителями и братом.

Из церкви ее брат куда-то уезжал, как считалось, - развеяться, и весь долгий, дремотный день мулы с проплешинами от постромок томились около Уорнеровой изгороди, а хозяева их сидели на веранде, с тщетным упрямством стараясь пересидеть друг друга, грубые, шумливые,

одуревшие, злые не друг на друга, а на саму девушку, которой, видно, было все равно, здесь они или нет, она, видно, даже не знала, что они стараются один другого пересидеть. Люди постарше, проходя мимо, видели их: человек шесть в ярких воскресных рубашках с лиловыми или розовыми резинками на рукавах, напомаженные волосы над выбритыми, загорелыми шеями, начищенные ботинки, грубые, простецкие лица, глаза, в которых застыло воспоминание о минувшей неделе тяжкого труда на полях и мысль о следующей, такой же тяжкой неделе; и среди них девушка, которая и тут оставалась центром, средоточием - тело, которому было просто слишком тесно в детском платье, словно ее, сонную, ночным потопом вынесло из рая и прохожие, увидев ее, прикрыли чем попало, а она даже не проснулась. Так они сидели, словно связанные по рукам и ногам, задиристые, шумные, злясь на убегающее впустую время, а тени меж тем становились все длиннее, лягушки и козодои заводили свою жалобную песню, и светлячки начинали летать над ручьем. А потом выходила миссис Уорнер, суматошливая, болтливая, и, болтая, гуртом гнала всех закусить холодными остатками плотного обеда за стол под лампой, вокруг которой тучей вилась мошкара, и тут они сдавались. Уходили они все вместе, кипя враждой и блюдя благопристойность, садились на своих терпеливых мулов и лошадей и, по молчаливому уговору, яростно скакали к броду через ручей в полумиле от дома Уорнера, а там спешивались, привязывали лошадей и мулов и бились на кулаках свирепо и молча, а потом смывали в ручье кровь, снова садились верхом и разъезжались по домам, под холодной луной, через засеянные поля с ободранными пальцами, расквашенными губами и подбитыми глазами, хотя бы на время избавившись от злобы, досады и желания.

На третье лето облезлых пахотных мулов сменили рысаки и пролетки. Теперь уже эти парни, которых она переросла за год и сбросила со счетов, ждали по воскресеньям с утра у церковной ограды, чтобы, в свой черед, с горьким бессилием поглядеть, как их лишают прежних прав, - поглядеть на сверкающую лаком коляску, чуть припудренную пылью, на нарядную кобылу или жеребца в отделанной медью сбруе, на владельца всего этого великолепия, человека, который всегда был сам себе хозяин, которого никто не стащит с постели на чердаке до зари, в собачий холод, чтобы он шел доить чужих коров или ковырять чужую землю, не стащит с постели отец, все еще хранящий над ним власть вязать и решить - по закону, а иногда и на деле. Рядом с ним сидела девушка, которая в прошлом году в какой-то мере принадлежала им и которая их переросла, ушла, как ушло в вечность прошлое лето, она выучилась наконец ходить так, как будто у нее и нет никакого корсета под шелковым платьем, в котором она уже выглядела не шестнадцатилетней девчонкой, одетой, как двадцатилетняя, но женщиной лет тридцати, надевшей платье своей шестнадцатилетней сестры.

Как-то раз, весной, под вечер, или точнее, весь день до самого вечера, пролеток было четыре. Четвертая, наемная пролетка была одного заезжего торговца. Он попал сюда случайно, сбился с пути и в своей разбитой таратайке, какие можно взять внаем на извозчичьем дворе в Джефферсоне, завернул на Французову Балку, чтобы спросить дорогу, даже не подозревая, что поблизости есть лавка. Он увидел лавку, остановился и попытался всучить приказчику, Сноупсу, свой товар, но у него ничего не вышло. Это был моложавый человек с городскими ухватками, по-городскому самонадеянный и назойливый. Он сразу дознался у праздных завсегдатаев галереи, кто хозяин лавки и где он живет, отправился к дому Уорнера и, конечно, постучал, и его впустили, а может, и не впустили - больше никто тогда ничего не знал. Через две недели он появился снова в той же самой таратайке. На этот раз он даже не пытался что-нибудь продать Уорнерам; позже все узнали, что он у них ужинал. Это было во вторник. А в пятницу он опять приехал. Теперь у него был лучший выезд, какой можно было взять напрокат в Джефферсоне - коляска и неплохая лошадь, а сам он был не только при галстуке, но и в первых белых фланелевых брюках, какие видела Французова Балка. Впрочем, они же были и последними и недолго там задержались; их владелец поужинал в доме Уорнеров, в тот же вечер повез их дочь на танцы в школу, миль за восемь от дома, и как в воду канул. Кто-то другой привез дочь обратно, а на следующее утро, когда рассвело, конюх нашел наемную

коляску у ворот джефферсонской конюшни, и в тот же день ночной дежурный по станции рассказывал, что какой-то человек, перепуганный и порядком избитый, в разодранных брюках цвета сливочного мороженого, покупал билет на первый утренний поезд. Поезд шел на юг, хотя было известно, что торговец живет в Мемфисе, а позже узнали, что у него там жена и дети, но на Французовой Балке до этого никому дела не было.

Итак, остались трое. Они были при ней постоянно, чередуясь в строгом порядке - неделю за неделей, воскресенье за воскресеньем, а прошлогодние банкроты ждали у церкви, чтобы поглядеть, как очередной счастливец высаживает ее из коляски. И после службы они опять ждали, чтобы увидеть, как заголится ее нога, когда она снова будет садиться в коляску, или же, притаившись где-нибудь у дороги, вдруг всей оравой выскакивали из кустов, когда коляска проносилась мимо, и, из клубов удушливой пыли, орали вслед злобные непристойности. А потом, к вечеру, поодиночке, по двое, по трое они проходили мимо Уорнерова дома и краешком глаза видели лошадь, привязанную к загородке, коляску, самого Билла Уорнера, дремлющего в своем деревянном гамаке под купой деревьев, и ставни на окнах гостиной, по обыкновению закрытые для защиты от зноя. Они прятались в темноте, частенько с кувшином белого самогонного виски, у самого края светлого круга, опоясывавшего дом, или лавку, или школу, где в освещенных дверях и окнах под нестройный визг и вой скрипок двигались силуэты танцующих пар. Однажды они притаились в тени у дороги, залитой лунным светом, и встретили коляску истошным ревом, от которого кобыла взвилась на дыбы и понесла, а ездок вскочил и, хлеща их кнутом, захохотал, видя, как они брызнули врассыпную, увертываясь от ударов. Да, теперь уже не брат, а те, выброшенные как мусор прошлым летом, угадывали или, по крайней мере, верили, что пролетка все время была одна и та же. Вот уж почти целый год Джоди больше не ждал в прихожей, пока сестра, одетая, выйдет садиться в коляску, стоящую у ворот, чтобы схватить ее за руку, и, точь-в-точь как он привычно ощупывал спину новой лошади, проверяя, нет ли застарелых рубцов от седла, пощупать жесткой, тяжелой ладонью, надела ли она корсет.

Коляска эта принадлежала юноше по фамилии Маккэррон, который жил милях в двенадцати от поселка. Он был единственным сыном у вдовы - единственной дочери состоятельного землевладельца. Она выросла без матери и в девятнадцать лет убежала с красивым, острым на язык, самоуверенным и приятным человеком без определенного прошлого. Он прожил в тех местах около года. Почти все свое время он проводил, играя в покер в задней комнате какой-нибудь деревенской лавки или при конюшне, и всегда выигрывал, хотя играл безупречно честно, в этом ни у кого сомнений не было. Женщины в один голос говорили, что он будет плохим мужем. Мужчины говорили, что только под угрозой дробовика и можно заставить его стать чьим-нибудь мужем, но и в этом случае едва ли кто-нибудь из них взял бы его в зятья, потому что было в нем что-то тянувшее его в ночь - не и ночные тени, но в исступленно яркий свет, который эти тени рождает, в извращенность бессонной жизни. И все же однажды ночью Элисон Хоук бежала через окно второго этажа. Там не было ни лестницы, ни водосточной трубы, ни хотя бы связанной из простынь веревки. Говорят, она просто прыгнула, а Маккэррон ее поймал, и они исчезли на десять дней, а потом вернулись, и Маккэррон, оскалив свои красивые белые зубы в улыбке, хотя лицо его оставалось серьезно, вошел прямо в комнату, где вот уже десять дней сидел старый Хоук, держа на коленях заряженный дробовик.

Всем на удивление, он стал не только хорошим мужем, но и зятем. Он мало что смыслил в сельском хозяйстве и не прикидывался, будто это дело ему по душе, и тем не менее служил у тестя надсмотрщиком и передавал работникам распоряжения старика, правда, не более осмысленно, чем диктофон, но зато как нельзя лучше ладил со всяким, кто не был так же остер на язык, как он, и даже заставлял повиноваться себе, и, в сущности, негры-батраки уважали его скорее за веселый, хоть и неуравновешенный нрав и славу удачливого игрока, чем за то, что он хозяйский зять и вдобавок отлично стреляет из револьвера. Он даже стал домоседом и забросил покер. А в скором времени никто не мог сказать с уверенностью, кто из них двоих придумал торговать скотом, он или его тесть. Во всяком случае, не прошло и года, как он, сам

став к этому времени отцом, начал скупать скот и каждые два-три месяца гонял его гуртами на станцию, а оттуда по железной дороге отправлял в Мемфис. Так продолжалось десять лет, а потом тесть умер, завещав все имущество внуку. Вскоре после этого и Маккэррон отправился в свою последнюю поездку. Через два дня один из гуртовщиков прискакал и разбудил его жену. Маккэррона нашли мертвым, и никто так и не узнал подробностей его смерти. Видимо, его застрелили в игорном доме. Жена, оставив девятилетнего сына на попечение негров-слуг, поехала в простом фургоне за телом мужа, привезла его домой и похоронила на холме, поросшем дубами и кедрами, рядом со своими родителями. А вскоре по округе пополз слух, который продержался день или два, - о том, что его застрелила женщина. Но люди поговорили и перестали; они сказали друг другу: "Так вот, стало быть, что он делал все это время", - и сохранилась только легенда о деньгах и драгоценностях, которые он выигрывал целых десять лет, привозил ночью домой и с помощью жены замуровывал где-то в печной трубе.

Его сын Хоук в двадцать три года выглядел старше своих лет. Лицо у него было дерзкое, красивое, самоуверенное, как у отца. Но было в нем и какое-то бахвальство, и явная избалованность, и не столько заносчивость, сколько нетерпимость, что совершенно не было свойственно его отцу. Недоставало ему и юмора, уравновешенности и, пожалуй, ума, которых не был лишен его отец, но, вероятно, был совершенно лишен тот человек, который мог после бегства дочери просидеть десять дней с заряженным дробовиком на коленях. В детстве у него был только один товарищ - негритенок. Пока ему не исполнилось десять, они спали в одной комнате, негритенок - на полу, на соломенном тюфяке. Негр был на год старше. Когда одному было шесть, а другому семь, он одолел негра в честной драке на кулаках. А потом, по уговору между ними, он стал платить негру из своих карманных денег за право бить его, не слишком, больно, маленьким хлыстом.

В пятнадцать лет мать отдала его в закрытую военную школу. Не по годам развитой, складный, быстро усваивавший все, что могло быть ему на пользу, он за три года сдал достаточно зачетов для поступления в колледж. Мать остановилась на сельскохозяйственном колледже. Он поехал туда и целый год проболтался в городе, не подав даже заявления, меж тем как мать думала, что он заканчивает первый курс. На следующую осень он поступил в колледж, а еще через пять месяцев ему предложили уйти оттуда без шума после скандальной истории, в которой была замешана жена одного из младших преподавателей. Он вернулся домой и два года приводил в порядок материнскую плантацию - мать теперь разводила хлопок. Все это сводилось к тому, что он каждый день скакал верхом по полям, обутый в парадные сапоги, которые остались у него после военной школы и все еще были ему впору, - первые сапоги для верховой езды, какие видели в округе.

Пять месяцев назад ему случилось проехать через Французову Балку и увидеть Юлу Уорнер. И тогда, после мемфисского торговца, прошлогодние парни, ездившие на облезлых пахотных мулах, дружно ополчились на него, защищая то, во что ни они, ни ее брат, по-видимому, не верили, хоть им и не удалось доказать свою правоту так же доблестно, как рыцарям в старину. Двое или трое разведчиков прятались где-нибудь около Уорнеровой загородки и ждали, пока тронется коляска, чтобы выследить, какой дорогой она поедет. Они ехали следом или обгоняли ее и, запасшись кувшином сивушного виски, поджидали там, где шаркали ноги и визжали скрипки, а потом снова провожали коляску до дому или почти до дому - долгий путь в лунную или безлунную ночь, через спящие поля, вожжи накручены на кнутовище, воткнутое в гнездо у подножки, и лошадь, предоставленная самой себе, мягко ступает по бархатистой пыли, осторожно спускается в ручей, останавливается, и, не слыша окрика, пьет, погрузив морду в воду, и дует в нее, дробя отражение звезд, поднимает морду, с которой стекают капли, а потом снова пьет или, может, просто дует в воду, как все лошади, когда напьются. И нет ни понуканий, ни движения вожжей ничто не понуждает ее двинуться дальше; и она все стоит - долго, долго, долго. Однажды ночью они на ходу атаковали коляску из придорожной тени, но обратились в бегство под ударами кнута, потому что обдуманного плана у них не было, их швырнула вперед стихийная волна ярости и тоски. А еще через

неделю, когда лошадь с пролеткой стояла около Уорнеровой загородки, они вдруг истошно завопили и загремели кастрюлями и сковородками за углом темной веранды, и Маккэррон тут же спокойно вышел к ним, только не с крыльца, а из-под тех деревьев, где висел деревянный гамак Уорнера, окликнул двоих или троих по имени, и обругал их лениво и непринужденно, и предложил, пусть двое из них выйдут потолковать с ним на дорогу. Они видели револьвер в его руке, прижатой к бедру.

Тогда они послали ему предупреждение по всей форме. Они могли бы рассказать обо всем ее брату, но не сделали этого, и не потому, что он вернее всего отколотил бы самих доносчиков. Как и Лэбоув, они были бы только рады этому, они приняли бы это с восторгом. Как и для Лэбоува, для них это была бы, по крайней мере, та же самая живая плоть, то же жаркое тело, под их свирепыми ударами оно покрылось бы синяками, ранами, истекло кровью - а именно этого, как и Лэбоув, они теперь жаждали, сознательно или бессознательно. Нет, они не могли рассказать все брату потому, что тогда ярость их излилась бы на орудие их мести, а не на самого обидчика; а они хотели встретить того, кто нанес им страшное, смертельное оскорбление, надев боксерские перчатки. Так что они сочинили предупреждение по всей форме, подписались и послали его Маккэррону. Ночью один из них поехал за двенадцать миль, к дому его матери, и повесил записку на дверь. Назавтра негр Маккэррона, теперь уже тоже взрослый мужчина, развез пять отдельных ответов и сумел унести ноги от всех пятерых получателей, - голова у него, правда, была в крови, но рана оказалась не опасной.

Но Маккэррон водил их за нос еще целую неделю. Они пробовали подстеречь его одного в пролетке, либо по дороге к Уорнерам, либо на обратном пути. Но его лошадь была слишком резва, их дохлым пахотным мулам нипочем было за ней не угнаться, а вздумай они остановить пролетку на ходу, Маккэррон, они знали это по опыту, затоптал бы их лошадью, стоя в пролетке, весело скаля крупные зубы и люто нахлестывая кнутом. К тому же у него был револьвер, и они уже довольно наслушались рассказов о нем, чтобы убедиться, что с тех пор, как ему исполнился двадцать один год, он никогда не ходит без оружия. И потом он еще не свел счеты с теми двумя, что избили его посланца-негра.

Так что им пришлось устроить засаду у брода, когда он ехал в пролетке с Юлой, и лошадь остановилась напиться. Никто потом не знал толком, что там произошло. Неподалеку от брода стоял дом, но на этот раз не было ни криков, ни воплей, только утром у четверых парней из пяти оказались выбитые зубы, ссадины и раны. Пятый, один из тех, что избили негра, все еще лежал без памяти в ближнем доме. Кто-то нашел на земле кнутовище. На нем запеклась кровь и налипли волосы, и только через много лет один из них рассказал, что кнутом орудовала сама девушка, она выскочила из коляски и кнутовищем обратила в бегство троих, пока ее дружок рукоятью револьвера отбивался от фургонного тормоза и кастета, которыми были вооружены остальные двое. Вот и все, что удалось узнать, причем пролетка подъехала к дому Уорнера без особого опоздания. Билл Уорнер, который в ночной рубашке сидел на кухне и ел холодный пирог с персиками, запивая пахтаньем, слышал, как они шли от ворот и поднимались на веранду, тихо разговаривая, перешептываясь, как она всегда перешептывалась с молодыми людьми, по мнению отца - о каких-нибудь пустяках, потом вошли в дом, в прихожую, а потом в дверь кухни. Уорнер поднял голову и увидел дерзкое, красивое лицо, крепкий, дружелюбный оскал зубов, который можно было счесть улыбкой, хоть и не слишком почтительной, распухший глаз, длинный рубец на подбородке, руку, плетью повисшую вдоль тела.

- Он обо что-то стукнулся, - сказала дочь.

- Вижу, - сказал Уорнер. - Только похоже, что и та штука, о которую он стукнулся, тоже здорово его саданула.

- Ему надо умыться. Полотенце там, наверху, - сказала она, поворачиваясь; в кухню, на свет, она не вышла. - Я сейчас.

Уорнер слышал, как она поднимается к себе и ходит по комнате у них над головой, но больше не обращал на нее внимания. Он поглядел на Маккэррона и увидел, что оскаленные зубы скорее скрежещут, чем улыбаются, а лоб покрыт испариной. Потом он и на это тоже не обращал внимания.

- Стало быть, ты обо что-то стукнулся, - сказал он. - Пиджак можешь снять?

- Могу, - сказал тот. - Ловил свою лошадь и зашибся. Об какое-то полено.

- Поделом тебе, ежели держишь хорошую лошадь в дровяном сарае, - сказал Уорнер. - У тебя рука сломана.

- Ладно, - сказал Маккэррон. - Вы ведь ветеринар, правда? А человек не так уж сильно отличается от мула.

- Что верно, то верно, - сказал Уорнер. - Только ума у человека поменьше.

Вошла дочь. Уорнер слышал, как она спускалась по лестнице, но не заметил, что на ней теперь другое платье, не то, в котором она уезжала из дому.

- Принеси мой кувшин с виски, - сказал он.

Кувшин всегда стоял у него под кроватью. Она поднялась наверх и принесла его. Теперь Маккэррон сидел, положив обнаженную по плечо руку на кухонный стол.

Откинувшись на спинку стула, он один раз потерял сознание, но ненадолго. А потом он только стискивал зубы и потел, пока Уорнер не сделал все, что надо.

- Дай ему еще глоток и ступай разбуди Сэма - пусть отвезет его домой, сказал Уорнер.

Но Маккэррон не хотел ни чтобы его везли домой, ни чтобы уложили в постель. Он в третий раз приложился к кувшину и вместе с девушкой снова вышел на веранду, а Уорнер доел пирог, допил пахтанье и, захватив кувшин, отправился наверх спать.

Никакое предчувствие не шевельнулось в тот вечер ни у ее отца, ни даже у брата, который вот уже пять или шесть лет только одним жил и дышал, одной этой мыслью, не родившейся из подозрения, но сразу выросшей в уверенность, тем более непоколебимую, что как он ни старался, а доказать ничего не мог. Уорнер сам выпил виски, задвинул кувшин под кровать, где кружком в пыли вот уже многие годы было обозначено его место, и заснул. Он привычно, без храпа погрузился в тихий, по-детски безмятежный сон и не слышал, как дочь поднялась по лестнице, чтобы снять платье, которое на этот раз было в ее собственной крови. Лошадь с коляской уехала, исчезла, хотя Маккэррон снова потерял сознание, прежде чем добрался до дому. А наутро врач обнаружил, что сломанная кость была верно вправлена и лубок наложен хорошо, но затем кость опять, сместилась и концы надвинулись один на другой, так что пришлось вправлять ее еще раз. А Уорнер этого не знал - ее отец, этот подтянутый, приятный в обращении, хитрый и рассудительный человек, спал в своей постели над кувшином с виски в двенадцати милях оттуда, и какие бы ошибки он ни допускал, пробуя читать в женском сердце вообще и в сердце дочери в частности, в конце концов его подвело одно - он и представить себе не мог, что она не только попытается помочь, но, можно сказать, сама, своей рукой поддержит раненого.

А когда через три месяца, в один прекрасный день, щегольские пролетки и резвые нарядные лошади не появились больше около Уорнеровой загородки, сам Билл Уорнер заметил это последним. Пролетки вместе со своими хозяевами исчезли в одну ночь не только из Французовой Балки, но и вообще из округи. Хотя один и из троих точно знал, кто виноват, а двое других знали двоих невиноватых, все трое сбежали, тайком, глухими проселками, наспех побросав свои пожитки в седельные вьюки или схватив по чемодану, чтобы не терять времени. Один уехал, боясь того, что, как он думал, сделают с ним Уорнеры. Двое других удрали, зная, что Уорнеры ничего им не сделают. Уорнеры, рассудили они, теперь уже сами знают из верного источника, от самой девушки, что двое ни в чем не повинны и, стало быть, оба они будут сброшены за борт, в пустое, мертвое вчера, в пучину горького сожаления и вечной тоски, вместе с теми бессильными юнцами, которые преследовали их так же, как и того, счастливца, и окружили их, ни за что ни про что, ореолом успеха. Сбежав вместе с ним, они за вину, которой на них не было, хотели стяжать последнюю, безнадежную награду - сладостный стыд насилия, которого они не совершили.

Так что, когда по округе из дома в дом пополз слух, что Маккэррон и двое других исчезли и что Юлу Уорнер постигло то, что всякий другой на ее месте считал бы несчастьем, последним узнал об этом ее отец - человек, который в самом понятии женской чистоты бодро, здраво и непреклонно отказывался видеть что-либо иное, кроме басни для обмана молодых

супругов, как некоторые отказываются верить в свободный тариф или в действенность молитв; человек, который, как было отлично известно, и прежде и теперь тратил немало времени на то, чтобы доказать самому себе свою правоту, и до сих пор состоял в связи с женой одного из своих арендаторов, женщиной, которой было далеко за сорок. Он ей заявил напрямик, что слишком стар, чтобы кобелять по ночам как в собственном, так и в чужом доме. Поэтому они встречались днем, в рощице у ручья близ ее дома, откуда она отлучалась, будто бы искать куриные гнезда, и в этом лесном убежище, принадлежавшем Пану, как рассказывал четырнадцатилетний мальчишка, который шпионил за ними, Уорнер даже шляпы не снимал. Словом, он узнал обо всем последним: он спал, разувшись, в своем гамаке, и когда властный голос жены поднял его, он, едва стряхнув сон, тощий, нескладный, в одних носках, пробежал через двор и ворвался в прихожую, где миссис Уорнер в просторном старом капоте и кружевном чепце, в которых она обыкновенно дремала после обеда, встретила его гневным криком, покрывая рев сына, доносившийся сверху, из комнаты дочери:

- У Юлы будет ребенок! Ступай наверх и дай этой дуре по башке!

- Что будет? - переспросил Уорнер. Но он не остановился. Он бросился вверх по лестнице, миссис Уорнер за ним, и вбежал в комнату, откуда его дочь не выходила вот уже день или два, даже к столу, а сам он, если бы вообще обратил на это внимание, решил бы, что у нее просто желудок расстроился от обжорства: шестнадцать лет ее нутро все выдерживало и выносило, а теперь вот взяло и взбунтовалось. Она сидела на стуле у окна, простоволосая, в ярком халате искусственного шелка, выписанном недавно по почте из Чикаго. Брат тряс ее за плечо и кричал:

- Который из них? Говори, который!

- Хватит меня тормошить, - сказала она. - Я нездорова.

Уорнер и здесь не остановился ни на мгновение. Он вклинился между ними и оттолкнул Джоди.

- Оставь ее в покое, - сказал он. - Убирайся отсюда.

Джоди обернул к Уорнеру свое побагровевшее лицо.

- Оставить в покое? - сказал он. Он засмеялся, свирепо, зловеще, глаза сто выкатились и побелели от бешенства. - В том-то все и дело! Слишком долго, черт возьми, ее оставляли в покое! Я старался что-нибудь сделать. Я знал, что из этого выйдет. Я предупреждал вас обоих еще пять лет назад. Но куда там! Вы ведь лучше знаете. А теперь вот вам - получайте! Видите, что случилось! Но я заставлю ее говорить. Богом клянусь, я допытаюсь, кто он. И тогда...

- Ладно, ладно, - сказал Уорнер. - А что, собственно, случилось?

Почти на целую минуту Джоди словно потерял дар речи. Он страшно выпучил глаза. Казалось, ему стоит огромного труда не взорваться, не лопнуть на месте.

- И он еще спрашивает, что случилось, - прохрипел он наконец, не веря своим ушам. - Спрашивает, что случилось.

Он круто повернулся, поднял руку, словно в ярости отрекаясь от всего, и, отскочив от Уорнера, налетел на миссис Уорнер, которая в этот миг появилась в дверях, прижав руки к рыхлой волнующейся груди, и уже открыла рот, чтобы заговорить, как только ей удастся перевести дух. Джоди весил двести фунтов, миссис Уорнер, хоть и была ростом чуть повыше пяти футов, почти столько же. И все же он как-то ухитрился протиснуться мимо нее в дверь, вырвавшись у нее из рук, а Уорнер угрем проскользнул вслед.

- Держи его, дурака! - крикнула она, пускаясь вдогонку, когда Уорнер и Джоди загрохотали по лестнице и влетели в комнату на первом этаже, которую Уорнер все еще называл своим кабинетом, хотя последние два года здесь спал приказчик, Сноупс. Уорнер настиг Джоди у громоздкого орехового бюро (ему теперь цены не было, хотя Уорнер этого и не знал), принадлежавшего еще деду Уорнера, - он шарил в выдвинутом ящике, ища револьвер среди груды сухих коробочек хлопка, семян, пряжек от сбруи, патронов и старых бумаг. В окно за конторкой было видно, как чернокожая кухарка бежит через задний двор к своей лачуге, прикрыв голову передником, - все негритянки так делают, когда между белыми начинается свара. За ней бежал Сэм, но не так быстро, оглядываясь на дом, и Уорнер с Джоди

оба увидели его одновременно.

- Сэм! Седлай лошадь! - заревел Джоди.

- Эй, Сэм! - крикнул Уорнер. Оба схватились за револьвер, четыре руки намертво сцепились в открытом ящике. - Не смей трогать лошадь! Вернись сию же секунду!

В прихожей послышался тяжелый топот миссис Уорнер. Они выдернули револьвер из ящика, не разнимая сомкнутых, сплетенных рук, попятились и увидели, что она стоит в дверях, схватившись за грудь, и лицо ее, всегда веселое и самоуверенное, налилось кровью и перекосилось от гнева.

- Держи его, вот я его сейчас поленом, - проговорила она, задыхаясь. Я ему задам. Я им обоим задам. Та нагуляла брюхо, этот орет и ругается на весь дом, а я только что прилегла вздремнуть!

- Ладно, - сказал Уорнер. - Неси полено.

Она вышла; казалось, ее вынесло за дверь волной ее собственной ярости. Уорнер вырвал револьвер и отбросил Джоди к конторке (он был еще очень сильный, жилистый и удивительно проворный для своих шестидесяти лет, но, главное, он сохранял холодную рассудительность, тогда как сыном владело только слепое бешенство), подошел к двери, швырнул револьвер в прихожую,

- Что это ты задумал? - сказал он.

- Ничего! - закричал Джоди. - Тебе, может, и наплевать на свое доброе имя, а мне нет! Я должен высоко держать голову перед людьми, а ты как хочешь!

- Ха, - сказал Уорнер. - Ну и держи на здоровье. Ты уж так голову задрал, что нагнуться шнурок завязать - и то не можешь.

Джоди глядел на него, задыхаясь.

- Богом клянусь, - сказал он, - даже если из нее

ничего не вытянуть, я сыщу кого-нибудь поразговорчивей. Я их всех троих сыщу! Я...

- А чего ради? Из любопытства, что ли? Хочешь узнать, кто ее тискал, а кто нет?

Джоди опять надолго онемел. Он стоял у конторки, громадный, ни дать ни взять разъяренный бык, бессильный, глубоко уязвленный, искренне страдая не от оскорбления уорнеровского величества, а от жестокой обиды. В прихожей снова послышался тяжелый топот необутых ног миссис Уорнер; она принялась колотить в дверь поленом.

- Эй, Билл! - крикнула она. - Отвори!

- Значит, ты не сделаешь ничего? - сказал Джоди. - Ровно ничего?

- А что тут делать? - сказал Уорнер. - С кем сводить счеты? Сам знаешь, эти треклятые кобели теперь уже на полдороге в Техас. А ты сам где был бы на их месте? Или я даже, ежели б у меня в мои годы достало ловкости лазить по крышам и забираться туда, куда придет охота? Ей-богу, я-то знаю, что на их месте и ты и я были бы уже далеко и все еще гнали бы лошадь, не жалея кнута. - Он подошел к двери и отпер ее, но миссис Уорнер все колотила поленом так сердито и громко, что, видимо, не слыхала, как щелкнул в замке ключ. - А теперь поди в конюшню и посиди там, покуда не остынешь. Вели Сэму накопать тебе червей и езжай поуди рыбу. Если уж нашей семье надо думать о том, чтобы высоко держать голову, предоставь это мне. - Он повернул ручку двери. Тьфу, дьявольщина! Сколько гама и крика из-за того, что одна блудливая сука наконец попалась! А ты чего ждал - что она всю жизнь знай водичку будет цедить через это самое место?

Все это случилось в субботу. А в понедельник утром семеро мужчин, сидевшие на галерее, увидели, как приказчик Сноупс идет пешком по дороге от дома Уорнера, а за ним еще какой-то человек с чемоданом в руке. На приказчике была не только серая суконная кепка и крошечный галстук, но и пиджак, и тут они увидели, что в руках у его спутника тот самый плетеный чемодан, который Сноупс как-то вечером, год назад, принес новехоньким в дом Уорнера и там оставил. И тогда они стали разглядывать человека, который его нес. Он шел за приказчиком по пятам, как собака, и был пониже ростом, но похож на него как две капли воды. Казалось, по тот же человек, только видимый издалека. На первый взгляд даже лица были одинаковые, и когда оба поднялись на крыльцо, все увидели, что второй человек и впрямь

чистокровный Сноупс, с теми не сразу уловимыми различиями, которые не выходят за пределы родового облика, ставшего уже привычным, - у этого второго лицо было не то чтобы меньше, но как бы мельче первого, все черты собраны, стянуты к середине, но не изнутри, не по собственной воле, а скорее извне, будто их сжали одним быстрым движением посторонней руки; лицо было живое, смышленое и не насмешливое, а скорее насквозь, напропалую веселое, с блестящими, настороженными, блудливыми глазками, как у белки или бурундука.

Они поднялись на крыльцо и прошли со своим чемоданом через галерею. Сноупс, не переставая жевать, небрежно кивнул, как это делал сам Билл Уорнер, и они вошли в лавку. Немного погодя из кузницы напротив вышли еще трое, так что через час, когда подъехала коляска Уорнера, неподалеку от галереи собралось человек десять. Лошадьми правил негр Сэм. Рядом с ним, на переднем сиденье, стоял здоровенный, потрепанный саквояж, с которым мистер и миссис Уорнер ездили на медовый месяц в Сент-Луис; и с тех пор все Уорнеры, отправляясь в путь, брали его с собой, даже дочери, выходя замуж, а потом отсылали назад пустым, и этот чемодан казался символом и формальным подтверждением того, что медовый месяц кончился и надо возвращаться с небес на землю; он был как бы прощальным приветом щедрой, безудержной страсти, подобно тому как печатные свадебные приглашения были символом зари, полной надежд. Уорнер, сидевший сзади рядом с дочерью, приветствовал всех коротко, равнодушно, невнятно. Он не вылез из коляски, а люди на галерее взглянули на красивую, неподвижную маску под праздничной шляпой с вуалью, на праздничное платье поверх которого было накинуто даже зимнее пальто, и отвернулись и, не глядя, увидели, как Сноупс выходит из лавки, неся плетеный чемодан, и садится вперед, рядом с саквояжем. Коляска тронулась. Сноупс повернул голову

На другое утро Талл и Букрайт вернулись из Джефферсонн, со станции, куда они гоняли очередной гурт скота. И к вечеру вся округа знала, что было дальше, - в понедельник Уорнер, его дочь и приказчик побывали в Банке и Уорнер взял со счета изрядную сумму, - Талл говорил, что триста долларов. Букрайт говорил, что, стало быть, полтораста, потому что Уорнер даже самому себе кредитные бумаги учитывает из пятидесяти процентов. Потом они поехали к нотариусу, и усадьба Старого Француза была переписана на имя Флема и Юлы Уорнер-Сноупс. Кабинет мирового судьи был в том же здании, и там они зарегистрировали брак.

Талл рассказывал, недоуменно моргая. Потом, откашлявшись, сказал:

- Сразу после регистрации невеста с женихом уехали в Техас.

- Всего, выходит, их уехало пятеро, - сказал человек по фамилии Армстид. - Но в Техасе, говорят, места много.

- Да, места теперь надо побольше, - сказал Букрайт. - Вы хотели сказать - шестеро.

Талл снова кашлянул. Он все так же помаргивал.

- Мистер Уорнер и за это сам заплатил, - сказал он.

- За что за это? - сказал Армстид.

- За регистрацию, - сказал Талл.

2

Она хорошо его знала. Она знала его настолько хорошо, что ей не надо было даже на него глядеть. Она знала его с четырнадцати лет, с той поры, когда люди заговорили, что он "обошел" ее брата. Ей этого не говорили. Она бы и не услышала. Ей было все равно. Она видела его чуть не каждый день, потому что на ее пятнадцатое лето он начал ходить к ним в дом, обычно после ужина, и сидел с отцом на веранде, слушал и помалкивал, метко сплевывая табачную жвачку за перила. По воскресеньям он иногда приходил после обеда и присаживался на корточки у дерева подле гамака, где лежал, разувшись, ее отец, и все так же помалкивал, все так же жевал табак; она видела его со своего места на веранде, окруженная алчной толпой воскресных кавалеров того года. К этому времени она научилась узнавать беззвучное шарканье его резиновых тапочек по полу веранды; сначала, даже не поднимая, не поворачивая головы к дверям, она кричала отцу: "Папа, этот человек пришел!", а потом просто "он": "Папа, опять он"; впрочем, иной раз она говорила "Мистер Сноупс" точно таким же тоном, каким

сказала бы "Мистер Пес".

На следующее лето, шестнадцатое в ее жизни, она не только на него не глядела, но просто не видела его, потому что теперь он жил у них в доме, ел за их столом и ездил на верховой лошади ее брата, занимаясь бесконечными делами - своими и ее отца. Он проходил мимо нее в прихожей, где она стояла, уже одетая и готовая сесть в коляску, ждавшую у ворот, пока брат грубой и тяжелой рукой проверял, есть ли на ней корсет, и не видела его. Она встречалась с ним за столом два раза в день, потому что завтракала она одна, на кухне, совсем поздно, когда матери удавалось наконец поднять ее с постели, причем главное было ее разбудить, а вниз, к столу, она уже шла охотно; потом ее гнали из кухни - негритянка или мать, и она уходила, унося последнее недоеденное печенье в руке, с неумытым лицом, которое, в пышном небрежном уборе распущенных волос, над неряшливым, не всегда чистым платьем, кое-как натянутым со сна перед самым завтраком, имело такой вид, словно полицейская облава только что вспугнула ее с ложа преступной любви, и сталкивалась с ним в прихожей, когда он возвращался к полудню, и всегда проходила мимо, как будто он был пустым местом. И вот однажды на нее напялили воскресное платье, сложили остальные ее вещи - яркие халаты и ночные сорочки, выписанные из города по почте, дешевые непрочные туфли, весь ее туалет в огромный саквояж, посадили ее в коляску, отвезли в город и выдали замуж - за него.

Рэтлиф тоже был в Джефферсоне в тот понедельник. Он увидел, как они втроем идут через площадь от банка к зданию суда, и пошел следом. Пройдя мимо дверей канцелярии, он увидел, что они там; он мог бы подождать немного, тогда он увидел бы, как они пойдут оттуда к мировому судье, стал бы свидетелем бракосочетания, но не сделал этого. Ему это было не нужно. Он уже знал, что происходит, а потому пошел прямо на станцию, прождал час до поезда и не ошибся; он увидел, как в тамбуре появились рядом плетеный чемодан и огромный саквояж, и это не казалось больше нелепым и странным; увидел за плывущим окном вагона спокойное, красивое, похожее на маску лицо под праздничной шляпой, оно глядело куда-то мимо, и это было все. Проживи он всю весну и лето на самой Французовой Балке, он и тогда узнал бы не больше: маленькая деревушка, безвестная, убогая, заброшенная однажды волею случая приняла слепое семя, изверженное расточительным олимпийцем, и даже не подозревала об этом, и смиренно зачала, и выносила, и родила; потом - ясное короткое лето, стадия сперва центростремительная, когда три пролетки, запряженные прекрасными лошадьми, чередуясь в строгом порядке, стояли у ворот или колесили по окрестным дорогам между домами, лавками у перекрестков, школами и церквами, где люди собирались, чтобы развлечься или хотя бы забыться, а потом центробежная - разом, в одну ночь, пролетки исчезли, пропали; тощий, нескладный, хитрый, безжалостный старик в бумажных носках, изумительная девушка с красивым, неподвижным, как маска, лицом, и эта жаба, это существо, едва достающее ей до плеча, они получают деньги по чеку, платят за регистрацию, садятся в поезд; легенда, которой все, как один, жаждут поверить, рожденная завистью и вековечным, неумирающим сожалением, она крадется из дома в дом, над корытами и швейными машинами, по улицам и дорогам, от фургона к верховому, а от верхового к пахарю, остановившему свой плуг в борозде, - легенда, вожделенная мечта всех мужчин на свете, мечтающих о грехе, - малолетних, только грезящих о насилии, на которое они еще не способны, немощных и увечных, потеющих в бессонных своих постелях, бессильных сотворить грех, которого они жаждут, дряхлых, оскопленных старостью, еле ползающих по земле - самые почки и цветы на венках их пожелтевших побед давно уж засыпаны прахом, канули в забвение для мира живых, как если бы их запрятали в глубине запыленных кладовых под непроницаемой степенностью коломянковых юбок каких-то чужих бабушек; легенда, таящая в себе гибельные победы и блестящие поражения; и неизвестно, что лучше - владеть этой легендой, этой мечтой и надеждой на будущее или колею судьбы бежать без оглядки от этой легенды, мечты, остающейся позади, в прошлом. Сохранилась даже одна из тех самых пролеток, Рэтлиф ее видел; ее нашли месяц-другой спустя, - она стояла пустая, с задранными кверху оглоблями, покрываясь пылью, под навесом у конюшни в нескольких милях от деревни; цыплята устроились на ней, как на насесте, загадив, исполосовав нарядный лак беловатым, как известь,

пометом, и так она стояла до нового урожая, когда у людей опять завелись деньги, и отец прежнего ее хозяина продал ее батраку-негру, и с тех пор эту пролетку несколько раз в год видели на Французовой Балке и, быть может, узнавали, и, быть может, потом, когда новый ее владелец женился, обзавелся семьей, а потом поседел, а дети его разбрелись кто куда, она потеряла блеск, и к колесам, сперва к одному, потом к другому проволокой прикрутили бочарные клепки, а потом, вместе с клепками, исчезли и сами изящные колеса, очевидно прямо на ходу замененные прочными, уже послужившими фургонными колесами, чуть поменьше прежних, отчего пролетка накренилась, и кренилась все больше и больше - это было заметно, когда она раз в три месяца проезжала через поселок, запряженная какой-нибудь костлявой, едва волочащей ноги лошадью или мулом в рваной упряжи, связанной кусками веревки и проволоки, - как будто хозяин всего десять минут назад раздобыл эту лошадь или мула где-нибудь на живодерне специально, чтобы явить миру эту лебединую песню, этот последний апофеоз, который, как ни грустно, по недооценке сил, всякий раз оказывался не последним.

Но когда Рэтлиф наконец снова направил своих крепких лошадок к Французовой Балке, Букрайт и Талл давным-давно вернулись домой и обо всем рассказали. Стоял сентябрь. Хлопок раскрылся, и белый пух летал над полями; самый воздух был пропитан его запахом. Рэтлиф проезжал плантацию за плантацией, мимо сборщиков, гнувших спины, казавшиеся неподвижными среди пены белых раскрывшихся коробочек, как сваи среди пены прибоя, и длинные, еще не полные мешки струились за ними, словно задубевшие на морозе флаги. Воздух был горяч, упруг и недвижен - последний мощный вздох уже обреченного и умирающего лета. Копыта лошадок быстро мелькали в пыли, а Рэтлиф сидел непринужденно, слегка покачиваясь в лад их бегу, свободно держа вожжи одной рукой, с бесстрастным лицом, и его непроницаемые, насмешливые, задумчивые глаза все еще видели, помнили: банк, суд, станция, спокойная красивая маска за плывущим окном, потом пустота. "Но так оно и должно быть, ведь это только тело, женское тело, - подумал он, - и, чего-чего, а этого всегда вдосталь и было и будет. Конечно, жаль, что она пропадает, и не то что за зря достается Сноупсу, а для них для всех пропала, в том числе и для меня. Да полно, так-таки уж и пропала?" - подумал он вдруг, и перед ним снова на миг всплыло это лицо, словно ожил в памяти не только тот день, но и поезд - самый поезд, который шел точно по графику, по расписанию, а теперь его больше нет, остались только крепкие вагоны и паровоз. И он снова мысленно взглянул на это лицо. Никогда в нем не было ничего рокового, а теперь и печать проклятья исчезла, ибо за ним просто-напросто таился смертный облик извечного врага всей мужской половины рода человеческого. Да, оно было прекрасно! Но разве блеск клинков и пистолетов не красит разбойника с большой дороги! И уже исчез из глаз, сгинул спокойный лик; он проплыл быстро; казалось, окно вагона отступает назад, словно и оно лишь призрачная частица в водовороте уносимых морем обломков, и вот уже остался только плетеный чемодан, крошечный галстук, непрерывно жующая челюсть... .....

Пока наконец, измаявшись, они не пришли к самому Князю Тьмы. "Государь, говорят, он ни в какую. Мы никак с ним не сладим".

"Что такое?" - заорал Князь.

"Он говорит, сделка есть сделка. Что он, дескать, заложил ее честь по чести, а теперь, дескать, пришел ее выкупать, и закон, дескать, так велит. А мы никак не можем ее найти. Все обшарили. Она была этакая, вот махонькая, и мы обошлись с ней как нельзя аккуратнее. Запечатали в несгораемый спичечный коробок, а коробок положили в особое отделение. Но когда мы его отперли, это самое отделение, ее там не оказалось. И коробок на месте, и печать цела. А внутри ничего, только в одном уголке пятнышко грязи засохло. А он пришел ее выкупать. Как же нам обречь его на вечную муку без души?"

"Проклятье! - заорал Князь. - Дайте ему одну из тех, запасных. Разве мало душ является сюда что ни день, колотят в дверь, вопят, как тысяча чертей, чтоб их впустили, и даже письма приносят от каких-то членов конгресса, о которых мы, правда, никогда и слыхом не слыхивали? Вот и дайте ему одну из них".

"Мы уж пробовали, говорят. Да он ни в какую. Говорит, не надо ему ничего, кроме законного процента, который ему причитается согласно финансовому праву и гражданским законам, что черным по белому пропечатаны. Говорит, что пришел выполнить свои обязательства, и, конечно, уверен, что уж кто-кто, а вы свои выполните".

"Тогда скажите ему, пусть идет еще куда-нибудь. Скажите, что ему адрес дали неправильный. Что здесь за ним никаких долгов не числится. Скажите ему, что его вексель утерян, а может, его и вообще не было. Скажите, у нас тут случился потоп или даже заморозки".

"Не уйдет он без своей..."

"Гоните его в шею! Вышвырните вон!"

"Как? - говорят они. - Ведь закон на его стороне".

"Ого! - говорит Князь. - Доморощенный адвокат, значит. Понятно. Ну, хорошо, говорит. Уладьте это сами. Меня-то зачем беспокоить?" И он опять уселся, поднял свой стакан и сдул с него пламя, будто их тут и не было. А они все стоят.

"Что уладить?" - говорят.

"Да подмажьте его! - заорал Князь. - Подмажьте! Вы же мне сами сказали, что он законы назубок знает, сказали или нет? Вы что ж думаете, у него есть расписка, как положено?"

"Мы уж пробовали, говорят. Да он не берет".

Тут Князь поглядел на них и давай их срамить, а на язык он был остер и возражений не терпел и так обернул дело, что они, мол, думают, что "подмазать" - значит официально вручить деньги через банк да, может, еще сходить в сенат за разрешением, а они стоят и молча все это глотают, потому что ведь он-то Князь. Только был среди них один, который там служил еще во времена Князева папаши. Он, бывало, качал Князя на коленях, когда тот был еще мальчишкой, даже сделал ему маленькие вилы и научил ими пользоваться, тренируя его на китаёзах, итальяшках и полинезийцах, пока у того руки не окрепли настолько, что его допустили над белыми людьми орудовать. Ему это не понравилось, и он поднял голову, и поглядел на Князя, и говорит:

"Ваш батюшка еще почище обмишулился, и то его никто не попрекал. Или, может, большому кораблю большое плаванье..."

"А вас, значит, меньшой попрекает, так?" - огрызнулся Князь. Но и ему вспомнились минувшие дни, когда старик ухмылялся радостно и гордо, глядя на его неуклюжие мальчишеские проделки с отходами лавы и серы и всякое такое, а вечером, бывало, не нахвалится старому Князю: так вот, мол, провел парнишка день, да этакую выдумал для несчастного итальяшки или китаёза штуку, до какой и взрослые-то еще не додумались, Тут он извинился, успокоил старика и говорит.

"Что вы ему предлагали?"

"Наслаждения".

"Ну?.."

"У него свои есть. Он говорит, что для человека, который только жует, всякая плевательница хороша".

"Что еще?"

"Суетные радости".

"Ну?.."

"Тоже свои. Притащил с собой в чемодане целую кучу - на заказ сделаны, асбестовые, с тугоплавкой застежкой".

"Так чего ж тогда он хочет? - заорал Князь. - Чего он хочет? Рая, что ли?"

Тут старик поднял на него глаза, и Князь подумал было: "Да, не простил он мне той насмешки". Но оказалось совсем другое.

"Нет, - говорит старик. - Он хочет ада".

И на миг стало тихо в великолепной, царственной зале, увешанной гордыми, изодранными в битвах дымами от костров древних мучеников, ни звука не было слышно, кроме шипенья сковородок и неумолкающих приглушенных воплей истинных христиан. Но

Князь был плоть от плоти и кровь от крови своего папаши. В мгновение ока от праздного сибаритства и от всяких там смешков не осталось и следа; словно сам старый Князь собственной персоной стоял перед ними.

"Приведите его ко мне, говорит. И оставьте нас вдвоем".

И вот они привели его, и вышли, и затворили дверь. Его платье еще слегка дымилось, хотя он хорошенько отряхнулся, перед тем как войти. Он подошел к трону, жуя, с плетеным чемоданом в руках.

"Ну?" - сказал Князь.

Он повернул голову и сплюнул, и плевок сразу сгорел на полу, взвился кверху маленьким синим дымком,

"Я, говорит, насчет этой самой души".

"Да, мне доложили, - говорит Князь. - Но только у тебя нет души".

"Моя, что ли, это вина?" - говорит он.

"А моя, что ли? - говорит Князь. - Ты думаешь, я тебя создал?"

"А кто ж еще?" - говорит.

И на этом он поймал Князя, и Князь это понял. И вот Князь решил подмазать его сам. Он перечислил все искушения, наслаждения, блаженства, и речь его звучала слаще музыки, когда он их расписывал в подробностях. Но тот даже жевать не перестал - знай себе стоит и чемодан из рук не выпускает. Тогда Князь говорит: "Гляди сюда", - и указал на стену, и тут перед ним все стало проходить, он увидел все по порядку, и себя самого, как он это делает, даже такое, до чего он сам никогда бы и не додумался, и наконец все кончилось, даже самое немыслимое. А он только повернул голову и снова плюнул на пол табачную жвачку, и Князь откинулся на спинку трона, разъяренный и сбитый с толку.

"Так чего же ты хочешь? - говорит Князь. - Чего ты хочешь? Рая?"

"Об этом я как-то не думал, - говорит он. - А разве вы и там распоряжаетесь?"

"А кто же еще?" - говорит Князь. И Князь понял, что теперь он его поймал. Собственно-то, Князь с самого начала знал, что поймал его, - с той самой минуты, когда они пришли и сказали, что, мол, он явился и все законы назубок знает. Князь даже перегнулся через подлокотник и ударил в пожарный колокол, чтобы старик пришел поглядеть и послушать, как все получится, а потом снова откинулся на спинку трона и поглядел на того, что стоял внизу со своим плетеным чемоданом. И говорит:

"Ты допускаешь и даже настаиваешь, что тебя создал я. А раз так, значит, твоя душа была моей с самого начала. И значит, когда ты отдал ее в виде обеспечения под этот самый вексель, ты отдал то, что тебе не принадлежит, и тем самым принял на себя ответственность за..."

"А я против этого и не спорю", - говорит он.

"...преступное деяние. Бери, стало быть, свой чемодан, и...- говорит Князь. - А? - вдруг говорит он. - Что ты сказал?"

"Я против этого и не спорю", - говорит тот.

"Против чего? - говорит Князь. - Против чего ты не споришь?"

Но только слов этих уже не слышно, и Князь наклоняется вперед, и вот он уже чувствует раскаленный пол под своими коленями, чувствует, что хватает самого себя за глотку и тянет и рвет, чтобы исторгнуть оттуда слова, словно роет картошку в мерзлой земле. "Кто ты такой?" - говорит он, задыхаясь, хватая ртом воздух, и таращит глаза на того, а тот уже сидит на троне, со своим плетеным чемоданом, и над ним яркие языки пламени, будто корона. "Бери рай! - вопит Князь. - Бери его! Бери!" И вверху ревет ветер, а внизу ревет мрак, и Князь скоблит когтями по полу, царапается, скребется у запертой двери, вопит... .....

КНИГА ТРЕТЬЯ

ДОЛГОЕ ЛЕТО

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Остановив фургончик, Рэтлиф глядел, как Уорнер выехал со двора на своей старой белой

кобыле, которая свернула по улице вдоль загородки, и уже издали было слышно, как в брюхе у нее екает, раскатисто и гулко, словно орган гудит.

"Значит, он снова верхом, - подумал Рэтлиф. - Пришлось, видно, раскорячиться, не пешком же ходить. Значит, и это у него отняли. Мало того что он сделал дарственную на землю, уплатил два доллара за регистрацию, купил билеты в Техас и наличные денежки выложил, так нет же, пришлось и новую коляску отдать вместе с кучером, только бы как-нибудь сплавить из лавки и из дому этот галстук бабочкой".

Лошадь, как видно, сама остановилась, поравнявшись с фургончиком, где сидел Рэтлиф, скромный, сдержанный и грустный, словно приехал выразить соболезнование в дом покойника.

- Какое несчастье, - тихо сказал он.

Он не хотел уязвить Уорнера. Он не думал о позоре его дочери, да и вообще о ней не думал. Он говорил о земле, об усадьбе Старого Француза. Никогда, ни на один миг он не мог поверить, что усадьба ничего не стоит. Он поверил бы этому, достанься она кому-нибудь другому. Но раз уж сам Уорнер купил ее и оставил за собой, даже не пытаясь продать или еще как-нибудь сбыть с рук, - значит, тут что-то есть. Он не допускал и мысли, что Уорнер может когда-нибудь попасть впросак: если он что купил, значит, дал дешевле, чем всякий другой, а если не продает, значит, знает своему добру настоящую цену. На что Уорнеру эта усадьба, Рэтлиф не понимал, но Уорнер ее купил и не хотел продавать, и этого было довольно. И теперь, когда Уорнер наконец расстался с ней, Рэтлиф был убежден, что он взял за нее настоящую цену, ради которой стоило ждать двадцать лет, или, во всяком случае, цену немалую, пусть даже не деньгами. А принимая в соображение, кому Уорнер отдал усадьбу, Рэтлиф приходил к выводу, что он сделал это не ради выгоды, а поневоле.

Уорнер словно прочел его мысли. Сидя на лошади, он хмуро супил рыжеватые брови и блестящими колючими глазками исподлобья глядел на Рэтлифа, который и по духу, и по складу ума, и с виду годился ему в сыновья скорее, чем любой из собственных его отпрысков.

- Значит, по-вашему, одной печенкой этому коту глотку не заткнуть? сказал он.

- Разве что внутри будет веревочка с узелком запрятана.

- Какая такая веревочка?

- Не знаю, - сказал Рэтлиф.

- Ха! - сказал Уорнер. - Нам не по пути?

- Не думаю, - сказал Рэтлиф. - Я отсюда прямо в лавку. "Разве только ему тоже взбрела охота посидеть там, как бывало", - подумал он.

- И я туда же, - сказал Уорнер. - Разбирать тяжбу, будь она трижды неладна. Между этим окаянным Джеком Хьюстоном и другим, как бишь его... Минком. Из-за его паршивой коровы, чтоб ей околеть.

- Так, значит, Хьюстон подал в суд? - сказал Рэтлиф. - Неужто Хьюстон?

- Да нет же. Просто Хьюстон держал корову у себя. Продержал ее все прошлое лето, а Сноупс помалкивал, ну Хьюстон кормил корову всю зиму, и нынешней весной и летом она тоже паслась на Хыостоновом выгоне. А на прошлой неделе этот Сноупс вдруг надумал забрать корову, не знаю уж зачем, видно, решил ее зарезать. Взял веревку и пошел на выгон. Стал ловить свою корову, а Хьюстон увидел это и остановил его. Говорит, пришлось даже револьвером пригрозить. А Сноупс увидел револьвер и говорит: "Стреляй, чего же ты. Знаешь ведь, что я-то безоружный". И тогда Хьюстон ему на это: "Ладно, черт с тобой, давай положим револьвер на столб загородки, сами встанем по разные стороны у ближних столбов, сосчитаем до трех, кто вперед добежит, тому и стрелять".

- Отчего ж они так не сделали? - спросил Рэтлиф.

- Ха, - хмыкнул Уорнер. - Ладно, поехали. Мне бы поскорей отвязаться. Дел и так по горло.

- Езжайте, - сказал Рэтлиф. - А я поплетусь потихоньку. Мне ведь тяжбу из-за коровы не разбирать.

И старая кобыла (всегда такая чистая, словно только что из химчистки и как будто даже

бензином пахнет), все так же екая селезенкой, двинулась дальше, вдоль обветшалой, проломанной во многих местах загородки. Рэтлиф, не трогаясь с места, сидел в фургончике, провожая взглядом кобылу и сухопарого, нескладного седока, который, не меняя седла, ездил на ней двадцать пять лет, с трехлетним перерывом, когда купил коляску, и думая о том, что, попробуй теперь белая кобыла или его лошади, как это делают собаки, обнюхать загородку, они не учуют запаха тех пролеток с желтыми колесами, думая: "И все двуногие кобели со всей округи, от тринадцати и до восьмидесяти лет, теперь могут проходить мимо, не чувствуя потребности остановиться и задрать ногу". И все же эти пролетки были еще здесь. Он знал, он чувствовал это. Осталось нечто такое, что не могло исчезнуть так быстро и бесследно, остался дух, хмельной, щедрый, сладостный, который овевал и лелеял ту пышную, изобильную плоть, что непрерывным потоком всасывала пищу все шестнадцать лет, прожитых в полной праздности; отчего ж в конце концов этому телу было не уподобиться неприступной горной вершине, не стать первозданной цитаделью девического целомудрия, завладеть которой мужчине дано лишь дорогой ценой или даже не дано вовсе, - нет, он будет отброшен, падет, исчезнет, не оставив по себе ни следа, ни знака ("А ребенок-то, верно, будет так же не похож ни на кого из здешних, как и она сама", - подумал он), и пролетки - это лишь часть от целого, ничтожная и зряшная мелочь, вроде пуговиц на ее платье, или самого платья, или дешевых бус, которые подарил ей кто-то из тех троих. Все это, конечно, было не про него, даже в самый его разгул, как сказали бы они с Уорнером. Он знал это и не испытывал ни грусти, ни сожаления, он никогда и не пожелал бы этого ("Все равно как если бы мне подарили орган, а я только и способен выучиться заводить старый граммофон, который недавно выменял на почтовый ящик", - подумал он) и даже о победителе, об этой жабе, вспоминал без всякой ревности; и вовсе не оттого, что знал: чего бы ни ожидал Сноупс, как бы ни называл то, что ему досталось, победы тут никакой не было. А испытывал он лишь негодование на пустое, бессмысленное расточительство; как все это нелепо от начала и до конца словно построили западню из толстенных бревен и положили туда целую телку, чтобы поймать всего-навсего крысу, или еще хуже - словно сами боги осквернили, окропили нечистью ясный июнь, средоточие чистоты и света, обратив его в навозную кучу, где кишат черви. Впереди, за углом, там, где кончалась загородка, ответвлялась в сторону едва приметная, почти заглушенная травой дорога к усадьбе Старого Француза. Белая кобыла хотела было свернуть туда, но Уорнер грубо погнал ее вперед. "Все равно что в богадельню отдать", - подумал Рэтлиф. Но там-то хоть этой заразы не было бы. Он легонько дернул вожжи.

- Н-но! - крикнул он на своих лошадок. - Вперед. Лошади тронули, ступая по густой пыли, покрывавшей дорогу в эту пору позднего лета. Теперь вся Балка была видна как на ладони - лавка, кузня, железная крыша над хлопкоочистительной машиной и труба, над которой легкой, прозрачной дымкой струился отработанный пар. Сентябрь был в половине; сухой, пропыленный воздух чуть дрожал от быстрого стука машины, он был почти так же горяч, как пар, которого поэтому и видно не было, - только неверное, трепетное марево маячило над трубой. Знойный, дрожащий воздух оглашали медленные, натужные стоны груженых повозок, всюду пахло ватой; клочки ее повисли на чахлой придорожной траве, редкие хлопья валялись на дороге, вдавленные в пыль колесами и копытами лошадей. Видны были и повозки, они выстроились неподвижной вереницей, и понурые мулы, время от времени продвигаясь вперед на длину одной повозки, покорно ждали, пока подойдет их очередь въехать на весы, а потом к хлопкоприемнику, где снова распоряжался Джоди Уорнер, а в лавке уже сидел новый приказчик, как две капли воды похожий на старого, лишь ростом чуть поменьше да в плечах поуже, словно был скроен по одной с ним выкройке, только навыворот и не сразу, а когда края пообтерлись, оборвались ,- у него был маленький пухлый, ярко-розовый, как задик котенка, рот, блестящие, бегающие, блудливые барсучьи глазки, и он дышал веселой, беспредельной, непоколебимой уверенностью в том, что весь род человеческий, не исключая и его самого, от природы неизменно и неиссякаемо бесчестен.

Джоди Уорнер стоял у весов; Рэтлиф, проезжая мимо, вытянул как индюк шею и увидел мешковатую суконную пару, белую сорочку без воротничка, с желтыми от пота полудужьями

под мышками и пропыленную, облепленную пушистыми хлопьями черную шляпу. "Что ж, теперь, видать, все довольны, - подумал Рэтлиф. - Или нет, пожалуй, все, кроме одного", - мысленно добавил он, потому что увидел, как из лавки вышел Билл Уорнер и взгромоздился на свою лошадь, которую кто-то отвязал и теперь держал под уздцы, а на галерею высыпали люди, чьи повозки стояли обочь дороги напротив лавки, ожидая очереди к весам, а когда и сам он подъехал к лавке, с крыльца спустился Минк Сноупс и с ним - другой Сноупс, этот краснобай, учитель (теперь на нем был новый сюртук, хоть и не ношеный, с иголочки, но словно бы с чужого плеча, точь-в-точь как тот, старый, в котором Рэтлиф видел его впервые). Мелькнуло упрямое лицо, на котором теперь застыла холодная ярость, сросшиеся брови, а следом - крысиная мордочка учителя, беспорядочный вихрь рук, рвавшихся из обшлагов нового черного сюртука, и послышался голос, который, как и движения рук, существовал словно бы сам по себе, независимо от тела, облекавшего их в плоть и кровь:

- Имей терпение! Не сразу и Рим строился, а терпенье и труд все перетрут. Дай только срок - бог правду видит, а она глаза колет. Я сам читал закон; Билл Уорнер ничего в нем не смыслит и, право слово, все перепутал. Мы подадим жалобу. Мы...

Но тут Минк сверкнул на него глазами из-под неумолимой черты бровей и злобно сказал:

- Дерьмо!

Они ушли. Рэтлиф подъехал к крыльцу. Пока он привязывал лошадей, вышел Хьюстон со своим псом, сел на лошадь и уехал. Рэтлиф поднялся на галерею, где было теперь по малой мере человек двадцать и среди них Букрайт.

- А у истца, видать, язык хорошо подвешен, - сказал он. - Каков приговор?

- Сноупс должен уплатить Хьюстону три доллара за потраву и корм и тогда пускай забирает свою скотину.

- Вот как, - сказал Рэтлиф. - А что же, защитника его судья и слушать не стал?

- Защитника судья оштрафовал да велел ему замолчать, и вся недолга, сказал Букрайт. - Ежели вы именно это желаете знать.

- Так, так, - сказал Рэтлиф. - Так, так, так. Выходит, Билл Уорнер ничего не мог поделать с очередным Сноупсом, кроме как заткнуть ему рот. Ну, да ничего не попишешь, Сноупсы приходят и уходят, но Билл Уорнер, видно, осноупсился на веки вечные. Или, если угодно, он полагает, что это навеки. Как это по пословице? Старому гнить, новому цвесть, а глядишь - все остается по-старому: и работа и инструмент, только человек новый, а это разве не один черт?

Букрайт поглядел на Рэтлифа.

- Вы бы встали поближе к двери, чтоб ему слышнее было, - сказал он.

- Ваша правда, - сказал Рэтлиф.- И стены имеют уши, а денежки счет любят, с сильным не борись, но не в каждой семье есть свой адвокат, не говоря уж о пророке. Не будь тороват, будешь богат, а только не надобно и пророка, чтобы сказать до срока, ежели девка с прибылью.

Теперь все смотрели на него, и было в его безмятежном, непроницаемом

- Слушайте, да что это с вами? - сказал Букрайт.

- Со мной? Ровным счетом ничего. А из ничего не сделаешь нечто в этом лучшем из миров. Небось у того, кто продает ему эти его галстуки, найдется и пара длинных черных чулок. А любой мазилка размалюет ему ширму полками, а на них жестянки, он поставит ее у кровати, и ему будет казаться, что он в лавке...

- Слушайте, - сказал Букрайт.

- ...и тогда он сумеет сделать то, о чем здесь вот уж двадцать девять дней только и думают все, кто ее хоть раз видел, от тринадцатилетних мальчишек и девчонок до старика Маккаллема, которому уже стукнул сто один год. Конечно, он мог бы устроить дело иначе - залезть на крышу сарая, а оттуда в окно. Но это ни к чему, это не в его духе. Нет, брат, шалишь. Этот малый - не очумевший кот, чтоб лазить по крышам. Ему...

К крыльцу рысцой подбежал мальчик лет восьми или десяти, одетый и комбинезон, поднялся на галерею, стрельнул в них невинными голубыми, как барвинок, глазами и деловито нырнул в лапку.

- ...ему только одно и нужно - сидеть здесь, в лавке, да ждать, покуда которая-нибудь сама придет взять на пять центов сала, разумеется, в долг: надо только попросить мистера Сноупса, он даст ей и запишет в книгу, а она знает, что он там записал и для чего, не больше, чем знает о том, как это самое сало попало в жестянку с этикеткой, на которой нарисована свинья, да так похоже нарисована, что даже ей ясно, что это свинья, а он ставит жестянку на место, прячет книгу, идет и запирает дверь на засов, а она тем временем уже за прилавком и легла на пол, верно, думает, что так нужно, не для того, чтоб за сало не платить, про сало он уже записал в книгу, а для того, чтоб ее отпустили подобру-поздорову...

Новый приказчик выбежал из лавки на галерею. Он вырос словно из-под земли, и черты его, теснясь на лице и словно устремляясь к некоему центру, горели нестерпимым, лихорадочным, всепожирающим возбуждением, а мальчуган с глазами-барвинками деловито юркнул мимо него и, никого не дожидаясь, спрыгнул с крыльца.

- Ну вот, ребята, - сказал он скороговоркой, взволнованно. - Уже началось. Так что поторапливайтесь. Я сегодня пойти не могу. Мне нельзя отлучиться из лавки. А вы лучше идите задами, чтобы старуха Литтлджон не видела. Она и то уж на нас косится.

Пятеро или шестеро мужчин встали с какой-то странной, вороватой и вместе с тем вызывающей поспешностью. Один за другим они спускались с крыльца. Неугомонный мальчуган уже бежал вдоль загородки, которой был обнесен участок миссис Литтлджон.

- В чем дело? - спросил Рэтлиф.

- Если вы еще не видели, пойдемте, - сказал один из мужчин.

- Чего не видел? - Рэтлиф оглядел оставшихся.

Среди них был Букрайт. Опустив голову, он сосредоточенно строгал сосновую веточку.

- Шагай живей, - подогнал человека, замешкавшегося на- крыльце, другой, шедший следом. - А то покуда дойдем, все кончится.

И они гурьбой пошли дальше. Рэтлиф глядел, как они почти бегом шли вдоль загородки следом за мальчиком, все с тем же вороватым и вместе с тем вызывающим видом.

- Да что у вас тут такое происходит в конце-то концов? - спросил он.

- Ступайте да поглядите сами, - грубо сказал Букрайт. Он даже не поднял головы от своей веточки. Рэтлиф посмотрел на него.

- А вы видели?

- Нет.

- А пойдете?

- Нет.

- Ну а в чем дело, знаете?

- Ступайте да поглядите, - снова сказал Букрайт грубо и зло.

- Да, уж видно, придется, раз никто не хочет мне сказать, что там такое, - сказал Рэтлиф.

И он вышел на крыльцо. Кучка людей была уже далеко, они быстрым шагом шли вдоль загородки. Рэтлиф не спеша начал спускаться с крыльца. Он продолжал говорить. Он говорил, сходя по ступенькам, и ни разу не оглянулся; невозможно было понять, обращается ли он к людям, оставшимся на галерее, или же вообще ни к кому не обращается:

- ...запирает он дверь на засов и идет назад к этой черномазой, что пришла к нему прямо с поля, и на теле у нее еще не просох пот, а ей и невдомек, что от нее пахнет потом, оттого что она сроду ничего другого не нюхала, все равно как мулу невдомек, что от него пахнет мулом, и лежит она в одном-единственном платьишке на полу под прилавком и глядит мимо него, на жестянки, разрисованные рыбами и всякой чертовщиной, а что там внутри, не знает, потому что у нее в жизни в руках десяти центов не было, а ежели б он давал ей никель в придачу к салу, за которым она пришла, она на третий или четвертый раз, услышав от людей, как называется то, что в этих самых банках, спросила бы, лежа на полу и поглядывая на них всякий раз, как его голова не застит полку: "Мистер Сноупс, а почем у вас вон те сардины?"

2

Когда зима кончилась и подкралась весна, ему все меньше и меньше приходилось бежать сквозь темноту, от темноты. Вскоре темно было, лишь когда он, осторожно пятясь и щупая

одной ногой землю, выбирался из упряжной клети, где спал на соломе под ватным одеялом, и уходил, оставляя позади длинную призрачную тень дома, где в постелях, которые он теперь научился стелить не хуже самой миссис Литтлджон, на подушках храпели приехавшие накануне торговцы, а к апрелю осталась лишь тонкая и редкая завеса предрассветных сумерек, и теперь уж он ощущал себя чем-то твердым, зримым и осязаемым, не было уже бессвязного всечувствия страха, жидкого и бьющего по нервам, когда он был один и страшно свободен, брошенный в эту непроглядную, враждебную, первобытную жуть. Все это было позади. Теперь страх приходил лишь перед самым рассветом, в тот едва уловимый миг, который так безошибочно угадывают звери и птицы, - когда день наконец одолевает ночь; и тогда он пускался бежать со всех ног, не для того, чтобы поспеть вовремя, а чтобы поскорей вернуться, бежал уже спокойно, без страха, под яснеющим небом, которое из серого постепенно становилось сперва бледно-желтым, а потом золотым, вверх, на хребтину дальнего холма, и оттуда вниз, в надбережный туман, к ручью, и там ложился прямо в росную траву, где просыпались мириады живых существ, и, напряженно прислушиваясь, ждал ее.

Наконец из тумана доносятся ее шаги, она идет по берегу ручья. Он ждет недолго - не час, не два, не три; но заря угасает, еще не пришел тот миг, еще ее нет, но вот он слышит ее, лежа в мокрой траве, безмятежный, всем своим существом безраздельно счастливый. Он чует ее; этим запахом пронизан туман; те же мягкие руки тумана, что обнимают его распростертое на земле, измокшее тело, гладят и ее круп, осыпанный жемчужными каплями, и мгновенно сочетают их обоих нерасторжимыми узами. Он не шевелится. Он лежит, затаившись, а вокруг него пробуждается целый мир мельчайших существ, у самого его лица клонятся к земле травинки, отягченные росой, темные и недвижные в тумане, и на изогнутых былках в ровно скользящих каплях росы многократно кроме беглого мелькания теней, пятнавших ее, недоступную, ускользающую а она тем временем уже перебралась через ручей, отбежала немного по тропе и, остановившись, принялась щипать траву.

Он перестал стонать. Добравшись до ручья, он пошел вброд, при каждом шаге высоко поднимая ногу, словно всякий раз боялся, что вода не расступится, или, быть может, просто не знал, что окажется у него под ногой. На этот раз он не упал. Но едва он выбрался на берег, она пошла прочь по тропе, быстро, хоть и шагом, и ему снова пришлось бежать, все время отставая, и снова он стонал, и в его стонах слышалось недоумение, и растерянность, и упорство. Она возвращалась той же дорогой, по какой пришла в это утро и приходила каждый день. А он, вероятно, и не подозревал об этом, не обращал внимания, куда бежит, не видел ничего, кроме этой коровы; он, должно быть, не понял, что они во дворе, даже когда она пересекла этот двор и вошла в коровник, из которого вышла всего час назад, хотя вообще-то он, вероятно, знал, откуда она приходит по утрам, потому что знал почти всю округу, и еще не было случая, чтобы он заблудился: в темноте все вокруг как бы рассасывалось, хоть и оставалось на прежних местах. Должно быть, он не понимал даже, что теперь она в своем стойле, он понимал только одно наконец-то она остановилась, наконец-то не убегает больше, потому что сразу смолкли его тревожные и нетерпеливые стоны, и он вошел к ней в стойло, снова уговаривая ее, бормоча что-то бессвязное, пуская слюни, и коснулся ее рукой. Она шарахнулась; едва ли он понимал, что она не может убежать, но она не бежала, и этого было довольно. Он снова коснулся ее, и его рука дрожала, дрожал голос. А потом он лежал на спине, и она все еще била копытами в дощатую стену у самой его головы, и он увидел, что над ним стоит огромный пес, еще мгновение, и кто-то, грубо схватив его за шиворот, поставил на ноги. И вот его уже выволокли из коровника, и Хьюстон все еще держит его за шиворот и осыпает бранью, а он и не знает, что это не ярость, а просто безнадежная злость. Собака стояла чуть поодаль, выжидая.

- Айк Х'моуп, - сказал он. - Айк Х'моуп.

- Тьфу, черт, - сказал Хьюстон и встряхнул его. - Убирайся! Живо! Гони его отсюда, - приказал он своему псу. - Но смотри не тронь!

Пес залаял. Не двинулся с места, а лишь один раз коротко взлаял, словно сказал "пшел!", и он, не переставая стонать, отчаянным взглядом пытаясь что-то объяснить этому человеку,

заковылял к открытым воротам, в которые только что вошел. Пес следовал за ним по пятам. Он оглянулся на коровник, снова попытался что-то сказать взглядом, но только застонал, пуская слюни, а пес снова залаял на него и сделал еще шаг, всего один шаг, и он, с ужасом взглянув на него, рысцой затрусил к воротам. Пес пролаял три раза кряду, и он закричал, хрипло и жалобно, как затравленный зверь, и побежал что было мочи, с трудом, невпопад перебирая своими толстыми непослушными ногами.

- Не тронь! - крикнул Хьюстон.

Но он не слышал этого. Он слышал лишь топот собачьих лап у себя за спиной. Подвывая со страху, он тяжело бежал к воротам.

И вот теперь он не смеет идти за ней. Он смеет только лежать в траве, ждать ее, ловить звук ее шагов, видеть ее, когда туман рассеется - и ничего больше. Поэтому он встает с земли и стоит, все еще слегка покачиваясь из стороны в сторону, с тихим хриплым стоном. А потом он поворачивается и бредет вверх по холму, спотыкаясь, потому что глаза его все еще ослеплены солнцем. Но вот под босыми ногами он чувствует дорожную пыль и снова пускается бежать во всю мочь, не переставая стонать, и тень его становится все короче на пыльной дороге, а солнце, поднимаясь все выше, печет ему спину, и мокрая грязь у него на комбинезоне понемногу подсыхает; наконец, он снова в доме, где ждут его неубранные комнаты и незастланные кровати. Вскоре он берется за свое обычное дело - метет полы, лишь изредка останавливаясь с горестным и недоуменным стоном, а потом снова с тихим и сосредоточенным удивлением следит за кучкой пыли и сора, ползущей перед щеткой. Потому что, даже метя пол, он все еще видит ее на лугу, светлую, среди алых солнечных бликов, и не просто на фоне налитой соками нежной зелени, а неотторжимую от буйного расцвета весны, в прекрасном ее венце.

Он подметал комнату наверху и вдруг увидел дым. Он сразу понял, где пожар, - там, за ручьем, на холме, поросшем осокой и вереском. И хотя его отделяло от этого холма целых три мили, он мгновенно представил себе, как она в страхе пятится от огня, услышал ее мычание. Он рванулся с места, не выпуская из рук щетки, бессмысленно ткнулся в стену, как муха или птица, попавшая в западню, потом в высокое узкое оконце, через которое увидел дым, - пролезть в него он все равно не смог бы, даже если бы решился спрыгнуть с высоты восемнадцати футов. Потом перед ним оказалась дверь в коридор, и он опрометью выскочил в нее, все еще не выпуская щетку, и побежал по коридору к лестнице, но тут из другой комнаты вышла миссис Литтлджон и остановила его.

- Айзек, - сказала она. - Куда ты, Айзек?

Она не повысила голоса и даже не коснулась его, но он остановился, застонал, устремив на нее пустой, бессмысленный взгляд и поджимая то одну, то другую ногу, как кошка на горячей крыше. Тогда она протянула руку, взяла его за плечо и повернула обратно, и он покорно, со стоном, пошел по коридору назад, в комнату; он даже раз-другой взмахнул щеткой, но опять увидел в окно дым. Теперь он нашел дверь почти сразу, но не побежал к ней. Он постоял немного, тихонько скуля, поглядел на зажатую в руке щетку, потом на кровать, которую только что застелил, аккуратно, без единой морщинки, перестал скулить, подошел к кровати, откинул одеяло и уложил туда щетку широким концом на подушку, словно голову, накрыл ее, оправил одеяло невероятно быстро н ловко своими непослушными руками и вышел.

На этот раз он не издал ни звука. Он шел не на цыпочках и все же проскользнул по коридору удивительно быстро и бесшумно; не успела миссис Литтлджон выйти из соседней комнаты, как он уже добрался до лестницы и начал спускаться вниз. В первый раз, три года назад, он ни за что не хотел спуститься. Наверх он тогда залез один, без посторонней помощи; никто так и не узнал, шел ли он по лестнице, или избирался на четвереньках, или, может, лез наверх, все выше, даже не подозревая об этом, и ощущение высоты еще не проснулось в нем. Миссис Литтлджон не было, она ушла в лавку. Кто-то, проходя мимо, услышал его крики, и когда она вернулась, у нее в прихожей столпились пять или шесть человек и, задрав головы, смотрели, как он на верхней ступеньке, зажмурившись, цепляется за перила и отчаянно ревет.

Когда она попыталась оторвать его от перил и стащить вниз, он только крепче сжимал пальцы, упирался и ревел. Он просидел наверху три дня, и она носила ему туда еду, а люди приезжали издалека, чтобы полюбопытствовать: "Ну как он, все еще там?", пока наконец, после долгих уговоров, она не заставила его спуститься. Но и тогда это продолжалось довольно долго, несколько минут, а в прихожей толпились люди и глазели, как он цепляется за перила и ревет, а ласковая, но твердая и непреклонная рука и ровный, неумолимый, терпеливый голос понуждают его спускаться со ступеньки на ступеньку. После этого случая он долго еще падал всякий раз, как пробовал спуститься с лестницы. Он знал, что упадет, и уже стонал заранее, ступал наугад, в пустоту, и летел вниз головой, ударяясь о ступени, терзаемый не болью, а удивлением, и, наконец, растягивался на полу в прихожей и ревел, устремив в пустоту испуганный и недоверчивый взгляд.

Но в конце концов он научился преодолевать лестницу. И теперь он лишь помедлил немного, прежде чем сделать первый шаг, не смело, но и не робко, и с каждым шагом он словно повисал в воздухе, почти в пустоте; всякий раз под ним на миг разверзалась неизвестность, чуть ли не бездна, но вот он уже в прихожей, выбежал на задний двор, а там снова остановился и начал со стоном раскачиваться из стороны в сторону, и на его бессмысленном лице появилось тупое удивление. Потому что отсюда не было видно дыма, а он помнил лишь пустынный холм, с которого всякий раз спускался в туман, на берег ручья, и там ждал ее, а теперь все было не так. Теперь вокруг него свет, солнце и все на виду, - и сам он, и деревья, и земля, и дом - все обрело четкие и ясные очертания; и нет больше темноты, не надо бежать сквозь и от нее, и все совсем не так. Он постоял немного в тупом удивлении, со стоном раскачиваясь из стороны в сторону, а потом пошел через двор к воротам загона. Открывать их он научился уже давно. Он отодвинул засов, и ворот перед ним как не бывало; он вышел, почти сразу нашел распахнувшуюся настежь створу у самой загородки, затворил ее, заложил засов, со стоном пересек залитый солнцем загон и вошел в конюшню.

Спорил, ослепленный солнцем, он ничего не увидел. Но каждый вечер, когда он приходил сюда спать, здесь бывало темно, и он, сразу перестав стонать, уверенно направился прямо в свою клеть, ухватился обеими руками за дверной косяк, встал одной ногой на ступеньку и, пятясь, щупая другой ногой землю, вылез из темноты на свет, повернулся, и свет оглушил его беззвучным ревом, сделал его твердым и зримым, но он уже трусил рысцой туда, к холму, откуда обычно сбегал по склону в туман, на берег ручья, чтобы там лечь и ждать ее, пересек загон и протиснулся через лазейку в проволочной загородке. Он зацепился за проволоку комбинезоном, но, рванувшись, освободился и без стона побежал по дороге, быстро двигая толстыми бабьими ляжками, и его лицо, глаза выражали тревогу и нетерпение.

Пробежав три мили до холма, он все так же бегом свернул с дороги, поднялся на скат; увидев дым на другом берегу ручья, он опять издал хриплый, исполненный ужаса вопль и побежал вниз, к ручью, к броду, по уже высохшей траве, в которой он лежал на заре. Он не медлил, не колебался. С разлета он сбежал в воду, чуть подернутую рябью, и все бежал, падая, зарываясь головой в воду, пока не упал ничком, а потом встал, весь мокрый, по колена в воде, и заревел. Он поднял одну ногу и шагнул вперед, словно поднимаясь по лестнице, потом шагнул еще и еще, порываясь бежать, и снова упал. Но на этот раз его вытянутые руки уже коснулись берега, а когда он встал, то услышал ее мычание, слабое и испуганное, оно явственно доносилось из-за густой пелены дыма, окутывавшей ближний холм. Он поднял ногу над водой и снова побежал. На этот раз он упал уже на суше. С трудом поднявшись, он в мокром комбинезоне пустился через луг, а потом вверх по холму, окутанному пеленой дыма, которая в этот безветренный день была неподвижна, постепенно переходя под ярким солнцем от голубого оттенка к нежно-розоватому, сиреневому и, наконец, медно-красному.

В миле позади осталась широкая, ровная, тучная пойма и начинались холмы - последний, едва приметный голубой - след Аппалачских гор на земной поверхности. Некогда эта земля принадлежала индейцам племени чикасо, потом ее, где только было возможно, расчистили под пашню, а после гражданской войны забросили, и здесь остались одни маленькие передвижные лесопилки, да и тех теперь не было и в помине, на их месте высились лишь груды

гниющих опилок, - печальные надгробья и в то же время памятники ненасытной человеческой жадности. Мало-помалу земля вновь поросла чахлыми сосенками и дубками, под ними зацвел кизил, но потом и эти леса были сведены, пошли на веретена для прядильных станков, и прежние поля, не сохранившие ни одной борозды, словно плуг никогда и не касался их, сорок лет поливал дождь, грыз мороз, сушил зной, и постепенно они обратились в нагорье, поросшее самым обыкновенным вереском да травой, где водятся кролики и гнездятся перепела, изрезанное оврагами с осыпающимися красно-белыми склонами, в которых перемежаются пласты песка и глины. К такому склону он и бежал теперь, бежал по золе, не подозревая об этом, потому что здесь земля уже успела остыть, бежал по черным стеблям прошлогодней осоки с редкими островками свежей неопаленной зелени, где иногда мелькали растерзанные головки бело-голубых маргариток, вверх, на холм.

Дым стеной встал на его пути; а там, в дыму, слышалось неумолчное отчаянное мычание перепуганной коровы. Он бросился прямо в дым, на ее зов. Вот уже земля под ним стала горячей. Он начал быстро поджимать то одну, то другую ногу; один раз он закричал сам, хрипло и удивленно, и ему пронзительным воем откликнулись дым, кустарник, холмы. Вой этот несся отовсюду, сверху и снизу, летел со всех сторон; остановившись перевести дух, он услышал стук копыт, и появился конь, он возник прямо из дыма, - какое-то невероятное чудище с дико горящими глазами и развевающейся гривой - и понесся прямо на него. Он тоже взвыл. Они оба взвыли, глядя друг на друга, а потом дико горящие глаза, желтые зубы и огромная красная пасть, разинутая в злобном ликующем торжестве, обрушились на него и промчались мимо, потому что конь свернул на всем скаку, и от ветра, поднятого этим огнедышащим драконом, зашевелились его волосы и одежда. Конь исчез. Он снова бросился туда, откуда доносилось мычание. И когда снова за спиной у него послышался конский топот, он даже не обернулся, даже не вскрикнул. Он все бежал, бежал без оглядки, а по земле, сквозь дым, снова прокатился гулкий, дробный стук копыт, и снова пронзительный нестерпимый визг настиг его, и он, обеими руками прикрывая голову, упал ничком, и вокруг снова засвистел огнедышащий ветер, и обезумевший конь, прыгнув, проплыл над его распростертым телом и скрылся из глаз.

Он встал и пустился бежать. Теперь корова была уже близко, и впереди он увидел огонь, отделявший его от нее, тонкую, нежно-розовую полоску, стлавшуюся понизу, в дыму. Всякий раз, как его подошва касалась земли, он болезненно вскрикивал и норовил отдернуть ногу, еще не успев перенести на нее вес тела, но тотчас спохватывался, с удивлением и ужасом ощущая вторую ногу, о которой он на миг забыл, так что теперь он уже не двигался вперед, а прыгал на месте, словно в пляске, как вдруг услышал, что конь снова несется на него. Он закричал. Его крик и конское ржание слились в один дикий, неистовый, безнадежный вопль, и он бросился прямо в огонь, сквозь него, на воздух, на свет, на солнце, сбрасывая с себя пламя, которое волочил за собой, словно отрепья. Корова стояла теперь футах в десяти от него, у оврага, мордой к огню, понурившись, и мычала. Едва он успел добежать до нее и, прикрывая руками голову, заслонить ее своим телом, как ошалевший конь вырвался из дыма и устремился прямо на них.

Он даже не свернул в сторону. На всем скаку, не останавливаясь, он прыгнул. Желтые зубы, дико горящие глаза, огромная красная пасть надвинулись на них, окруженные свирепым водоворотом челки и гривы, и весь копь как-то чудовищно медленно проплыл над ними. Воздух затрепетал, словно под ударами яростных крыл, сверкнули четырьмя полумесяцами подковы, и конь, не переставая ржать, исчез в овраге, а следом за ним - корова и он сам, словно их засосала пустота, оставленная конем на скаку. Земля вздыбилась и опрокинулась, разверзнув под ними бездну, сразу, вдруг, без постепенного, успокоительного перехода. Он не издал ни звука, когда они все трое полетели по сыпучему откосу на дно, куда конь упал на все четыре ноги и, не останавливаясь, поскакал дальше по дну оврага, а он, упав под корову, которая мычала и лягалась, почувствовал, как его заливает навозная жижа. Наверху последний язычок пламени лизнул край оврага, съежился, угас и бледным дымным облачком взвился к ясному солнечному небу.

Сначала он никак не мог с ней совладать. С трудом встав на ноги, она повернулась к нему, выставив вперед рога, и заревела. Когда он сделал к ней шаг, она шарахнулась от него и ринулась вверх по обрушенному склону, оскользаясь на зыбком, сыпучем песке, словно в припадке слепого стыда, стремясь убежать не только от него, но и от того места, где возмутили ее покой, где на нее предательски напали из тьмы, и она опозорилась по природной своей слабости, а он тащился следом, уговаривая ее, пытаясь ей объяснить, что никто не осудит ее за такое грубое нарушение приличий, потому что это непоколебимый закон извечного естества. Но она не слушала. Она все лезла вверх, скользя по сыпучему склону, и тогда он уперся в нее плечом и стал ее подталкивать. Вместе им удалось подняться на шаг-другой, но песок все осыпался у них из-под ног, и наконец силы оставили их, и они, тесно прижатые друг к другу, съехали назад, на дно оврага, по щиколотку увязнув в плывущем пласте песка, словно две статуи на плоту. И снова он уперся плечом ей в крестец, и они снова рванулись вверх по крутизне, сделали шаг или два, но предательский песок снова обрушился под ними. Он ласково стал ее уговаривать, и оба напрягли последние силы. Но земля снова встала дыбом; дно оврага, песчаный склон, все вырвалось у них из-под ног и взметнулось вверх, к бледному небу, еще подернутому дымом, и вот уже они снова барахтаются на дне, и он снова внизу, под ней, но в конце концов она, отчаянно брыкаясь и не переставая реветь, вскочила и поскакала по оврагу, в ту же сторону, что и конь, скрывшись из вида, прежде чем он успел встать и догнать ее.

Овраг выходил прямо к ручью. Почти сразу он снова очутился на выгоне, но, вероятно, даже не заметил этого, потому что видел только корову, бежавшую впереди. Вероятно, он не узнал и брода, даже когда корова, замедляя шаг, вошла в воду, остановилась и стала пить, а он, тоже замедляя шаг, последовал за ней, с нетерпеливым, но тихим стоном, боясь опять испугать ее. И вот он выходит на берег, сдерживая стон, топчется на месте, и его красное, обожженное лицо напряжено и нетерпеливо. Она не убегает, и тогда он решается ступить в воду, или, вернее, на воду, снова позабыв о том, что она раздастся под его тяжестью, вскрикивает, не столько от удивления, сколько боясь испугать ее, и идет дальше, ступая в податливую твердь воды, и поглаживает корову. Она даже не перестает пить; проходит секунда, другая, его рука лежит у нее на боку, и только теперь она поднимает морду, с которой капает вода, поворачивает голову и глядит на него задумчиво, уже не чуждаясь.

Здесь и нашел их Хьюстон. Он прискакал через выгон наметом на неоседланной лошади, с собакой, бежавшей следом, и увидел толстого нескладного человека, который, присев около коровы на корточки, неловко обмывал ей задние ноги ивовой веткой.

- Ну что, цела? - крикнул он и, так как у него не было даже поводьев, закричал на коня, чтобы остановить его: - Тпру! Тпру! Да стой же, дьявол! Эй, послушайте, чего ж вы не попробовали поймать лошадь? Ведь она могла сломать себе... - Тут человек, сидевший на корточках, повернул к нему обожженное лицо, и Хьюстон узнал его. Он громко выругался, дернул лошадь за гриву, чтобы ее осадить, а сам, даже не дожидаясь, пока она остановится, перебросил ногу через круп и спрыгнул на землю, продолжая ругаться не в ярости, а просто в безнадежном негодовании. Вместе со своим псом, который не отставал от него ни на шаг, он спустился на берег, нагнулся, подобрал сухой сук, занесенный сюда половодьем, и хлестнул им корову, а обломок запустил ей вслед, когда она бросилась на другой берег ручья. - Пошла отсюда! - крикнул Хьюстон. - Пошла домой, шлюха! - Корова отбежала немного, остановилась и принялась щипать траву. - Гони ее домой, - сказал Хьюстон своему псу.

Не двигаясь с места, только подняв морду, пес отрывисто залаял. Корова вскинула голову и побежала прочь, а человек в ручье, видя, что пес встает, снова издал хриплый, придушенный крик и тоже вскочил. Но пес не вошел в воду, он даже не спешил; он просто - сделал несколько шагов по берегу, остановился напротив коровы и снова залаял, всего один раз, презрительно и властно. Теперь корова повернула назад и галопом пустилась вдоль ручья к своему хлеву, а пес следовал за ней по другому берегу. Они скрылись из виду. Еще дважды корова пыталась остановиться, и всякий раз пес коротко взлаивал, словно говоря: "Пшла!".

А он стоял в воде и стонал. Вернее, теперь он сам мычал, совсем по-коровьи, негромко,

недоуменно. Когда Хьюстон прискакал к ручью, он, озираясь, прежде всего поглядел на пса. В тот миг он уже открыл было рот, чтобы закричать, но вместо этого на его лице появилось почти осмысленное выражение глупого самодовольства, которое, когда Хьюстон начал ругаться, исчезло и сменилось недоверчивым и обиженным удивлением, сохранявшимся все время, пока он стоял в воде и стонал, а Хьюстон с берега смотрел на его загаженный комбинезон и ругался в тупом негодовании, повторяя:

- А, в бога душу!.. - и неистово размахивая руками, а потом сказал: Эй, вылезай оттуда. Поди-ка сюда. - Но тот, в ручье, только стонал, глядя туда, где скрылась корова, и тогда Хьюстон подошел к самому ручью, наклонился, ухватил его за помочи комбинезона, грубо выволок из воды, отчаянно сморщив нос и все еще ругаясь, отстегнул помочи и спустил с него комбинезон почти до колен. - Снимай! - сказал он. Но тот все стонал тихонько и не двигался, пока Хьюстон не дернул его за ворот, - тогда он кое-как стоптал с себя комбинезон и остался в одной рубашке, а когда Хьюстон, брезгливо взявшись за помочи, швырнул комбинезон в ручей, он снова вскрикнул, жалобно, хрипло, едва слышно. - Чего же ты стоишь, - сказал Хьюстон. - Выстирай его.

И он энергичным жестом показал, как это делается. Но тот только глядел на Хьюстона и стонал, и тогда Хьюстон нашел другой сук, намотал на него комбинезон и начал яростно окунать его в воду, полоскать, сыпля ругательствами, потом вытащил его на берег и, не снимая с палки, обтер о траву.

- Ну вот, - сказал он. - А теперь убирайся. Домой! Домой! - крикнул он. - И чтоб я тебя здесь больше не видел! Не смей ее трогать!

Когда Хьюстон стал полоскать комбинезон, он замолчал и тихо смотрел на него. Теперь он опять начал стонать, пуская слюни, и Хьюстон уставился на него в тупом, отчаянном негодовании. Потом он вынул из кармана пригоршню монет, выбрал пятидесятицентовик, сунул ему в нагрудный карман рубашки, застегнул карман на пуговицу и пошел к коню, заговорил с ним, а потом погладил его, ухватился за гриву и вскочил к нему на спину. Идиот перестал стонать и молча смотрел, как конь, заплясав под Хьюстоном, с места взял в галоп, и быстро, совсем как час назад, когда он перепрыгнул через него и корову у оврага, поскакал по берегу и скрылся.

Он снова застонал. Так он стоял и все стонал, глядя на застегнутый карман, ощупывая его. Потом он перевел взгляд на мокрый, измятый комбинезон, валявшийся у его ног. Немного погодя он нагнулся и поднял его. Одна штанина была вывернута наизнанку. Некоторое время он терпеливо, со стонами, пытался его надеть. Потом штанина как-то сразу вывернулась на лицо, он натянул комбинезон, застегнул помочи и перешел ручей вброд, робея, высоко задирая ногу при каждом шаге, словно поднимался по лестнице, выбрался на берег и вышел на то место, где вот уже три месяца лежал каждое утро на рассвете, поджидая ее. На то самое место; всякий раз он возвращался сюда так же неизменно, как поршень к головке цилиндра, и здесь он постоял немного, со стоном ощупывая застегнутый карман. А потом он стал подниматься на холм, и ноги его снова почувствовали дорожную пыль, хотя сам он, пожалуй, не сознавал этого, и лишь инстинкт, не угаснув в охватившем его беспросветном, горестном отчаянье, вел его обратно к дому, откуда он ушел в то утро, и, еще не пройдя первую милю, он дважды останавливался и ощупывал застегнутый карман. Видимо, в конце концов ему как-то удалось отстегнуть пуговицу, потому что теперь монета была уже у него в руке, он смотрел на нее и все стонал. Потом он остановился на дощатом мостике над узким неглубоким, затравевшим овражком. Он никак не мог выронить монету, потому что стоял не двигаясь, даже рукой не шевельнул, и все же ладонь его вдруг опустела. Монета глухо звякнула о пыльные доски, сверкнула на солнце и исчезла, и как знать, что за неуловимый, судорожный жест наивысшего отречения сбросил ее, но порыв этот тут же угас, потому что он с тихим удивлением уставился на пустую ладонь и даже перестал стонать, перевернул руку, чтобы взглянуть на тыльную сторону, потом разжал другую руку, поднес ее к глазам. И тогда невероятным усилием - это была почти физическая потуга, как при родах, - он связал две мысли воедино, как бы вернулся назад, в прошлое, восстановил логическую последовательность событий и еще раз пошарил в

кармане, заглянул в него, но лишь мельком, словно и не рассчитывал найти там монету, а потом, несомненно, повинуясь одному только инстинкту, поглядел себе под ноги, на пыльные доски. Больше он не стонал. Он стоял молча, глядя на доски, и переминался с ноги на ногу; потом, оступившись, он упал с моста в овражек. Трудно сказать, сделал ли он это вольно или невольно, но, как бы то ни было, опять-таки инстинкт, природное неусыпное чутье к земному тяготению, заставил его искать монету под мостом, если только он искал ее, сидя на корточках в траве, все так же молча, тихонько покачивая головой. С этой минуты он не издал больше ни звука. Он посидел немного на корточках, дергая "траву, и в движениях его уже не было той несообразной сноровки, благодаря которой его непослушные руки обычно справлялись с работой как бы независимо от него; глядя на него, можно было подумать, что он вовсе и не хочет найти монету. А потом всякому стало бы понятно, что он и не пытается ее найти. Когда, немного погодя, на дороге показался фургон и человек на козлах, проезжая через мост, заговорил с ним, он поднял голову, и лицо его даже не было бессмысленным, - оно дышало глубочайшим, несказанным покоем; когда его окликнули с фургона по имени, он не отозвался, не издал даже того единственного звука, который умел издавать, или, во всяком случае, единственного, который он издавал, когда с ним заговаривали.

Он не шелохнулся, пока фургон не исчез из виду, хотя и не глядел ему вслед. Потом он встал и выбрался на дорогу. И вот он уже трусит рысцой назад, туда, откуда только что пришел, под лучами полуденного майского солнца, ступая в горячей пыли по своим собственным следам, туда, где он обычно сворачивал с дороги, чтобы подняться на холм, а перевалив через него, спускается вниз, к ручью. Даже не взглянув, он миновал то место, где лежал на рассвете в мокрой траве, и повернул вверх по ручью. Была суббота, время близилось к двум. Конечно, он не мог знать, что в этот самый день и час Хьюстон, бездетный вдовец, живший с собакой и негром-поваром, сидел в трех милях от своего дома на галерее лавки Уорнера; конечно, он и не думал о том, что Хьюстона, быть может, нет дома. И уж само собой, он не остановился, чтобы убедиться в этом. Он вбежал в ворота и бросился прямо к закрытой двери коровника. Рядом с дверью на гвозде висела веревка. Возможно, он снял веревку случайно, нашаривая засов. Но обратал он корову по всем правилам, так, как это делали у него на глазах другие.

К шести часам вечера они были уже далеко, пройдя добрых пять миль. Он не знал, сколько миль они прошли. Да и какое это имело значение; для них больше не существует расстояния на земле, в пространстве, они перестают ощущать время, не чувствуют и усталости, которая отмечала бы пройденный путь. Они движутся не в пространстве, а во времени, к причудливой вершине заката, где вечер и утро сливаются воедино; сверкающий май связывает их не в будущем, не завтра, а сегодня, сейчас, когда, обернувшись к ней, он тянет ее за веревку, настойчиво бормочет, уговаривает ее идти дальше, а она упирается, хочет сбросить с себя веревку и мычит. Вот уже полчаса она противится, потому что набухшее вымя тяготит ее, тянет назад, домой. Но он не пускает ее, понемногу перехватывает веревку и наконец гладит свободной рукой сначала морду, потом холку, уговаривая ее, и наконец она перестает упираться и идет дальше. Они уже идут среди холмов, поросших сосняком. Хотя послеполуденный ветер стих, косматые вершины деревьев все еще неумолчно шептались о чем-то в ясной вышине. Стволы деревьев и густая хвоя были струнами арфы, по которым ударял день; а вверху одна за другой проплывали причудливые, неверные тени уходящего дня; когда они перевалили через гряду холмов и спустились в тень, в синюю чашу вечера, в тихий колодезь ночи, решетчатые врата заката затворились за ними. Сперва она не давала ему даже притронуться к своему вымени. Да и потом она брыкнула его, по лишь потому, что почувствовала чужую, неумелую руку, и наконец парное молоко потекло у него меж пальцами, по рукам и запястьям, со звонким журчанием проливаясь на землю.

Ночи стояли лунные. Каждую ночь луна понемногу убывала; а на заре рядом с ней ярко загоралась утренняя звезда, знаменуя конец ночи, и он чувствовал, как наступает миг пробуждения, видел, как она поднимается сначала на задние ноги, возникая из темноты, колебля, а потом и вовсе разматывая клубок сна, пахнущий молоком. Тогда он тоже вставал,

привязывал конец веревки к суку, находил корзину по запаху вчерашнего корма и уходил. С опушки он оглядывался. Ее еще не было видно в сумерках, но он слышал ее, а это было почти одно и то же, - теплое дыхание было зримо над ползучими корнями травы, теплый пар брызжущего из сосцов молока плотен и отчетлив на расплывчатой безликой земле.

До ближнего хлева было всего полмили. Вот он уже маячит смутным прямоугольником на фоне беспредельного свитка небес, покрытого таинственными письменами. Собака молча встречает его у ворот, она рассекает темноту, незримая и неслышная, двигаясь где-то на грани зрения и слуха. В первое утро она бросилась на него, заливаясь яростным лаем. Он остановился. Быть может, ему вспомнился другой пес, который остался далеко, в пяти милях отсюда, но всего лишь на миг, ибо таково уж счастье, не изменяющее счастливцу, таково могущество победы, которая изгоняет предательский дух всех прошлых поражений; теперь собака подходит к нему, виляя хвостом, невидимая, мягко льнет к его ногам, и от прикосновения ее теплого, влажного, мягкого языка на мгновение становится ощутимой его собственная, взмахивающая на ходу рука.

В аммиачной духоте хлева, где, просыпаясь, ревет и стучит копытами скот, он совсем теряет ощущение пространства. Но он не останавливается. Отыскав дверцу, он входит в стойло; незрячей рукой он привычно и безошибочно находит ясли. Он ставит корзину на пол и принимается ее наполнять, торопливо и усердно, черпает корм пригоршнями, просыпает половину, и сегодня, как и вчера и позавчера, сам оставляя против себя улику. Встав и повернувшись к двери, он уже различает ее сереющий проем, менее темный и вместе с тем, как это ни странно, ничуть не более светлый, чем все окружающее, словно, едва он отвернулся, в черную пустоту вставили прямоугольный кусок непрозрачного стекла, чтобы сделать тьму еще фантастичнее. Теперь он слышит голоса птиц. Скотина ревет все громче, без умолку: он уже явственно видит собаку, поджидающую, его у стойла, и понимает, что надо спешить, так как скоро придет кто-нибудь, чтобы задать корм скоту и подоить коров. Он выходит из стойла, медлит немного у двери, словно прислушивается, вдыхает приятный запах коров и лошадей, как счастливый любовник вдыхает запах женского тела, испытывая торжествующее чувство близости ко всей безликой, безымянной женской плоти, способной любить на лоне матери-земли.

Он и собака снова переходят двор в черно-белых рассветных сумерках, наполненных громким, нестройным птичьим гомоном. У загородки, которая теперь отчетливо видна, собака отстает. Он поспешно пролезает сквозь загородку, неуклюже держа корзину обеими руками прямо перед собой и оставляя на сырой траве явственный темный след. На его глазах снова совершается чудо, которое он впервые увидел три дня назад: заря, свет вовсе не льются на землю с неба, а напротив, источаются самой землей. Под плотным пологом, сотканным из слепых ползучих корней деревьев и трав, в первозданной тьме, среди праха времен и бесчисленных останков, где, не ведая усталости и сна, копошатся сонмища червей и сметены в одну кучу славные кости - Елена Прекрасная и нимфы, усопшие епископы, спасители, и жертвы, и короли - свет пробуждается, сочится, пробивается кверху по бессчетным тонким канальцам: сперва по корням, потом по былинкам и, срываясь с них, словно легчайший пар, рассеивается и окропляет скованную сном землю сонным жужжанием насекомых; а потом, просачиваясь все выше, ползет по узорчатой коре, по веткам, по листьям, все стремительней, ширясь и нарастая, наполненный трепетом крыл и хрустальными птичьими голосами, он взмывает ввысь и озаряет безмолвный свод ночи желто-розовыми раскатами. А далеко внизу, в прозрачной дымке, уже встрепенулся провозвестник-петух, и вслед за ним весь курятник, и хлев, и конюшня приветствуют наступающий день. Флюгера на колокольнях ловят юго-западный ветер, и поле ждет пахаря с той поры, как закат благословил воткнутый в землю безлошадный плуг, а теперь неоконченные борозды всплывают из темноты, словно притихшие в полусне волны. И, наконец, встает солнце: оно настигает его, прежде чем он успевает пройти назад полмили. Беззвучный медный рев, пылая, катится по сырой траве, и его одинокая тень, метнувшись далеко вперед, распростершись по земле, неуловимая, убегает все дальше из-под самых ног; земля словно отражает его нелепую, жалкую фигуру, и это отражение, эта тень,

возносится на последний холм и, неподвижно повиснув в пространстве, витает в нем до тех пор, пока он сам не поднимется на вершину, а потом она как бы перекидывает невидимый мост через убывающее половодье ночи и снова движется впереди него, через топкую болотистую низину и, коснувшись опушки, начинает укорачиваться, вползая на плотную стену листвы, - сначала голова, потом плечи, туловище, шагающие ноги, и, наконец, вся тень выпрямляется на полотнище трепетной листвы на какой-то неуловимый миг, и он, не останавливаясь, пробегает сквозь нее.

Корова стоит на том самом месте, где он ее привязал, и жует жвачку. В огромных, влажных, лишенных зрачков глазах он видит себя - два крошечных одинаковых отражения; из глаз волоокой Юноны он глядит на себя, созерцающего ее такой, какой она некогда представлялась людям. Он ставит перед ней корзину. Она начинает есть. Трепетные тени неугомонной листвы делают ее призрачной и такой же бесплотной, какой только что была его бегущая тень, но это ему только кажется: одно беглое прикосновение удостоверяет и подтверждает ее весомость и объемность в зыбкой путанице теней; одно прикосновение ладони возвращает ее, ощутимую и осязаемую, из бездонности надежды. Присев рядом с ней на корточки, он начинает ее доить.

Потом они вместе едят из корзины. Ему и раньше приходилось есть коровий корм - и жмыхи, и отруби, и овес, и кукурузные початки, и силос, и мякину, понемногу, но довольно часто, потому что просыпался он вместе с птицами, едва притрагивался к завтраку, оставляя на тарелке больше половины того, что давала ему миссис Литтлджон, а через час ел что-нибудь еще, без разбора, ел то, что спокон веку догмы и предрассудки приучили всех двуногих считать "поганым", безразличный ко вкусу всего на свете, кроме вкуса земли, осыпавшейся штукатурки, расплывшейся краски на изжеванных клочках газеты и жгучей муравьиной кислоты, непоколебимый лишь в одном: он всегда был травоядным, и если ел что живое, то только растения. Потом он убирает корзину. Корм съеден не весь. Остается ровно, почти до грамма, половина того, что он принес, и он отнимает у коровы корзину, вытаскивает ее из-под вздрагивающей морды, которая не перестает жевать, выражая крайнее удивление, вешает на сук, и ему все дается легко, он уже изведал удачу, научился соблюдать осторожность, таиться, красть и даже проявлять предусмотрительность; и не изведал он только страсть, алчность, жажду крови и муки совести, не дающие спать по ночам.

Сперва они идут к роднику. Этот родник он нашел в первый же день мутная влага по капле сочилась из земли там, где переплелись кроны ольхи и бука, непроницаемые для солнца, и, растекаясь, исчезала в сумраке среди корней ближнего ивняка и ольховника. Он расчистил родник, вырыл маленький водоем, который теперь каждое утро бывает полон прозрачной воды, и в него глядится листва, и они, склоняясь над родником, расплескивают ее зеленый узор, и пьют, и их отражения сливаются, и каждый запечатлен навечно, неповторимо, в этом своем дробящемся образе. Потом он встает, берет веревку, и они идут через топкую низину к опушке и входят в лес.

Заря померкла. Приходит день во всей своей откровенной наготе. Солнце стоит теперь высоко в небе. В воздухе по-прежнему не смолкает птичий гомон, но это уже не таинство, не торжественный хорал, возносящийся к небесам у зеленых алтарей, а стелющийся над землей будничный аккомпанемент к будничному делу-добыванию пищи. Птицы, словно цветные молнии, проносятся среди сосен, чьи косматые вершины глухо и неумолчно шепчутся на ветру. Теперь ее уже не надо тянуть за веревку; с этой минуты и до самого вечера они будут идти вслед за светом дня, не обгоняя его. У них та же цель закат. Они стремятся к ней вместе с солнцем по той же извечной орбите. Они следуют за пылающим и беспечным солнцем такие же беспечные, но не пылая, как оно, под сенью стволов, мелькающих, словно спицы, с помощью которых солнце вращает земной шар на его оси, мощно, неторопливо исторгая его из недр тьмы, и брезжит рассвет, и занимается заря, наступает утро, ленивым потоком разливается полдень, поднимается все выше, к апогею, и венец света украшает чело безвозвратно падших серафимов. Солнце высится отвесным желтым столбом. Оно тяжко давит на плечи, когда он, с трудом сгибая непослушные, разъезжающиеся ноги, наклоняется

и срывает сперва сочную траву, потом цветы. Он рвет яркие дикие маргаритки, эти щедрые дары новорожденного лета, изобильного и расточительного. Порой его неловкая, плохо повинующаяся рука, вместо того чтобы обломить стебелек, скользит по нему, и на ладони остается лишь горстка смятых, изуродованных лепестков. Но прежде чем вернуться к ней, в недвижную полуденную тень, он успевает собрать много цветов. У него их даже больше, чем нужно; ему и двух цветков хватило бы с избытком. Он кладет траву перед ней, и из-под его неуклюжих, вслепую шарящих рук возникает, тут же расползаясь, жалкое подобие венка. Когда он надевает венок ей на голову, цветы рассыпаются, катятся по ее крутому лбу и жующей морде; трава и цветы смешиваются, превращаясь в нескончаемую жвачку. Челюсти мерно двигаются, и с губ свисает последний цветок.

В тот день полил дождь. Это началось неожиданно, Он смотрел, как падают капли, смотрел равнодушно, бессмысленно, безучастно, не зная, как быть, а дождь тем временем усилился и хлестал по земле редкими косыми струями, с разных сторон, во всю ширь горизонта, словно из чрева облаков вываливалась прозрачная петлистая пуповина, а в вышине вскормленные летом овцы, позвякивая солнечными колокольцами, щипали, как траву, юго-западный ветер. Казалось, дождь нарочно искал их обоих, шарил под деревом, где они стояли, и, наконец, найдя, обрушился на них без всякой пощады. Ветер, ревевший в соснах, утих, но тут же налетел снова; в разверзшейся, обессилевшей пустоте косматая шкура земли встала дыбом, как у кобылы в неистовстве страсти, и короткая оплодотворяющая гроза, все еще бушуя, с невыносимым сверкающим грохотом обсеменила землю и исчезла, канула неведомо куда; а потом уж небо прорвалось, словно разрешившись наконец от бремени, и хлынул настоящий проливень, дико заметался среди поникшей листвы, и то были не капли, а жгучие льдистые иглы, которые, казалось, совсем не летели к земле, а напротив, чуждые ей и неподвластные силе тяжести, торопились вслед за ревущим ветром, породившим их, вдохнувшим в них жизнь, - острые и хрупкие, они залетали ему в волосы, кололи сквозь рубашку, жалили лицо, обращенное к небу, и в каждом их сверкании была быстротечность, как быстротечны светлые и сладостные слезы девушки, плачущей над увядшим цветком; а потом и они исчезли, унеслись на север и на восток, где, как недосягаемое знамя перемирия, сверкала радуга, и оставили после своего шумного карнавала забытое конфетти, которое осыпалось с листка на листок, с ветки на ветку, с травинки на травинку, собираясь в говорливые ручейки и бесконечное число раз отражая небо, все в золотисто-голубых бликах, полоненное падающими каплями.

И вот все кончилось. Он снова берет в руки веревку, они выходят из-под дерева и продолжают свой путь, двигаясь так же неторопливо, как и раньше, но впервые с тех пор, как они вступили в лес, целеустремленно. Потому что близится закат. Хотя дождь был недолог, теперь кажется, что в этом беспорядочном и безвредном грохоте, в этой ярости было нечто такое, что нарушило непоколебимое и размеренное течение дня, - так внезапный, истошный плач ребенка, такой громкий и требовательный, что медлить невозможно, словно подстегивает время. Он вымок до нитки. Его комбинезон отяжелел, стал сырым и холодным - жалкие остатки, презренные следы щедрого великолепия, эта мертвенная сырость не сродни живой влаге неугомонной воды, которая унесла с собой в землю и сохранила даже там безбрежное приволье золотистого воздуха, и этот же воздух сверкает на листьях и ветвях, которые несметное число раз повторяют в миниатюре единую, сверкающую всеми цветами радуги вселенную. Они шествуют среди этого блеска. Скованные златой цепью мокрой веревки, они идут туда, где разливается несказанное сияние, прямо в закат. Они по-прежнему движутся за солнцем. Вот они поднимаются на последнюю вершину. Они придут вместе. В один и тот же миг все трое, одолев последний подъем, спускаются в синюю бездонность вечера и исчезают.

Быстрые сумерки стирают их с поблекшей страницы дня. Крошечные, словно еще не родившиеся на свет, сперва неотвратимые, а потом неотступные, безглазые, спускаются они с холма. Он по запаху находит корзину, снимает ее с сука и ставит перед ней. Она сует туда морду, сладко сопит, вдыхая сладкий запах еды, который вскоре сливается с запахом настойчиво и нетерпеливо рвущегося на волю молока, и оно течет по его пальцам, ладоням,

запястьям, теплое и густое, словно кровь самой жизни, неистощимая, самовозрождающаяся. Потом он оставляет на земле корзину, невидимую в темноте, примечает место, чтобы найти ее наутро, и идет к роднику. Здесь светлее, и он опять обретает способность видеть. И снова лицо его дробится, а потом возникает из осколков, когда он пьет и вместе с ним пьет его перевернутое мутнеющее отражение. Этот колодезь дней, тихий, бездонный, уходит в самые недра земли. Непостижимым образом удерживая в себе стремительный бег времени, он поглощает весь день, от зари до зари, - и вчера, и сегодня, и завтра; в нем теряется звездная россыпь и таинственные письмена ночного неба, ослепительно жаркий румянец зари, стремительный неудержимый разлив утра и сладострастно ленивое половодье полдня. А там послеполуденный отлив, и вот уже утро, день и вечер схлынули, стекли с неба, сползают на землю по притихшей листве, по веткам, сучьям и стволам, по траве, все вниз, вниз, в дремотном жужжании насекомых, пока наконец замирающий вздох нежных безмолвных уст родника не поглотит последние капли света. Он встает. Над болотом не утихает беспорядочная толчея светлячков. В вышине светится лишь яркая вечерняя звезда, но тотчас же на небо выходят стройные ряды созвездий, они петляют и кружатся, свершая свой неизменный путь. Вся лучистая в их слабом лучистом свете, она кажется невесомой, призрачной среди призрачно поблескивающей травы. Но она здесь, осязаемая на фоне нереальной земли. Он возвращается, легко ступая по этой земле, попирая безнадежно запутанный полог подземного сна - где Елена, и епископы, и короли, и непокорные серафимы. Когда он подходит, она уже ложится - подгибает сперва передние ноги, потом задние, в два приема погружаясь в утихшие воды вечера, снова свивая клубок сна, среди сладкого млечного фимиама. Они засыпают рядом.

3

Когда Хьюстон пришел домой и хватился коровы, уже начало смеркаться. Хьюстон был вдов и бездетен. С тех пор как три или четыре года назад он потерял жену, корова была на его ферме единственным существом женского пола. У него даже повар был мужчина, негр, он-то и доил корову, но в ту субботу он отпросился на негритянский праздник, обещав вернуться пораньше, чтобы подоить корову и сготовить ужин, только Хьюстон, конечно, не поверил этим обещаниям, он уже давно был сыт ими по горло, иначе он, пожалуй, вовсе не пришел бы домой ночевать и не хватился бы коровы до самого утра.

Как бы то ни было, он вернулся засветло не ужинать, потому что к еде он был совершенно равнодушен, а подоить корову. Мысль о том, что это необходимо сделать, не давала ему покоя весь день. По этой причине он и выпил в ту субботу чуть больше обычного, а человек он был хоть и крепкий, здоровый, но угрюмый от природы, да еще до крайности ожесточившийся против женщин, с тех пор как понес такую тяжкую утрату; и так как теперь ему не только предстояло тащиться домой и еще раз соприкоснуться с женским естеством, на которое он три года назад наложил заклятие, но вдобавок ко всему - в тот самый сумеречный час, после заката, особенно тягостный для него, когда по всему дому витал призрак жены, а иной раз даже сына, так и не родившегося у них, то, естественно, он был не в очень-то веселом расположении духа, когда пришел в хлев и увидел, что коровы нет.

Сначала он подумал, что, должно быть, она сама удрала, просто колотила в дверь рогами и копытами до тех пор, пока не соскочил засов. Но если так, непонятно, почему она, отягощенная полным выменем, не дожидается, мыча, у ворот. Там ее тоже не было, и он, ругая ее на чем свет, а заодно и себя за то, что не закрыл ворота, от которых тропа вела на выгон, свистнул своего пса и пошел назад к ручью. Еще не совсем смерклось. Следы можно было различить, и действительно он увидел следы босых человечьих ног, а поверх отпечатки коровьих копыт, но решил, что их отделяет друг от друга по меньшей мере шесть часов, но никак не шесть футов. Он сперва толком и не взглянул на них, так как был уверен, что знает, где корова, он был уверен в этом, даже когда у брода пес свернул в сторону от ручья и бросился вверх, на холм. Он сердито отозвал его. Даже когда пес остановился и с удивлением повернул к нему свою серьезную, умную морду, им все еще владела эта сердитая уверенность, порожденная хмелем, раздражением и давним, острым, неутихающим горем, и он кричал на

пса, пока не заставил его вернуться, а потом пинком погнал его к броду и сам перешел ручей следом за ним, а пес отстал было и пошел сзади, недоумевающий и настороженный, но он снова пинком погнал его вперед.

На выгоне коровы не было. Теперь, убедившись в этом, он понял, что ее свели со двора; сорвав злобу на собаке, он словно вернул себе какое-то подобие здравого смысла. Он пошел назад через ручей. В кармане штанов у него торчала еженедельная местная газета, которую он вынул из своего почтового ящика еще днем, по дороге в лавку. Он свернул ее и поджег. При свете этого факела он увидел следы слабоумного и коровы у самого брода, там, где они свернули к холму и, перевалив через него, вышли на дорогу, а потом газета догорела, и он стоял у дороги при свете первых звезд (луна еще не взошла), ругаясь ожесточенно, не со злобой, а с отчаянным негодованием и жалостью ко всей слепой плоти, способной надеяться и скорбеть.

Чтобы оседлать коня, ему нужно было пройти почти целую милю. Без толку кружа по выгону, он уже прошел в два раза больше и теперь кипел бессильной яростью, сам не зная против чего, еще сильнее распаляясь от бессилия, оттого что не на кого эту ярость излить; ему казалось, что он снова стал жертвой бессмысленной, но хитро подстроенной шутки, которую сыграло с ним все то же извечное, глумливое Коварство с единственной целью заставить его тащиться в темноте целую милю. Но хотя он никак не мог вразумить слабоумного, покарать его, зато мог вселить в него если не страх божий, то, по крайней мере, страх перед воровством и, уж конечно, страх перед ним, Джеком Хьюстоном, чтобы ему впредь неповадно было сводить со двора корову, и тогда ему, Джеку Хьюстону, уходя из дому, не придется больше гадать, будет корова в стойле или нет, когда он вернется. Однако сев наконец на своего коня и тронув его с места, овеваемый снежим ветерком, он почувствовав, что холодная, непреклонная ярость сменилась другим, более привычным чувством, злой насмешливостью, пожалуй, несколько грубоватой и тяжеловесной, но неодолимой, упорной, неподвластной даже безутешному горю; и поэтому задолго до того, как он добрался до Французовой Балки, он уже знал, что сделает. Он навсегда излечит этого дурачка от пристрастия к коровам верным и безотказным способом: заставит его выдоить ее и задать ей корм; сегодня он уедет домой, а завтра утром вернется и опять заставит его подоить ее и задать ей корм, а потом пешком отвести корову обратно. Поэтому он даже не остановился у дома миссис Литтлджон. Он завернул за угол и поехал прямо к загону; но миссис Литтлджон сама окликнула его из-за загородки, отбрасывавшей длинную густую лунную тень.

- Кто там?

Он остановил лошадь. "Ослепла она, что ли, даже пса моего не узнала", подумал он. И в ту же секунду он понял, что и ей ничего не скажет. Теперь он видел ее, высокую, длинную, как жердь, и почти такую же тощую, у самой загородки.

- Это я, Джек Хьюстон, - сказал он.

- Вам чего?

- Да вот, хотел напоить лошадь из вашей колоды. - А что, у лавки уж и воды не стало?

- Я из дому.

- Вот как, - сказала она. - А вы не... - Она говорила хриплой скороговоркой, запинаясь. И он почувствовал, что сейчас скажет ей это. А слова уже сами сорвались у него с языка:

- Об нем не беспокойтесь. Я его видел.

- Когда?

- Когда уезжал из дому. Он был там сегодня утром и вечером тоже. У меня на выгоне. Так что не беспокойтесь. Надо же и ему отдохнуть в субботу.

- А негр ваш небось ушел на гулянку? - проворчала она.

- Да, мэм.

- Так зайдите закусить. У меня кое-что осталось от ужина.

- Спасибо, я уже поужинал. - Он начал заворачивать лошадь. - Вы не волнуйтесь. Если он еще там, я прогоню его домой.

- Но вы, кажется, хотели напоить лошадь, - снова проворчала она.

- Правильно, - сказал он и въехал в загон. Для этого ему пришлось слезть с лошади, отворить ворота, потом затворить их и снова отворить и затворить их за собой, а потом сесть в седло. Она все еще стояла у загородки, но не откликнулась, когда он пожелал ей спокойной ночи.

Он поехал домой. Полная луна висела теперь высоко над деревьями. Он поставил лошадь в стойло, пересек двор, весь словно выбеленный, пройдя мимо коровника, зиявшего лунно-белой пустотой, вошел в дом, пустой и темный под серебристой крышей, разделся и лег на свою жесткую, как у монаха, железную койку, на которой он теперь спал, и пес лег рядом, а лунно-белый квадрат света, падавшего из окна, накрыл его, как накрывал их обоих, когда была жива его жена и вместо жесткой койки здесь стояла широкая кровать. Он больше не ругался, и в душе его уже не было ярости, когда на заре он - вывел коня на то самое место, где накануне потерял след, и сел в седло. Он разглядывал землю, испещренную бледным, непроницаемым узором, который оставили здесь за субботний вечер колеса, копыта и человеческие ноги - тут сама первобытная простота слабоумного, его неумение прятаться, в нужную минуту обернулись беспредельной хитростью, так порой человек живет и даже не подозревает, сколько мужества сможет он найти в своей душе в нужную минуту, - разглядывал землю, ругаясь, охваченный не злобой, но свирепым презрением и жалостью к этой немощной, бессильной, но такой несокрушимой плоти, которая была обречена и проклята еще до того, как появилась на свет и издала свой первый крик.

А между тем хозяин хлева уже нашел предательскую горку просыпанного корма и полукруглый след там, где стояла корзина; с одного взгляда он убедился, что и корзина украдена у него. След вывел его через двор к воротам и там потерялся. Но все было на месте, пропало лишь немного корма да старая корзина. Он собрал просыпанный корм, бросил его обратно в ясли, и вскоре скоре первая вспышка бессильной злобы, праведного возмущения столь грубым посягательством на его собственность, угасла, и за весь день только раз или два в нем снова просыпалось сердитое, мучительное недоумение; но на другое утро, когда он вошел в стойло и увидел безмолвную горку просыпанного корма и полукруглый след корзины, он чуть не задохнулся от изумления, за которым последовал яростный взрыв злобы, как это бывает с человеком, который выскочил из-под самых копыт взбесившейся лошади, избежав смертельной опасности, и вдруг поскользнулся на банановой корке. В этот миг он готов был на смертоубийство. Это было вторичное вопиющее нарушение древней библейской заповеди, гласящей, что человек должен трудиться в поте лица своего или ничего не иметь (заповеди, в которой он видел источник честности, смысл жизни, основу всего сущего), поругание моральной твердыни, которую он отстаивал более двадцати лет, сначала в одиночку, а потом вместе с пятью детьми, и победа его обернулась поражением. Теперь он был уже не молод, а когда начинал жизнь, у него не было ничего, кроме железного здоровья да неистощимого терпения и пуританской воздержности и умеренности, и он превратил участок тощей кочковатой земли, который купил, заплатив меньше доллара за акр, в прекрасную ферму, женился, растил детей, кормил их, одевал, обувал и даже дал им кое-какое образование, во всяком случае, научил их работать не покладая рук, и как только они подросли и вышли из повиновения, все, и сыновья и дочери, разбрелись кто куда (одна стала сестрой милосердия, другой - агентом у какого-то мелкотравчатого политикана, третья - проституткой, четвертый - цирюльником в городе, а старший сын и вовсе сгинул без следа), так что теперь у него только и осталась небольшая, хорошо обработанная ферма, политая потом, которую он ненавидел лютой ненавистью, и она, казалось, молчаливо платила ему тем же, зато уж она-то не могла уйти от него и прогнать его тоже не могла, но словно бы знала, что переживет его, переживет непременно, и его самого, и его жену, в которой было столько же, если не упорства, то, во всяком случае, сил и терпения, чтобы все переносить.

Он выбежал из хлева, клича жену по имени. Когда она появилась в дверях кухни, он крикнул, чтобы она шла доить, а сам бросился в дом, потом выскочил оттуда с дробовиком, снова пробежал мимо жены в конюшню, выбранив ее за то, что она замешкалась, взнуздал одного из мулов и, захватив ружье, доехал до загородки, где след потерялся. На этот раз он не

отступился и быстро отыскал след снова, - темная полоса еще виднелась в примятой, отягченной росой траве у него на покосе, пересекала поле и уходила в лес. Здесь, в лесу, след снова потерялся. Но он не отступился и теперь. Он был слишком стар для всего этого, слишком стар для столь долгой изнурительной злобы и кровожадной ненависти. Он еще не завтракал, дома его ждала работа, бесконечная работа, все та же изо дня в день, изнашивающая нервы и тело, - единственное, чем его мог доконать этот клочок земли, ставший его заклятым врагом, та самая работа, которую он делал вчера и должен делать сегодня, и завтра, и послезавтра, один как перст, или покориться, признать себя побежденным, отказаться от своей воображаемой победы над детьми; и так до тех пор, пока не пробьет его час, и тогда (он знал и это) он споткнется и упадет с еще открытыми глазами, руки его закостенеют, скрюченные, словно все еще сжимая рукояти плуга, и он останется лежать на свежей борозде за плугом или в густой траве, на лугу, все еще не выпуская из рук серп или топор, и эту последнюю победу над ним отпразднует каркающее воронье, и наконец какой-нибудь любопытный прохожий набредет на него и похоронит его останки. Но он не повернул назад. Ему даже посчастливилось вскоре снова напасть на след, он нашел три отпечатка на песке, в овраге, где бежал ручеек, нашел по чистой случайности, так как потерял след в миле от этого места; он имел вес основания усомниться в том, что это те самые следы, хотя это были именно они. Но он не усомнился ни на миг. День еще не наступил, а он уже узнал, чья это корова. В лесу ему встретился негр Хьюстона, тоже верхом на муле. В бешенстве и даже пригрозив негру ружьем, он крикнул, что не видел никакой коровы, ее здесь нет и не было, что это его земля, хотя в пределах трех миль ему не принадлежало ничего, кроме разве припрятанной где-то корзины, и велел негру убираться вон, чтоб и духу его здесь не было.

С тем он и вернулся домой. Но от своего не отказался: теперь он знал, что делать и каким путем достичь цели. У него созрел план, как не только проучить и наказать вора, но и возместить убытки. Он оставил мысль захватить вора врасплох; нет, уж лучше поймать корову, и либо потребовать деньги прямо с хозяина, либо, если тот откажется платить, воспользоваться своим законным правом и взыскать с него штраф за приблудную скотину, - хотя один-единственный законный доллар едва ли возместит ему потерянное время, не то время, которое он потратит, чтобы изловить корову, а то, которое уже потерял, оторвал от бесконечной, неумолимой работы, и батрака нанять он не мог, не потому, что заплатить был не в состоянии, а потому что во всей округе ни один человек, будь то белый или негр, ни за какие деньги не стал бы на него работать, а он знал, что если дать работе забрать над ним власть, тогда ему крышка. Он даже в дом не зашел, поехал прямо в поле, запряг мула в плуг, который с вечера оставил в борозде, и пахал до самого полудня, пока его жена не позвонила в колокол; поев, он снова вернулся в поле и пахал дотемна.

На другое утро, еще не погасла луна, а он уже снова был в хлеву и оседланный мул ждал в своем стойле. На фоне бледной зари он увидел приземистую, косолапую фигуру с корзиной в руках, она скользнула к яслям, и его собака молча шла следом, а потом вор снова вынырнул, облапив корзину обеими руками, как медведь, и заторопился назад к воротам, а собака все шла за ним по пятам. Увидев собаку, хозяин чуть не задохнулся от неудержимой ярости. В первое утро он слышал, как она заливалась лаем, но спросонья ничего не разобрал, а когда стряхнул наконец сон, она уже успокоилась; теперь-то он понимал, почему собака не лаяла на второе и третье утро, и знал, что попытайся он сейчас выйти из хлева, даже если вор не оглянется, то она может, чего доброго, залаять на него самого. А когда он наконец решил, что можно без риска вылезти из засады, во дворе никого не было, кроме собаки, которая стояла у ворот, глядя вслед вору сквозь загородку и не замечая хозяина, пока он злобным пинком не прогнал ее домой.

Правда, на росистой траве снова остался темный след, но когда он добрался до леса, то оказалось, что он повторил ошибку Хьюстона, недооценив всемогущество страсти, которая, видимо, так же как бедность и невинность, каким-то непостижимым образом изыскивает средства для самозащиты. Он проездил чуть ли не все утро натощак, кипя злобой, по лесной глухомани, среди веселой майской зелени, а позади него все выше и выше поднималось

неумолимое светило, словно знамение, напоминая ему о враждебном изнуряющем поле. В то утро ему удалось снова напасть на след - он был почти у цели и даже видел лужицу пролитого молока и примятую траву там, где стояла корзина, пока корова ела из нее. Он нашел бы и саму корзину, висевшую на суку, ее ведь никто и не пытался спрятать. Но ему в голову не пришло взглянуть вверх, потому что теперь он видел коровий след. Он поехал дальше, внешне спокойный и сдержанный, хотя внутри у него все кипело, теряя след, находя его и снова теряя, и так целое утро, почти до полудня, - этого средоточия света и тепла, которое, казалось, подогревало не только его кровь, но и те непостижимые ходы и пути, по которым растекалась его злоба. Но в тот же день он понял, что солнце тут ни при чем. Он тоже стоял под деревом, пока бушевала гроза, сверкала молния и холодный дождь беспощадно хлестал его бренное тело, которое робко съеживалось, но не теряло стойкости, а потом снова скакал по улыбчатому, девственно чистому лику земли, омытому золотистыми слезами. Теперь он был уже в семи милях от дома. До темноты оставался всего час. Он проехал назад мили четыре, и, только когда загорелась вечерняя звезда, ему вдруг пришло в голову, что беглецы могли просто-напросто вернуться на то самое место, где он видел лужицу молока. Он снова повернул мула без всякой надежды на успех. Даже злоба его оставила.

До дому он добрался за полночь, пешком, ведя в поводу мула и корову. Сначала он боялся, что вор убежит. Потом сам не знал, как от него избавиться. И пока тащился пешком до своего хлева, тщетно пытался прогнать это нелепое существо, этого слабоумного, который лежал у коровы под боком и вскочил с хриплым, испуганным криком, по которому он узнал, кто это, а теперь, спотыкаясь, со стопами, плелся следом, не отставая ни на шаг, даже когда он, слишком старый для всего этого, измученный не столько голодом, сколько неотступной, ни на миг не отпускавшей его злобой, оборачивался, кричал и ругался. Жена ждала у ворот с фонарем. Войдя во двор, он бережно передал ей веревку и недоуздок, аккуратно затворил за собой ворота, нагнулся, по-старчески медленно нашарил на земле палку, потом вдруг быстро выпрямился, накинулся на слабоумного и стал бить его, изрыгая проклятия хриплым, исступленным, задыхающимся голосом, а жена бросилась к нему, выкрикивая его имя.

- Перестань! - кричала она. - Слышишь, перестань! Ты что, хочешь себя в гроб вогнать?

- Ха! - сказал он, задыхаясь и дрожа. - Еще милю-другую пройду, не помру. Ступай принеси замок.

Замок был висячий. Это был единственный замок на всей ферме. Он висел на главных воротах, которые хозяин запер на другой день после того, как ушел последний из его детей. Жена принесла замок, а он тем временем все пытался прогнать идиота со двора. Но это странное существо было неуловимо. Двигалось оно неуклюже и неловко, не переставая стонать и пускать слюни, но он никак не мог ни схватить его, ни отпугнуть. Оно все время было у него за спиной, вне круга света, отбрасываемого фонарем, который держала жена, и не уходило, даже когда он поставил корову в стойло и, пропустив цепь в дверную ручку, замкнул замок. А наутро, когда он отомкнул цепь, это существо было в хлеву, рядом с коровой. Оно даже задало ей корм, хотя для этого ему пришлось вылезти из стойла, а потом снова залезть обратно, и все пять миль, до самой фермы Хьюстона, оно шло за ним по пятам, со стонами, пуская слюни, но когда они подошли к самому дому, старик обернулся и увидел, что его нет. Когда именно оно исчезло, он не знал. Возвращаясь назад со штрафным долларом в кармане, он осмотрел дорогу, чтобы понять, куда оно девалось. Но никаких следов он не нашел.

Корова не пробыла у Хьюстона и десяти минут. Сам Хьюстон сидел в это время дома и первым делом хотел было приказать негру отвести корову. Но тотчас передумал и вместо этого велел оседлать лошадь, а сам стоял, ждал и снова ругался с тем отчаянным и холодным презрением в котором не было ни отвращения, ни злобы. Когда он привел на двор корову, миссис Литтлджон запрягала лошадь в коляску, и ему даже не пришлось объяснять ей, что к чему. Они просто взглянули друг на друга, не как мужчина и женщина, а как две цельные натуры, которые, хоть и различными путями, обрели свой бесполый внутренний мир, неподвластный страстям. Она вынула из кармана чистую тряпицу, завязанную узелком.

- Не нужны мне ваши деньги, - грубо сказал он. Я просто хочу убрать ее с глаз долой.

- Но это его деньги, а не мои, - сказала она, протягивая ему тряпицу. Возьмите.

- Откуда у него деньги?

- Не знаю. Их дал мне В. К. Рэтлиф. Они его.

- Видно, и впрямь его, раз Рэтлиф их отдал. Но все равно они мне не нужны.

- Да посудите, ему-то они на что? - сказала она. - Разве может ему еще что-нибудь захотеться?

- Ну, ладно, - сказал Хьюстон и взял тряпицу. Он даже не развязал ее. Вздумай он спросить, сколько там денег, она не смогла бы ответить, потому что тоже ни разу их не считала. А он, кипя яростью, но внешне по-прежнему спокойный, с каменным лицом, сказал: - К чертовой матери, смотрите же, чтоб они и близко не подходили к моему дому. Слышите?

Загон для скота был устроен с задворья, позади дома, и задняя стена конюший не была видна ни из самого дома, ни с дороги. Собственно говоря, из Балки она ниоткуда не была видна, и в то сентябрьское утро Рэтлиф понял, что это и не нужно. Он шел по тропинке, которой не замечал раньше, которой не было тогда, в мае. Но вот наконец показалась эта задняя дощатая стена, одна доска в ней, как раз на уровне человеческого роста, была выломана и свисала к земле, - гвозди аккуратно загнуты остриями внутрь, и перед ней ряд неподвижных, словно окаменевших спин и голов. Теперь он знал, что ему предстоит увидеть, знал, как и Букрайт, что не хочет видеть этого, но, в отличие от Букрайта, все же решил посмотреть... А когда на него стали оглядываться, он уже держал оторванную доску в руках, держал так, словно готов был ударить их. Но голос его прозвучал лишь насмешливо, даже мягко, привычно, когда он выругался, совсем как Хьюстон: без злобы и даже без возмущения оскорбленной добродетели.

- Я вижу вы пришли полюбопытствовать, - сказал один из зрителей.

- Конечно, - сказал Рэтлиф. - Я ведь не вас ругаю, братцы мои. Я ругаю нас всех и себя тоже. - Он поднял доску и вставил ее на место. - А что этот... Как бишь его? Ну, этот новый... Лэмп. Он всякий раз берет с вас особую плату, или же вы приобрели абонементы на все спектакли? - Возле стены валялась половинка кирпича. Под их пристальными взглядами Рэтлиф стал приколачивать доску кирпичом, кирпич трескался и крошился, осыпая его руки мелкой пылью - сухой, горячей, мертвенной пылью, немощной, как жалкий грех и жалкое покаяние, а не яркой и великолепной, как кровь, как судьба. - Вот и все, - сказал он. - Конец. Дело сделано.

Он не стал дожидаться, пока они разойдутся. В ярком, подернутом легкой дымкой сиянии сентябрьского солнца он пересек загон и вышел на задний двор. Миссис Литтлджон была на кухне. И снова, как тогда с Хьюстоном, она все поняла без слов.

- Как по-вашему, о чем я думаю, когда смотрю из окна и вижу, что они крадутся вдоль загородки? - сказала она.

- Однако, как я погляжу, дальше раздумий дело у вас не пошло, - сказал он. - А все этот новый приказчик. Сноупсов подголосок. Ланселот Лэмп. Я знавал его мамашу.

Он знал ее и сам, и с чужих слов. Это была худенькая, энергичная, простая женщина, учительница, она всю жизнь прожила впроголодь, не скрывала этого и даже не подозревала, что живет впроголодь. Она росла среди целого выводка братьев и сестер, отец их, прирожденный неудачник, в промежутках между бесчисленными малыми банкротствами, которые не всегда сходили ему с рук, умудрился прижить со своей плаксивой и неряшливой женой столько детей, что ему не под силу было прилично их одеть и прокормить. А потом, пройдя за один летний семестр курс в педагогическом колледже штата, она попала в деревенскую школу с одной-единственной комнатой для занятий и, прежде чем кончился первый учебный год, вышла замуж за человека, который был в то время под следствием, потому что у одного коммивояжера пропал из камеры хранения ящик с образцами туфель, все были на правую ногу. Она принесла ему в приданое свое единственное достояние и оружие - умение мыть, кормить и одевать целый рой братьев и сестер, даже когда не хватает мыла, еды или одежды, и веру в то, что в книгах можно найти достойные подражания примеры чести, гордости, спасения и надежды; она родила единственного сына и нарекла его Ланселотом,

бросив этот дерзкий вызов у самой пасти западни, которая готова была захлопнуться, и отдала богу душу.

- Ланселот! - воскликнул Рэтлиф. Он даже не позволил себе выругаться, но не потому, что это пришлось бы не по вкусу миссис Литтлджон, она бы, пожалуй, и не услышала. - Лэмп! Подумать только, какой это был стыд и срам, когда он подрос и понял, как поступила мамаша с его именем и семейной гордостью, раз он предпочел прозываться просто Лэмпом! Это он выломал доску! И ведь знал, какую доску выламывать! Не вровень с головой ребенка или женщины, а так, чтобы в самый раз было заглянуть мужчине! Это он велел тому мальчугану следить за ними, а когда начнется, прибежать к лавке и сказать ему. Правда, он пока еще не принуждает их смотреть насильно, и тут он дал маху. Этого я никак не пойму. И этого пуще всего боюсь. Потому что ежели он, Лэмп Споупс, Ланселот Сноупс... Я сказал подголосок! - воскликнул он. - А хотел сказать - отголосок. В общем - жулик.

Он умолк, истощив запас своего красноречия, смешался, онемел в сердитом недоумении, уставившись на эту женщину, высокую, как мужчина, и по-мужски суровую, в выцветшей кацавейке, которая ответила ему таким же пристальным взглядом.

- Вот-вот, - сказала она. - Вас ведь совсем не то зудит. Вам не дает покоя, что человек по имени Сноупс, или, вернее, этот самый Сноупс придумал что-то такое, а вам и не понять для чего. Или, может, вас смущает, что люди приходят и глазеют на них? Пусть, мол, будет как есть, лишь бы никто не знал, не видел, так, что ли?

- Надо это прекратить, - сказал Рэтлиф. - Пусть я фарисей, против этого я никогда и не спорил. И пожалуйста, не говорите мне, что у него ничего на свете нет. Сам знаю. Или зачем, мол, отнимать у него единственную радость. Я и что знаю. Или что это не мое дело. Знаю, что и то, что я не оставлю ему эту единственную его радость просто-напросто потому, что у меня хватит силы отнять ее. Я сильнее его. Не добродетельнее. И быть может, ничуть не лучше. Просто сильнее.

- Как же вы хотите с этим покончить?

- Не знаю. Может, я и не могу этого. А может, и не хочу. Может, все, чего я хочу, - это показать, какой я, мол, порядочный, чтобы иметь право сказать себе: я сделал, как считал нужным, теперь совесть моя чиста и сегодня, по крайней мере, я могу спать спокойно.

Но он, видимо, знал, что делать. Правда, он постоял немного на крыльце миссис Литтлджон, но лишь для того, чтобы взвесить все возможности, или, вернее, перебрать в памяти лица Сноупсов: вот злое упрямое лицо со сросшимися бровями; вот вытянутая, румяная, открытая, безлобая физиономия словно ломоть арбуза над кожаным фартуком кузнеца; и еще одно, третье, которое, казалось, не имело никакого отношения к черному сюртуку, а было просто привязано к нему ниткой, как воздушный шарик, его черты словно беспорядочно разбегались от длинного унылого профессорского носа, как будто это размалеванное, похожее на воздушный шарик лицо только что вытащили из-под проливного дождя, - Минк, Эк и А. О.; а потом он, чертыхаясь, почти физическим усилием заставил себя снова сосредоточиться на важном, не терпящем отлагательства деле, и все это время он неподвижно стоял на верхней ступеньке крыльца, и по его знакомому всем, спокойному, скрытному лицу скользила едва заметная улыбка, а перед внутренним его взором снова проходили все те же три лица, и он снова молча их разглядывал. Первый и слушать его не станет; второй даже не поймет, о чем речь; а третий при таких обстоятельствах будет вести себя, как автомат на вокзале, в который, чтобы привести его в действие, надо опустить медную монетку или металлический жетон, - тогда вы получите взамен неизвестно что, с одной лишь гарантией, что вещь эта будет стоить меньше, чем монета или жетон. Он подумал даже о старшем или, по крайней мере, первом из них - о Флеме, подумал, что, должно быть, впервые там, где люди живут, дышат и строят свою жизнь на денежной основе, кто-то желает, чтобы Флем Сноупс был здесь, близко, а не за тридевять земель, все равно где, все равно зачем.

Близился полдень, и человек, который был ему нужен, вот уже целый час как вышел из лавки, он видел это своими глазами. Справившись у лавки, где он живет, Рэтлиф через десять минут свернул с дороги к воротам в новой проволочной загородке. Дом был тоже новый,

одноэтажный, некрашеный. На неровной, кое-как разбитой высохшей клумбе перед крыльцом и в ржавых жестянках и кадках по обе стороны от него увядали пыльные летние цветы канны и герани, все сплошь красные. На заднем дворе играл знакомый Рэтлифу мальчик. Дверь отворила рослая, сильная, молодая женщина со спокойным лицом, - один ребенок сидел у нее на закорках, а другой выглядывал из-за ее юбки.

- Он у себя, занимается, - сказала она. - Идите

прямо к нему.

Стены в комнате тоже были некрашеные, дощатые, и вся она была похожа на сейф - такая же тесная и душная, но все же Рэтлиф сразу заметил, что пахнет в ней не как на квартире у холостого дядюшки, а скорее как в чулане, где стареющая вдовица хранит свои платья. Ему тотчас бросился в глаза сюртук, лежавший в ногах кровати, потому что хозяин - в руках у него действительно была книга, а на носу очки, - как только отворилась дверь, встрепенулся, вскочил со стула, схватил сюртук и начал его надевать.

- Пожалуйста, не беспокойтесь, - сказал Рэтлиф. - Я на минутку. Насчет вашего двоюродного брата Айзека. - Но тот уже надел сюртук и поспешно застегивал его на все пуговицы поверх бумажной манишки, заменявшей ему рубашку (манжеты были подшиты прямо к рукавам сюртука), потом снял очки, все так же суетливо, словно спешил надеть сюртук только для того, чтобы снять очки, причем Рэтлиф заметил, что в оправе нет стекол. Он уставился на гостя тем пристальным, уже знакомым Рэтлифу взглядом, который должен был выражать одновременно озабоченность и глубокий ум, взглядом, который, казалось, существовал сам по себе, независимо от его глаз, зрения - скорее, это была плесень у него на зрачках, какой-то случайный налет, вроде того пушка, который дети сдувают с одуванчиков.

- Я насчет той коровы, - сказал Рэтлиф. Теперь черты лица пришли и движение. Они разбежались и разные стороны от длинного носа, который торчал карикатурой на глубокомысленную рассудительность и решимость, но в то же время с наглой издевкой выражал холодное любопытство, растекавшееся по осклабленному лицу. А потом Рэтлиф заметил, что глаза вовсе и не смеются, а изучают его, и в них таится какая-то умная настороженность или, во всяком случае, затаенное, пусть не вполне твердое, подозрение.

- Да, там, кажется, есть на что поглядеть! - Сноупс визгливо хохотнул. - С тех пор как Хьюстон подарил ему корову, а миссис Литтлджон отвела им стойло, я часто думал - жаль, что никто из его родственников не баллотируется на государственную должность. Хлеба и зрелищ, как говорится, и карьера обеспечена.

- Не выйдет, - сказал Рэтлиф. Он сказал только эти два слова, спокойно, не повышая голоса. Сноупс тоже остался невозмутим: неизменная гримаса, длинный, неподвижный нос, глаза, которые жили словно сами по себе. Помолчав, Споупс сказал:

- Не выйдет?

- Не выйдет, - сказал Рэтлиф.

- Не выйдет, - сказал и Сноупс. "Одно из двух - то ли он в самом деле умный, то ли здорово притворяется", - подумал Рэтлиф. - Но я-то тут ни при чем.

- Разве? - сказал Рэтлиф. - Ну, а как вы полагаете, что будет, если через какой-нибудь месяц вы пойдете к Биллу Уорнеру просить оставить за вами место учителя, и тут-то окажется, что жена Цезаря, которая должна быть выше подозрений, не без греха?

Сноупс не переменился в лице, потому что черты его все время были в движении, каждая сама по себе, хотя все это была одна плоть, утвержденная на одном черепе.

- Очень благодарен, - сказал Сноупс. - Как вы думаете, что нам теперь делать?

- Нам - ничего, - сказал Рэтлиф. - Я ведь не претендую на место учителя.

- Но должны же вы помочь. В конце концов, покуда вы не ввязались, все было в полном порядке.

- Нет, - сурово сказал Рэтлиф. - На меня не рассчитывайте. Но одно я сделаю. Я останусь здесь и погляжу, что предпримут его родственники. Допустят ли они, чтобы люди смеялись над этим несчастным.

- Да, конечно, - сказал Сноупс. - Это никуда не годится. Вот в чем вся и суть. Плоть слаба,

ей немного надо. Глаз искушает грешника; надо помочь ближнему избавиться от бревна в глазу, да к тому же с глаз долой - из сердца вон. Нельзя, чтобы наше доброе имя трепали зря. Слишком долго Сноупсы высоко держат голову в здешних краях, чтобы теперь их упрекали в попустительстве.

- Не говоря уж о месте учителя, - сказал Рэтлиф.

- Конечно. Мы устроим совет. Семейный совет. Соберемся сегодня же в лавке.

Когда Рэтлиф пришел в лавку, все уже были в сборе - кузнец, учитель и с ними приходский священник, здешний фермер, человек семейный, простой, недалекий, честный, суеверный и добродетельный, он не учился в семинарии, не имел сана, не был утвержден собором духовенства, - просто много лет назад Билл Уорнер назначил его священником, подобно тому как назначал школьных учителей и шерифов.

- Все улажено, - сказал А. О., когда Рэтлиф вошел. - Брат Уитфилд знает способ. Только...

- Да нет же, я просто сказал, что знаю случай, когда это средство подействовало, - поправил его священник.

И тогда он, учитель, объяснил:

- Надо зарезать ту скотину, которая ему полюбилась, сварить кусок мяса и дать ему съесть. Но это непременно должно быть мясо той самой коровы, или овцы, или от чего там надо его отвадить, и чтоб он обязательно знал, что ест; нельзя заставлять его есть силой или хитростью, и подсунуть мясо другой коровы тоже нельзя. Тогда он успокоится и больше не будет для всех посмешищем. Только...- И тут Рэтлиф увидел, как его расползающееся лицо на миг стало задумчивым и злым. -...только миссис Литтлджон не отдаст нам корову задаром. Вы, кажется, говорили, что ее подарил ему Хьюстон?

- Нет, не я, - сказал Рэтлиф. - Это вы мне говорили.

- Но ведь так оно и было?

- Спросите миссис Литтлджон, или самого Хьюстона, или своего двоюродного брата.

- Ладно, не все ли равно. Так или иначе, даром она корову не отдаст. Так что придется за нос платить. И вот чего я никак не возьму в толк - она говорит, что не знает, какая ей цена, велела у вас спросить.

- Да ну, - только и сказал Рэтлиф. Теперь он не смотрел на Сноупса. Он смотрел на священника.

- А вы наверняка знаете, что это средство подействует, ваше преподобие? - сказал он.

- Знаю только, что был случай, когда оно подействовало, - сказал Уитфилд.

- Выходит, вы знаете, что были и другие случаи, когда оно не подействовало?

- Я знаю только один случай, когда его пробовали.

- Ну что ж, - сказал Рэтлиф. Он взглянул на обоих Сноупсов - двоюродных братьев, дядю с племянником, или кем там они друг другу приходились. - Это обойдется вам в шестнадцать долларов восемьдесят центов.

- Шестнадцать долларов восемьдесят центов? - сказал А. О.- Сто чертей! - Его маленькие, бесцветные глазки быстро забегали, заскользили по лицам. Наконец он повернулся к священнику. - Послушайте, что я вам скажу. Корова не из одного мяса состоит. На ней еще много всякого наросло, чего при рождении не было. Все это тоже часть коровы - рога, шерсть. Почему бы не взять клок шерсти и не сварить суп, что ли; можно бы и крови малость добавить, чтобы уж совсем без обмана...

- Нет, нужно ее тело, мясо, - сказал священник. - Я так понимаю это лечение, что если надо его отвадить, пусть поймет, что ее уж на свете нет.

- Но шестнадцать долларов восемьдесят центов... - сказал А.О. Он взглянул на Рэтлифа. - Не думаю, что бы вы согласились уступить хоть сколько-нибудь.

- Нет, - сказал Рэтлиф.

- И Минк ничего не даст, тем более что Билл Уорнер сегодня утром постановил взыскать с него штраф, - сказал А. О. желчно. - И Лэмп тоже. Вообще-то и Лэмпу скоро придется выложить денежки, но за что, это уж не ваше дело, - сказал он Рэтлифу. - И Флема нет. Так что остаемся мы с Эком. Если только брат Уитфилд не пожелает помочь нам из нравственных

соображений. В конце концов что порочит одного из паствы, порочит и все стадо!

- Нет, - сказал Рэтлиф. - Ему нельзя. Я и сам слышал об этом средстве. Все должна взять на себя кровная родня, иначе оно не подействует.

Маленькие блестящие глазки все так же перебегали с лица на лицо.

- А ведь вы ничего об этом не говорили, - сказал он,

- Я сказал все, что знаю, - сказал Уитфилд. - Откуда мне знать, на какие деньги тогда купили корову.

- Но шестнадцать долларов восемьдесят...- пробормотал А. О.- Сто чертей.

Рэтлиф посмотрел на него - теперь глаза его были гораздо хитрее, чем казалось раньше; нет, он не умен, поправил себя Рэтлиф. Хитер. Только теперь он в первый раз взглянул на своего брата, или племянника.

- Значит, Эк, остаемся мы вдвоем.

И тогда брат, или племянник, в первый раз открыл рот.

- Ты хочешь сказать, что мы должны ее купить?

- Да, - сказал А. О.- Ты, конечно, не откажешься принести эту маленькую жертву ради имени, которое носишь.

- Ладно, - сказал Эк. - Раз уж мы должны...

Он достал из-под кожаного фартука огромный кожаный кошель, открыл его и держал в закопченном кулаке, - так держит ребенок бумажный пакет, собираясь надуть его воздухом. - Сколько?

- Я ведь живу бобылем, - сказал А. О.- А у тебя трое детей.

- Четверо, - поправил его Эк. - Мы ждем еще одного.

- Значит, четверо. Так что я полагаю, единственный способ - это разложить издержки в соответствии с той пользой, которую получит каждый от его излечения. Ты должен уплатить за себя и за четверых детей. Это выходит пять к одному. Значит, я плачу доллар восемьдесят центов, а Эк - пятнадцать долларов, потому что трижды пять - пятнадцать и пятью три - тоже пятнадцать. И пускай Эк возьмет себе шкуру и все мясо, какое останется.

- Но мясо и шкура не стоят пятнадцать долларом. сказал Эк. - А если бы и стоили, мне они все равно без надобности. На что мне столько - на целых пятнадцать долларов.

- Но ведь это не просто мясо и шкура. Так уж сложились обстоятельства. Мы свое доброе имя защитим.

- А с какой стати мне это доброе ими должно влететь в пятнадцать долларов, а тебе - всего в один доллар восемьдесят центов?

- Честь Сноупсов - вот, что всего дороже. Можешь ты это понять? До сих пор на ней не было ни единого пятнышка. Ее надо хранить чистой, как мраморный памятник, чтобы твои дети могли носить нашу фамилию не краснея.

- Но все же я никак не пойму, почему я должен заплатить пятнадцать долларов, а ты всего только...

- Потому что у тебя четверо детей. Ты сам - пятый. А пятью три пятнадцать.

- Но у меня пока только трое, - сказал Эк.

- А я что говорю? Пятью три! Если бы у тебя родился еще один, то было бы четыре, а пятью четыре - двадцать, и мне вообще не пришлось бы ничего платить.

- Но кому-то пришлось бы дать Эку три доллара двадцать центов сдачи, сказал Рэтлиф.

- Что-о? - сказал А. О. Но тут же снова повернулся к своему брату, или племяннику. - Кроме того, ты получишь мясо и шкуру, - сказал он. Пожалуйста, не забывай об этом.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Жена Хьюстона была некрасива. Умом она не блистала да еще была бесприданница. Круглая сирота, невзрачная, почти дурнушка и даже не такая уж молоденькая - ей было двадцать четыре года,- она жила в доме у дальней родственницы, которая воспитала ее как сумела, в меру своего крестьянского ума, происхождения и житейского опыта, и он взял ее оттуда вместе с небольшим сундучком, где было скромное простенькое белье сурового

полотна, простыни и полотенца, подрубленные вручную, скатерть, которую она вышила своими руками, да с неисчерпаемым запасом верности и постоянства единственным ее достоянием. Они поженились, а через полгода ее не стало, и вот уже больше четырех лет он горевал о ней, дикий, угрюмый, неотступно верный ее памяти, и ничего другого у него не было.

Они знали друг друга с детства. Оба были единственными детьми у родителей, оба родились на фермах, в каких-нибудь трех милях друг от друга. Оба принадлежали к тому же приходу и ходили в ту же школу с одним-единственным классом для занятий, и хотя она была младше на пять лет, когда он поступил в школу, она училась уже во втором классе, и, несмотря на то что, проучившись два года, он так и не перешел в следующий класс, она по-прежнему была лишь на класс выше, а потом он исчез, ушел не только из отчего дома, но и вообще из Балки, уже в шестнадцать лет убегая от извечных пут, и пропадал целых тринадцать лет, а потом вдруг объявился, причем, решив вернуться, знал (должно быть, даже проклиная себя), что, когда приедет, застанет ее дома и не замужем; и он не ошибся.

В школу он пошел четырнадцати лет. Он не был диким, а просто необузданным, и руководила им не столько отчаянность, сколько неодолимая жажда, но жажда не жизни или даже движения, а вольной неподвижности, именуемой свободой. К учебе он отвращения не питал; его возмущало лишь неизбежное принуждение, необходимость повиноваться. Он отлично справлялся с хозяйством на отцовской ферме, а мать научила его подписывать свое имя и вскоре после этого умерла и перестала наконец пилить мужа, добиваясь, чтобы тот определил мальчика в школу, которой он счастливо избегал целых четыре года, используя материнскую любовь к баловню сыну для защиты против суровости гордого отца; он по-настоящему радовался, когда ему поручали все более ответственные дела, и даже любил трудную работу, которую отец давал ему, желая сделать его человеком. Но в конце концов он сам пал жертвой своей хитрой тактики: даже отцу стало ясно, что на ферме ему учиться больше нечему. Пришлось ему пойти в школу, где он был отнюдь не примерным, а скорее беспримерным учеником. Он был сознательным гражданином еще до того, как получил право голоса на выборах, и мог бы быть отцом до того, как выучился читать по складам. В четырнадцать лет он уже знал вкус виски и завел любовницу - негритянскую девушку на два или три года старше его, дочь отцовского арендатора, - и вот теперь он вынужден был зубрить азы на четыре, пять, а потом и на все шесть лет позже своих сверстников, слишком взрослым для этого; великан среди лилипутов, поневоле искушенный во многом, он, естественно, презирал одноклассников и был решительно неисправим, и не то чтобы упорствовал в своем нежелании учиться, а просто был уверен, что ему это не интересно, не дается, да и вообще ни к чему.

Потом ему казалось, что, когда он вошел в класс, первое, что он увидел, это скромно склоненную головку с гладко зачесанными каштановыми волосами. А еще позже, когда он уже считал, что убежал от нее, ему казалось, что она была с ним всю его жизнь, даже те пять лет между его и ее рождением; не то чтобы она каким-то непостижимым образом жила на свете эти пять лет - нет, сам он начал жить, только когда она родилась, и с этого часа они были на веки вечные связаны друг с другом не любовью, но непреклонной верностью и упрямым отпором: с одной стороны - твердая, несокрушимая воля переделывать, улучшать, совершенствовать, с другой - яростное, отчаянное сопротивление. Это была не любовь, не то обожание, преклонение, какое открыла ему страсть в опыте, ограниченном, конечно, но не таком уж невинном. Он признал бы, принял это чувство как должное, покорился бы ему, как покорялся, сталкиваясь с этим чувством, которое он называл добровольным рабством, в тех женщинах - матери и любовнице,- с какими до тех пор имел дело. Но он даже не подозревал, даже понятия не имел о том, что такое настоящее рабство,- то упорное, постоянное, деспотичное стремление раба не только безраздельно владеть, поглотить без остатка, но и тиранить, переделывать поработителя по своему образу и подобию. Пока что он даже не был ей нужен, и не потому, что она была слишком молода, а потому, вероятно, что не считала его готовым для этого. Она выбрала его из всего людского муравейника не как человека, который

отвечает всем ее требованиям, а как настоящего мужчину, с которым она могла бы создать и построить настоящую жизнь.

Она пыталась помочь ему в занятиях, вытянуть его, не для того, чтобы он кончил школу или хотя бы чему-то научился, стал умнее и образованнее; видимо, ей хотелось только, чтобы он своевременно переходил из класса в класс, как все ученики. Сначала он думал, что она, вероятно, хочет дотянуть его до того класса, где ему следовало быть по годам, и если бы ей это удалось, она, пожалуй, предоставила бы его самому себе, пусть переходит в следующий класс или остается на второй год - как требует его характер и натура. Быть может, она так и сделала бы. Или, быть может, у нее, у которой хватило доброты попытаться ему помочь, хватило и ума понять, что он не только никогда не догонит своих сверстников, но не сможет поспеть и за теперешними своими одноклассниками, и даже более того: все это не имеет никакого значения, и даже если он останется на второй год, это тоже не имеет значения, коль скоро она приложила к этому руку.

Это была борьба, поединок, молчаливый и упорный, между несокрушимым стремлением не к любви или страсти, а к браку, и яростным непреклонным стремлением к свободе и одиночеству. В эту первую зиму он должен был остаться на второй год. Он и сам этого ждал. И не только он - этого ждала вся школа. А она никогда даже не заговаривала с ним, проходила мимо на площадке для игр, даже не взглянув на него, но каждый день на его парте непременно появлялось яблоко или кусок пирога, который она уделяла ему из своего завтрака, а в одном из его учебников - засунутый украдкой листок с решенными задачками, или исправленными грамматическими ошибками, или упражнениями, написанными круглым, твердым детским почерком - обещание и награда, которую он отвергал, помощь, которую он отталкивал, и он злился не потому, что видел в этом злоупотребление своей наивностью и доверчивостью, но потому, что не мог выразить свое презрение и негодование открыто и не был уверен, что скрытое проявление его чувств - он яростно вышвыривал еду и рвал листки бумаги - хоть как-то проникало в эту скромно потупленную, упрямую головку, обращенную к нему в профиль, или в полоборота, или даже затылком, а он даже никогда не слышал, чтобы она назвала его по имени. А потом один малыш, раза в три меньше него, пропел дразнилку, в которой вместо обычного "Люси Пейт и Джек Хьюстон жених и невеста" говорилось, что Люси Пейт тащит Джека Хьюстона за уши во второй класс. Он ударил малыша так, словно дрался со своим ровесником, четверо старшеклассников сразу же схватили его, а он отчаянно вырывался, и вдруг мальчишки попятились, и она пробилась к нему, молотя его врагов раннем по головам. Он ударил ее с той же слепой яростью, что и малыша, и она отлетела в сторону. Еще минуты две он был в совершенном неистовстве. Даже когда его повалили на землю, четверым мальчикам пришлось скрутить его куском проволоки, сорванным с загородки, а потом, развязав его, они бросились врассыпную.

Это была его первая победа. Он остался на второй год. Осенью, когда он пришел в школу, в тот же самый класс, великан среди карликов, которые были ему по колено, и его окружил рой малышей, еще младше, чем в прошлом году, он решил, что совсем избавился от нее. Конечно, он по-прежнему видел ее лицо, и оно ничуть не стало дальше или меньше. Но он надеялся, что теперь разделявшая их бездна увеличилась еще на один класс. Так что он считал, что игра выиграна, и торжествовал победу; целых два месяца прошло, прежде чем он узнал, что и она тоже срезалась на весенних испытаниях и осталась на второй год.

Теперь его охватил почти панический страх. Он понял, что размах и характер борьбы между ними изменился. Она не стала ожесточеннее - дальше уж было некуда,- но теперь это была борьба зрелых людей. До сих пор, при всей ее полнейшей серьезности, в ней было что-то детское, что-то последовательное в своей нелепости, разумное в своей бессмысленности. Теперь же это была борьба между взрослыми; в это лето, когда они и виделись-то лишь в церкви на богослужениях, в какой-то миг древняя, изодранная перчатка биологического различия полов была брошена и поднята. Словно бы, сами того не сознавая, оба разом узрели исконного Змея и вкусили от Древа Познания, уже готовые и жаждущие насладиться его плодом, но не умеющие сделать это, хотя он к этому времени уже успел кое-чему научиться.

Он больше не находил на парте яблок и пирогов - только листки, неизбежные, неотвратимые, без единой ошибки, в учебниках, в карманах пальто, в почтовом ящике на воротах своего дома; каждый месяц, когда класс писал контрольную работу, он сдавал чистый листок и получал назад другой с отличной оценкой, исписанный тем же почерком, который все больше и больше становился похож на его руку - даже подпись не отличишь. И всегда это ее лицо, хотя она по-прежнему ни разу с ним не заговорила, даже не взглянула на него, это лицо, склоненное к парте, обращенное к нему в профиль или в три четверти, спокойное и невозмутимое. И он не только видел его весь день, но уносил его вечером с собой и утром, просыпаясь, снова видел его, все такое же безмятежное и непреклонное. Он пытался избавиться от него, вспоминая свою любовницу-негритянку, но оно все стояло перед ним, неизменное, безмятежно спокойное, и не было в нем ни злобы, ни печали, ни даже укоризны, оно заранее все прощало, прежде чем он решался подумать о прощении или мог заслужить его, оно ждало, спокойное, пугающее. Однажды в этом году ему взбрела в голову отчаянная мысль избавиться от нее навсегда, лишив ее возможности помогать ему, засесть за учебу и наверстать потерянные годы, догнать класс, в котором ему следовало учиться. Он даже пытался сделать это, но его хватило ненадолго. Всегда и всюду было это лицо. Он знал, что никогда не сможет уйти от него,- оно не будет тянуть его назад, нет, теперь уж ему, в свою очередь, придется нести его с собой, подобно тому как оно держало его вне времени и пространства все эти пять лет, когда она еще не родилась; и он не только не сможет уйти, он не сможет даже преодолеть этот один-единственный год, разделяющий их, и чего бы он ни достиг в жизни, она всегда будет тут как тут, на год впереди, и ее не обойти, не обогнать. Так что выход был только один, тот же самый: идти назад он не мог, назад было уж некуда, но мог тормозить, вонзать незримые, сдерживающие шпоры в бока скачущей во весь опор школьной премудрости.

Так он и сделал. Ошибка его была в том, что он думал - есть же предел женской беспощадности. Каждый месяц он сдавал учителю чистый листок и получал назад безукоризненно выполненные контрольные, и сверху было аккуратно надписано его имя; месяц проходил за месяцем, и близились переводные испытания. Он сдал учителю чистые листки, на них не было ничего, кроме его имени да грязных следов пальцев на сгибе, в последний раз закрыл учебники, которые не успел даже замусолить, и вышел из школы, свободный, если не считать маленькой подробности - учитель не сказал ему, что оставляет его на второй год. Весь день, до самого вечера, его не покидало это чувство свободы. Он уже раздевался, чтобы лечь спать, и стянул было одну штанину, но вдруг, не мешкая ни секунды, решительно сунул ногу обратно и босой, без рубашки выбежал из дома. Отец его уже спал. Школа была не заперта, но чтобы залезть в учительский стол, ему пришлось сломать замок. Все три его контрольные были там - листки, точно того же формата, какие он сдал чистыми,- по арифметике, по географии и сочинение, - если бы он не знал, что подал вместо сочинения пустой листок, да еще не отдельные слова в нем, которые он видел в первый раз в жизни и не мог даже произнести, и не все остальные слова, которые он знал, но не мог понять, он сам не поручился бы, что не он написал это сочинение.

Он вернулся домой, собрал кое-какую одежонку, взял револьвер, который был у него уже три года, и разбудил отца; в эту летнюю полночь, при свете лампы, они виделись в последний раз - испуганный, но полный решимости юноша и желчный, сухой, жилистый человек, почти на целую голову ниже сына, небритый, с густой копной спутанных седых волос, в ночной рубашке до пят, который вынул из кармана штанов, валявшихся на стуле, потертый бумажник и, отдав сыну все, что там было, надел на нос очки в железной оправе, написал вексель на выданную сумму с процентами и заставил его подписаться. - Ну вот,- сказал он.- А теперь катись ко всем чертям. Ты все-таки мой сын и в шестнадцать лет должен суметь себя прокормить. Я, по крайней мере, сумел. Но держу пари еще на столько же, сколько я тебе сейчас выдал, что не пройдет и полугода, как ты запросишь помощи.

По дороге он зашел в школу и положил контрольные на место, вместе с чистыми листками; если бы ему удалось, он починил бы и сломанный замок. Он даже рассчитался с отцом, хотя пари не проиграл. Он возвратил деньги через год, выиграв как-то субботним

вечером в кости втрое больше того, что был должен, в Оклахоме, на строительстве железной дороги, где он работал табельщиком.

Он бежал не от своего прошлого, а от будущего. И лишь через двенадцать лет понял, что нельзя убежать ни от того, ни от другого. Он работал кочегаром на паровозе и скоро должен был получить повышение, стать машинистом, а жил он в то время в Эль-Пасо, в маленьком, чистом, каменном домике, арендованном на четыре года, с женщиной, которую соседи, лавочники и прочий люд считали его женой и которую он взял семь лет назад из Голвестонского публичного дома. А до того он убирал пшеницу в Канзасе, пас овец в Нью-Мехико, снова работал на строительстве железных дорог в Аризоне и западном Техасе, потом был грузчиком в Голвестонских доках; и если он все еще бежал от нее, то сам того не подозревая, потому что прошло много лет с тех пор, как он и думать перестал о том, что наконец-то забыл ее лицо. Он не подозревал об этом, когда убедился, что с помощью одного лишь расстояния нельзя убежать ни от прошлого, ни от будущего. (Расстояние - что за скудость воображения, что за нелепая вера в разлуку у человечества, которое не сумело изобрести лучшего способа для бегства; и в первую очередь, у него самого, думавшего, будто расстояние - не обыкновенное пространство, но среда, воздух, без чего нечем дышать свободному бродяге.) И если он оставался верен себе - убегая от одной женщины, залезал под юбку к другой, как в юности бежал от матери к негритянке, то не подозревал этого, почти силой вытащив из публичного дома на рассвете женщину, которую впервые увидел накануне в полночь; при тусклом свете газового рожка между ним и хозяйкой в папильотках разыгралась душераздирающая сцена, словно он похищал из дома единственную дочь, наследницу всего состояния.

Они прожили вместе семь лет. Он перестал скитаться, снова поступил на железную дорогу и даже продвинулся по служебной лестнице; он был верен ей душой и, за редкими исключениями, телом, а она, в свою очередь, была преданна ему, благоразумна, непритязательна и не сорила попусту его деньгами. Она жила под его фамилией в меблированных комнатах, где они поселились вначале, а потом - в арендованном доме в Эль-Пасо, который они называли своим и обставляли как могли. Хотя она и не заикалась об этом, он даже подумывал о женитьбе на ней,- настолько влияние Запада, который был тогда еще так молод, что поощрял свободу личности, смягчило, а потом и вовсе вытеснило наследственное фанатическое представление о браке, женской чистоте и грехах Марии Магдалины, свойственное протестантам провинциального Юга. Правда, оставался еще отец. С ним он не виделся с той самой ночи, когда ушел из дома, и не чаял свидеться снова. Нет, отец для него не умер, не стал еще более далеким, чем старый дом в штате Миссисипи, где они виделись в последний раз; просто он не мог представить себе, что они встретятся где-нибудь еще, кроме Миссисипи, а возвращение туда он мыслил лишь в старости. Но он знал, как отнесся бы отец к его женитьбе на бывшей проститутке, а до сих пор, что бы он ни делал, он не совершил ни одного поступка, который, по его мнению, не мог бы совершить или, по крайней мере, не одобрил бы отец. А потом пришло известие, что отец умер (с той же почтой он получил письмо от соседа, который предлагал ему продать ферму. Он отказался. В то время он сам еще не знал почему), и это препятствие отпало. Но по сути дела его никогда и не было. Он решил этот вопрос наедине с собой давным-давно, ночью, когда темный паровоз несся сквозь мрак, лязгая на стыках рельсов: "Может, она и была не бог весть что, да ведь и я не святой. Зато вон уже сколько лет она лучше меня". Возможно, со временем у них родится ребенок. И он решил подождать этого, как знамения. Сначала он даже не допускал такой возможности - в нем говорил все тот же фанатик-протестант: десница божия тяготеет над грешником даже после духовного возрождения; вавилонской блуднице всевышний затворил утробу навеки. Он не знал, сколько должно пройти времени, сколь долгий искус целомудрия может принести ей очищение и отпущение грехов, но рисовал себе это так: в какой-то миг, таинственный и неисповедимый, короста, оставленная безымянными и безликими мужчинами, спадет, язвы, выжженные продажной страстью, зарубцуются и изгладятся на ее оскверненном теле.

Но теперь это было позади - не тот непостижимый миг, который должен был принести

очищение, но тот час, тот день, в который, как ему казалось, она должна была сказать ему, что беременна и что им надо пожениться. Теперь это осталось далеко позади. Этого не будет никогда. И как-то ночью, на двенадцатом году своего бегства из дому, устраиваясь на ночлег в меблированных комнатах на конечной станции, где он ночевал между сменами, он вынул письмо трехлетней давности и понял, почему он тогда не принял предложение соседа. "Поеду домой",- сказал он себе. И это все, никаких объяснений; ему даже не представилось лицо, которое он до того дня, как пришел в школу, не мог бы описать, а теперь не мог и вспомнить. На другой день, сделав рейс до Эль-Пасо, он взял из банка деньги, накопленные за семь лет, и разделил их поровну. Но женщина, которая семь лет была ему женой, едва взглянула на деньги и стала его ругать.

- Я знаю, ты жениться надумал,- сказала она. Слез не было, она просто кляла его на чем свет стоит.- На что мне деньги? Погляди на меня. Думаешь, я так не проживу? Возьми меня с собой. Буду жить в каком-нибудь городке по соседству. А ты приезжай когда вздумается. Разве я тебе мешала?

- Нет,- сказал он.

Тогда она принялась проклинать его, их обоих. "Пусть бы она лучше толкнула меня, ударила, чтоб я взбесился и побил ее",- подумал он. Но до этого не дошло. Она ругала не столько его, сколько ту женщину, которую никогда не видела, которую даже он едва мог вспомнить. И тогда он поделил свою долю денег - тех денег, что всегда сами шли к нему в руки, он был счастливец, не потому, что эти деньги достались ему легко, не потому, что он нашел их, выиграл или заработал без труда, а потому, что пороки и удовольствия, которые были ему нужны, обходились недорого и от этого не слишком тощал кошелек,- и уехал домой, в Миссисипи. Впрочем, и тогда, как видно, ему понадобился еще целый год, чтобы убедиться, что он и не хочет бежать от прошлого и будущего. Соседи решили, что он приехал продать ферму. Но проходили недели, а он и не думал ее продавать. Пришла весна, а он ни в аренду ее сдавать не собирался, ни сам работать не начинал. Он жил себе в старом, построенном еще до гражданской войны доме, который хоть и не походил на дворец с колоннадой, но и раньше был велик для троих, и месяц проходил за месяцем, но, видно, он был в отпуске и за ним сохранялось то место на Техасской железной дороге, где, как они слышали от его отца, он работал, и он все жил один-одинешенек, и если с кем встречался, то лишь со своими сверстниками за бутылкой виски или за картами, да и то не часто. Летом он изредка появлялся на пикниках, а по субботам всегда сидел вместе с другими на галерее лавки Уорнера, разговаривая, или, вернее, отвечая на расспросы, что да как на Западе, нисколько не замкнутый или скрытный, а просто они как бы говорили на разных языках, не понимая вопросов и ответов друг друга. Жизнь его обуздала, хоть это и не очень-то было видно по нем. Лицо его еще было отмечено печатью скитаний и одиночества, но оно уже как-то потухло, стало разумнее, в нем появилась даже какая-то осознанная, хоть и бесстрашная настороженность; этого дикого зверя, всегда одинокого, вдруг потянуло в западню, и он знал, чувствовал, что это западня, и хоть не понимал, почему он обречен, по знал, что это неизбежно, и уже не боялся, уже становился почти ручным.

Они поженились в январе. Деньги, привезенные из Техаса, давно растаяли, хотя все в округе еще считали его богачом, - иначе как мог бы он жить целый год, не работая, а потом жениться на сироте, бесприданнице. Поскольку он за все платил наличными, соседи раз и навсегда уверовали, что он при деньгах, подобно тому как сперва все были убеждены, что домой его пригнала нищета. Он заложил часть земли у Билла Уорнера и на полученные деньги стал строить новый дом, поближе к дороге. И еще он купил жеребца - это был как бы свадебный подарок невесте, хотя сам он никогда этого не говорил. А может быть, эта горячая кровь, эти кости и мышцы воплощали и для него то многобрачие, то необузданное мужское начало, от которого он отрекся, но он и этого никогда не говорил. И если кое-кто из соседей и знакомых - Билл Уорнер или, скажем, Рэтлиф - поняли, что он действительно искал в этом себя, намеренно старался заполнить пустоту своего отречения, то и они ничего не сказали.

Через три месяца после свадьбы дом был отстроен, и они переехали туда, наняв

негритянку для стряпни, хотя из всех соседей единственная наемная повариха, белая или негритянка, была только у Уорнеров. Со всей округи к ним стали съезжаться гости, мужчины - взглянуть на жеребца, женщины полюбоваться светлыми комнатами, новой мебелью, всякой хозяйственной утварью и машинами для облегчения труда и экономии времени, о которых они только мечтали, листая каталоги. Они смотрели, как она без устали хлопочет, устраиваясь на новом месте, в простом скромном платьице, скромно причесанная, и ее скромное лицо расцвело, стало почти красивым,- она не удивлялась своему счастью, не наслаждалась воздаянием за свое постоянство и верность, а лишь вспыхивала радостным, ярким, откровенным румянцем, когда гости говорили, что дом, мол, поспел к самому сроку, и в окно спальни заглянет полная апрельская луна.

А потом жеребец ее убил. Она искала в конюшне куриное гнездо. Слуга-негр предупредил ее: "Это не просто лошадь, мисси. Это конь, мужчина. Не ходите туда". Но она не испугалась. Она словно бы поняла, угадала это его перевоплощение, эту раздвоенность, и если не сказала вслух, то подумала: "Глупости. Ведь теперь мы - муж и жена". Он вбежал в стойло ошалевшего жеребца с ножом, но негр удержал его, уговорил подождать, пока из дому принесут револьвер, и, пристрелив жеребца, он четыре года и два месяца прожил в новом доме с собакой и негром-поваром. Он продал кобылу, купленную для жены, продал корову, которая была у него в то время, рассчитал повариху и раздал кур соседям. Новая мебель была куплена в рассрочку. Он свалил ее в сарай около старого дома, где он родился, и написал торговцам, чтобы те приехали и забрали ее. В новом доме осталась только печь, кухонный стол, за которым он ел, и койка, заменившая кровать у окна спальни. В первую ночь, когда он лег на койку, тоже было новолуние, поэтому он перенес койку в другую комнату и поставил ее у северной стены, куда не достигал лунный свет, а еще через две ночи даже попробовал переночевать в старом доме. Но там он потерял все - не только покой, но даже ту жестокую, неистребимую тоску, в которую можно было уйти с головой.

Тогда он вернулся в новый дом. Луна была уже на ущербе, до следующего новолуния был целый месяц, и оставался лишь этот единственный час между закатом и ночной тьмой, когда он глушил свою тоску усталостью. А усталость стоила дешево; ему не только предстояло выкупить землю, которую он заложил у Билла Уорнера, но и пришлось улаживать неприятности с торговцами, у которых была куплена в рассрочку мебель,- они не хотели брать ее обратно. Пришлось ему снова заняться фермой, и с каждым днем он все больше убеждался в том, что многое позабыл. Так что иной раз он и не замечал, как подкрадывался этот страшный час, пока не чувствовал, что он близится, подступает и вот уже набрасывается на него и начинает его душить. В этот час ее неукротимый дух и порой даже дух сына, который, быть может, родился бы у них и будущем году, витали по всему дому, построенному для нее, хотя теперь в нем уже не было ни одной вещи, которую она бы трогала, держала в руках или видела, кроме печи, кухонного стола и одного платья - не сорочки или ночной рубашки, а клетчатого платьишка, похожего на то, в котором он впервые увидел ее в школе, да еще этого окна, из-за которого он даже в самые жаркие летние вечера, пока негр готовил ужин, сидел в душной кухне, пил виски из каменного кувшина, разбавляя его тепловатой водой из дубовой кадки, и разговаривал вслух, все больше ожесточаясь, богохульствуя яростно и непримиримо, но ему не на кого было броситься, некого было одолеть, победить.

Но рано или поздно луна снова начинала прибывать. Бывали ночи почти безлунные. И все же в конце концов серебристо-белый прямоугольник света опять падал на него из окна всю ночь, которой, казалось, не будет конца, как когда-то падал на них обоих, помнивших старинное поверье, что в апреле полная луна способствует зачатию. Но теперь рядом с ним в лунном свете не было никого, да и места ни для кого не оставалось. Потому что койка была слишком узка, и лишь резкая черная тень падала вниз, на пол, где, невидимый, спал его пес, а он лежал навзничь, неподвижный, непримиримый, и скрежетал зубами. "Не знаю, не знаю,- шептал он.- Не понимаю и не пойму никогда. Но Тебе меня не одолеть. Я не слабее Тебя. Тебе меня не одолеть".

Он был еще жив, когда начал падать с седла. Сперва он услышал грохот, а еще через миг

понял, что, вероятно, почувствовал удар, прежде чем услышал выстрел. И тут обычное течение времени, к которому он привык за тридцать три года своей жизни, нарушилось. Ему показалось, что он ударился о землю, хотя он знал, что еще не долетел до нее, еще падает, а потом он перестал падать, очутился на земле и, вспомнив все раны в живот, какие ему доводилось видеть, подумал: "Если я сейчас не почувствую боль, значит, конец". Он жаждал почувствовать ее и никак не мог понять, почему она медлит. Потом он увидел провал, бездну, где-то над тем местом, где должны быть его ноги, и, лежа на спине, он видел, как через эту бездну тянутся оборванные и спутанные концы нервов и чувств, слепые, как черви, тоньше волоса, они ищут друг друга, чтобы снова соединиться, срастись. Потом он увидел, как боль, словно молния, прочертила пустоту. Но она пришла не изнутри, а откуда-то извне, из такой знакомой, уходящей от него земли. "Постой, погоди,- прошептал он.- Подступай потихоньку, не вдруг, тогда я, может быть, тебя вынесу". Но она не желала ждать. Она с ревом обрушилась на него, подбросила сто и скорчила. Она не желала ждать. Она желала немедленно ввергнуть его в пустоту, и тогда он вскрикнул: "Скорей! Скорей же!" - глядя из кровавого рева вверх, на лицо, с которым его навеки связал, сочетал этот выстрел, этот патрон десятого калибра - мертвец, который унесет живого за собой в могилу; живой, которого не приемлет земля, должен будет вечно носить с собой убиенного в его бессмертии - а потом, видя, что переломленная двустволка неподвижна: "Сволочь, не мог выклянчить два патрона, ты голь перекатная..." - и осекся. Глаза его, все еще открытые уходящему солнцу, вдруг подернулись влагой, и по чужим, бесчувственным щекам покатились, сразу же высыхая, блестящие капли, словно накипевшие, истовые слезы.

2

Выстрел был слишком громким. И не потому, что это был выстрел,- слишком громок был самый звук, громче громкого. Казалось, даже пространство и эхо, подхватившее этот звук, ополчились против него, когда он встал на защиту своих прав, против несправедливости, и грохот вздымался все выше и выше над кустами, где он притаился, и над темной, едва видной дорогой, еще долго после того, как он плечом почувствовал отдачу, и запах черного пороха рассеялся, а лошадь, шарахнувшись, поскакала прочь, и пустые стремена бились о пустое седло. Он не брал в руки ружья вот уже четыре года и даже не был уверен, что хотя бы два из тех пяти патронов, что у него были, выстрелят. Выстрелил второй - первый дал осечку: курок щелкнул впустую, и этот щелк был оглушительней грома, и он должен был снова прицелиться и нашарить второй спуск, а потом раздался грохот, которого он и не слышал после нового оглушающего щелчка, дым и вонь пороха заставили его попятиться назад, в чащу, и припасть к земле, на миг ему стало дурно, так что даже если бы он и мог выстрелить еще раз, все равно было бы уже поздно, и пес тоже исчез, предательски бросим его здесь, в лесу, где он дрожал и задыхался, притаившись за поваленным деревом.

Теперь нужно было покончить с этим делом, покончить не так, как ему хотелось, но так, как вынуждала необходимость. Ему не пришлось преодолевать, обуздывать слепой, безотчетный, отчаянный страх, побуждающий бежать без оглядки. Напротив. Больше всего на свете ему хотелось бы оставить на груди убитого печатный плакат: "ВОТ ЧТО БЫВАЕТ С ТЕМИ, КТО ОТБИРАЕТ СКОТИНУ У МИНКА СНОУПСА" - и подпись. Но сделать этого он не мог, и снова, вот уже в третий раз с того мгновения, как он спустил курок, он наталкивался все на тот же заговор с целью ущемить, попрать его человеческие права и надругаться над его чувствами. Нужно было встать, выйти из кустов и сделать то, что теперь необходимо, даже не для того, чтобы покончить с этим, а чтобы как-то завершить начатое, потому что, еще прежде чем он услышал стук копыт и вскинул ружье, он уже знал, что так будет: прицелился он, чтобы убить врага, а попал всего-навсего в труп, который теперь надо куда-то спрятать. Он сел около дерева, закрыл глаза и стал медленно считать вслух, чтобы унять дрожь, а когда стук копыт и этот возмутительно громкий выстрел замерли в его ушах, он встал и, не выпуская из рук переломленное ружье с негодным патроном в одном стволе, вышел на дорогу, уже почти бегом. Но все равно, домой он мог вернуться, только когда стемнеет.

Стало темнеть. Он выбрался из балки, взглянул на холм, где было его тощее и жалкое

поле, а потом увидел и ее - некрашеную лачугу из двух комнат, со сквозным коридором, с пристроенной кухонькой, - лачуга ему не принадлежала, он платил за нее не налог, а аренду, и за один год это обходилось ему почти во столько же, сколько стоило бы построить новую; лачуга была не очень ветхая, но крыша уже текла, дощатые стены попортила непогода, и она как две капли воды была похожа на ту лачугу, где он родился, тоже не принадлежавшую его отцу, и в такой же точно лачуге он умрет, если только ему суждено умереть под крышей, вероятно, так оно и случится,беспокойное, неукротимое сердце, вдруг, нежданно, остановится, когда он будет где-нибудь между кроватью и столом или, быть может, даже на пороге,- и она как две капли воды похожа на шесть или семь других лачуг, в которых он жил с тех пор, как женился, и еще на двенадцать или четырнадцать других, в которых, он знал это, ему еще предстоит жить, прежде чем он умрет, но теперь он хотя бы был уверен, что платит аренду собственному двоюродному брату, и это все, чего он, Минк, может достичь, собственного крова над головой у него никогда не будет. Во дворе играли двое детей,- завидев его, они вскочили, не сводя с него глаз, повернулись и побежали к дому. А потом ему показалось, что он видит ее, она стоит у открытой двери, почти на том же месте, где стояла восемь часов назад, уставившись ему в спину, а он сидел тогда у холодного очага, смазывая ружье растопленным свиным салом,- ничего другого у него не было, а сало, пропитанное сухой солью, вместо того чтобы смазывать металл, застывало на нем твердыми подтеками, словно мыло; она стояла у двери, словно за все это время не шелохнулась ни разу, в дверном проеме, словно в раме, и хотя лампа не была зажжена, казалось, что она залита ослепительным светом, как в тот день, когда она стояла среди гула хриплых, невидимых мужских голосов в открытых дверях столовой, там, на юге Миссисипи, в исправительном лагере, где девять лет назад он увидел ее в первый раз. Он перестал глядеть на дом; он только мельком взглянул на него и побрел через желтые и чахлые всходы кукурузы, желтые и чахлые, потому что у него не было ни денег на удобрение, ни тягла, ни орудий, чтобы как следует обработать поле, и некому было помочь ему, и он трудился один, надрывая силы и здоровье, а тут еще погода стояла просто невероятная, - после неслыханно дождливой весны, когда с середины мая и до самого июля не переставая лил дождь, началась засуха, словно все силы небесные были заодно с его врагами. Он брел среди пустых, пожелтевших стеблей, неся ружье, такое большое, что ему и нести-то его, казалось, было невмоготу, не то что прицелиться и выстрелить,- семь лет назад он отдал за него последние гроши, да и то оно ему досталось лишь потому, что никто другой не хотел его брать - калибр слишком крупный, так что охотиться с ним стоило только на оленей или, по крайней мере, на диких гусей, да и патроны к нему дорогие, так что тратить их стоило только на человека.

Больше он на дом не глядел. Он прошел мимо, за трухлявый забор, к колодцу, прислонил ружье к срубу, разулся, зачерпнул ведро воды и принялся мыть башмаки. Вдруг он почувствовал, что она стоит у него за спиной. Он сидел на ветхой скамеечке и даже не обернулся - маленький, в чистой линялой рубашке и заплатанном комбинезоне, и, наклонив ведро над башмаком, тер башмак кукурузным початком. Она засмеялась, хрипло, долгим смехом.

- Я тебе что говорила нынче утром,- сказала она.- Что, ежели ты выйдешь за порог с этим ружьем, я уйду из дому.- Он не поднял головы, склонившись над мокрым башмаком, засунув в него руку, словно сапожную колодку, и тер его кукурузным початком.- Не твое дело - куда. И узнать не пытайся, где я, когда они придут за тобой.- Он не ответил. Покончив с одним башмаком, он поставил его на землю, сунул руку в другой, плеснул на него воды из ведра и начал тереть.- Но далеко я не уйду! - воскликнула она вдруг глухо, не повышая голоса.- Своими глазами я хочу видеть, как тебя повесят!

Он встал. Аккуратно поставил на землю недомытый башмак, положил рядом с ним початок и встал, маленький, почти на полголовы ниже ее, босой, и двинулся на нее неторопливо, чуть избочившись, нагнув голову и даже не глядя на нее, а она стояла в проломе забора,- крашеные волосы снова потемнели у корней, потому что вот уже год она не могла наскрести денег на краску, лицо, глядевшее на него с хриплым, неумолчным смехом, глаза, в

которых поблескивало любопытство. Он ударил ее по зубам. Он глядел, как его рука словно бы нехотя, с трудом, ударила по лицу, которое не уклонилось, не сморгнуло глазом.

- Ты ублюдок, душегуб окаянный! - сказала она, и изо рта у нее брызнула алая кровь. Он ударил ее снова, пачкая в крови руку, потом еще и еще, расчетливо, не спеша, и в этом не было умысла, а только бесконечное, терпеливое упорство и неодолимое изнеможение.

- Уходи,- сказал он.- Уходи, уходи.

Он пошел за ней через двор, поднялся на крыльцо, но через порог не перешагнул. Хотя в комнате было почти темно, он видел ее с порога на фоне узкого серого прямоугольника окна. Потом чиркнула спичка, вспыхнул язычок пламени и задрожал над фитилем, так что теперь она была освещена резким светом, а вокруг нее незримо метались шумные и безгласные тени мужчин, без имени, без числа,- временами, даже когда он видел своих детей, ему казалось, что оно никогда не рожало, это ее тело, пришедшее к нему еще до того, как за два доллара был зарегистрирован их брак, который не освятил, а лишь закрепил их отношения, и всякий раз, как он к ней подходил, ему мешала не одежда, а эти похотливые тени, которые стали частью его прошлого, словно он сам, а не она, прежде покорно отдавался им; и, несмотря на ее грязную мешковатую одежду, он даже из холодных беззвездных ночных далей, где нет ни страсти, ни ненависти, готов был созерцать это, повторяя: "Это как хмель. Это для меня как дурман". Потом, при свете той же спички, поднесенной к фитилю, он увидел лица обоих детей, словно этой единственной спичкой она прикоснулась ко всем троим разом. Они сидели в уголке на полу, не таясь, не прячась, сидели в темноте, должно быть, с тех самых пор, как он поднялся со дна балки и они убежали от него, и во взглядах их было то же, что жило в нем самом: не приниженность, а лишь упрямство, и древняя, усталая мудрость, и приятие непримиримого противоречия между желаемым и действительным, неизбежного из-за того, что все трое были слабые и щуплые, и уж от этого никуда не денешься, и, отвернувшись от него, они без удивления посмотрели на окровавленное лицо матери и не сказали ни слова, когда она сняла с гвоздя платье, расстелила его на соломенном тюфяке и завернула в него нехитрые пожитки - кое-что из одежды, единственную пару подростковых ботинок, которую они по очереди надевали в зимнюю стужу, треснутое зеркальце, деревянную гребенку, щетку с отломанной ручкой.

- Пошли,- сказала она.

Он посторонился, давая им дорогу,- дети жались к ее юбке, и, когда они выходили из комнаты, он на миг потерял их из виду, а потом увидел снова, они шли впереди нее по коридору, и он двинулся следом, но, не подходя вплотную, опять остановился на пороге, когда они вышли на крыльцо и спустились по ветхим, трухлявым ступеням. У крыльца она замешкалась, и тогда он снова двинулся вперед, нее так же неумолимо и устало, но остановился, когда увидел, что старшая девочка, бесшумная и бесплотная в темноте, потому что была уже почти ночь, перебежала двор, быстро подобрала что-то с земли и вернулась к матери, прижимая к груди деревяшку, к которой были прибиты вместо колес четыре крышки от круглых жестянок из-под табака. Они пошли дальше. Теперь он остался на месте. Казалось, он даже не смотрел на них, когда они вышли через сломанные ворота.

Он пошел в дом, задул лампу, и вокруг сразу стало темным-темно, словно слабый, дрожащий язычок пламени унес с собой последние остатки дня, так что, вернувшись к колодцу, он ощупью нашарил кукурузный початок и башмак и соскреб с него остатки грязи. Потом он вымыл ружье. Когда оно впервые попало ему в руки, когда оно было новое, или, по крайней мере, новое для него, при нем был и шомпол. Он сам сделал этот шомпол, вырезал его из камыша, тщательно обстругал и выровнял, а на конце просверлил аккуратное отверстие для ветошки, и почти целый год, пока у него были деньги на порох, дробь и капсюли, чтобы снаряжать патроны и хоть иногда охотиться, он берег шомпол даже больше ружья, потому что ружье он купил, а шомпол сделал своими руками. Но теперь шомпол потерялся, неизвестно где и когда, вместе с другими вещами, нажитыми с тех пор, как он вышел в люди, вещами, которые некогда были ему дороги, но он растерял их где-то по пути до того, как стал взрослым, и теперь у него нет ничего, кроме пустого дома, не принадлежащего ему, и ружья, да еще

воспоминания о том непоправимом миге, когда он вскинул двустволку, прицелился и заставил себя нажать на спуск, о миге, который ничто, кроме смерти, не изгладит из его памяти. Он плеснул на ружье воды из ведра, снял рубашку, вытер ружье насухо, взял башмаки, вернулся в дом и, не зажигая лампы, стоя в темноте у холодной печи, стал есть руками из горшка холодные бобы, а потом пошел и лег прямо в комбинезоне на кровать с соломенным тюфяком в комнате, которая наконец опустела, исчезли даже шумные тени, лег навзничь, не смыкая глаз, вытянув руки вдоль туловища, ни о чем не думая. А потом он услышал собачий вой.

Сначала он не шелохнулся: если бы не его мерное, ровное дыхание, его можно было бы принять за труп, так неподвижно он лежал, а вой замер вдали, и спустилась ночная тишь, пронизанная мириадами звуков, а потом ее снова разорвал вой - громкий, тягучий, горестный. Он не шелохнулся. Он словно был готов, словно ждал этого, и лег, угомонился, выбросил все из головы не для того, чтобы уснуть, а чтобы собраться с духом и силами, как бегуны и пловцы, перед отчаянным усилием, с каким ему теперь предстояло жить, и пролежал так минут десять, прежде чем со дна балки донесся тягучий вой, словно знал, что эти десять минут - последние минуты покоя в его жизни. Потом он встал. Все так же в темноте он натянул на себя еще сырую рубашку и башмаки, которые только что вымыл, снял с гвоздя, вбитого за дверью, новую веревку, которая так и висела кольцом, как скрутил ее две недели назад его двоюродный брат, приказчик в лавке Уорнера, и вышел из дома.

Ночь была безлунная. Он спустился вниз меж сухими, невидимыми в темноте кукурузными стеблями, находя дорогу по звездам, пока не добрался до леса, черную стену которого усеивали дрожащие искорки светлячков, а из глубины доносилось кваканье лягушек и собачий вой. Войдя в лес, он уже не мог видеть неба, но только теперь понял то, что должен был понять уже давно: можно идти на вой собаки. Он пошел на вой, оскользаясь и падая в грязь, ползком продираясь сквозь колючие кусты и спутанные ветви буйного подлеска, наталкиваясь на невидимые стволы, прикрывая лицо рукой, обливаясь потом, а неумолчный собачий вой все надвигался и вдруг смолк на полуноте. На миг ему показалось, что он видит горящие собачьи глаза, хотя у него не было фонаря, свет которого они могли бы отразить, и вдруг, сам не зная, что делает, он бросился туда, где ему померещились эти глаза. Он больно ударился плечом о первое же дерево, отлетел в сторону, но удержался на ногах, вытянув руки и все еще по инерции двигаясь вперед. Он почувствовал, что падает. "Если впереди дерево, мне крышка",- мелькнула у него мысль. И вдруг он коснулся рукой пса. Он почувствовал на себе его дыхание и услышал лязг зубов, когда пес прыгнул на него и тут же отскочил, а он остался на четвереньках в грязи, пока не смолк вдали треск веток под невидимыми лапами.

Он стоял на коленях у самого откоса. Нужно было только встать и, пригнувшись, все еще прикрывая рукой лицо, спуститься вниз, в глубокую, по щиколотку, хлюпкую, недоступную солнечным лучам жижу, полную гниющих растений, и сделать еще шаг или два, чтобы добраться до кучи веток. Он сунул свернутую веревку за пазуху, нагнулся и начал разгребать гнилые осклизлые сучья. Что-то закопошилось среди веток, испустив сдавленный, по-детски жалобный крик; зверек, обезумев от страха, уцепился за его ногу, когда он пнул его, успокаивая себя: ведь это только опоссум. Опоссум, и все. И он снова нагнулся над ворохом смрадных, мокрых веток, расшвыривая их, пока не добрался до трупа. Потом он вытер испачканные грязью и илом руки о рубашку и комбинезон, подхватил труп под мышки и стал пятиться, волоча его за собой понизу. Это был не овраг, а старая лесосека, поросшая молодыми деревцами и теперь почти невидимая, фута на два ниже уровня земли. Так он прошел добрую милю, волоча за собой тело, которое было тяжелее его фунтов на пятьдесят, и лишь изредка останавливаясь, чтобы вытереть потные руки о рубашку и убедиться, что он идет правильно, если был виден хоть клочок неба и кроны знакомых деревьев.

Потом он свернул в сторону, вытащил труп наверх и, по-прежнему пятясь, прошел еще сотню шагов. Видимо, он точно знал, где находится, потому что ни разу даже не обернулся, а потом наконец выпустил труп, выпрямился и нащупал то, что искал, остов некогда могучего дуба, без верхушки, высотой футов в десять,- таким сделала его молния, или время, или тлен. Два года назад он проследил, как туда залетела дикая пчела; слега, которую он тогда вырубил

и приставил к стволу, чтобы добраться до меда, была на месте. Он вынул из-за пазухи веревку, обвязал одним концом труп, разулся и, держа другой конец в зубах, взобрался на ствол, сел на закраину и, перехватывая веревку, подтянул кверху труп, чуть не вдвое больше него, и тело билось и скребло о кору, пока не легло на край ствола, словно полупустой мешок. Узел на веревке затянулся намертво. Потеряв терпение, он вынул нож, перерезал веревку и сбросил труп в дупло. Но труп тут же застрял, и только теперь, когда было уже слишком поздно, он сообразил, что следовало перевернуть его вниз головой. Он попытался втиснуть его, нажимая на плечи, но труп не просто застрял, его заклинила вывернутая рука. Тогда он привязал конец веревки к обломку сука, который был у него под ногой, обмотал ее вокруг запястья, встал на плечи трупа и начал прыгать на нем, и труп неожиданно провалился, а он повис на веревке. Он стал карабкаться вверх, перехватывая веревку руками, соскребая костяшками пальцев трухлявую древесину, и мелкая, едкая, сухая пыль набилась ему в ноздри, словно табак. Потом он услышал, как сук треснул, веревка соскочила, и он отчаянно рванулся вверх, теряя опору, и одной рукой, самыми кончиками пальцев, ухватился за верхнюю закраину ствола. Но когда он повис на ней всей тяжестью, гнилое дерево не выдержало, он уцепился за закраину второй рукой, но и под ней дерево крошилось, и он карабкался яростно, бесконечно долго и тщетно, ловя ртом воздух и устремив горящие глаза в далекое сентябрьское небо, где стрелки на звездных часах давно уже переползли за полночь, пока наконец дерево не перестало крошиться, и он повис на руках, тяжело дыша, а потом ему наконец удалось подтянуться и сесть верхом на кран. Отдышавшись, он слез на землю, взвалил слегу, прислоненную к стволу, на плечо и оттащил ее шагов на двадцать от полянки, а потом вернулся назад и обулся. Когда он добрался до дому, уже занималась заря. Он стянул с себя облепленные грязью башмаки и лег на соломенный тюфяк. И тогда, словно она только и ждала, чтобы он лег, собака снова завыла. Ему показалось, что он даже слышал, как она набрала воздуху, прежде чем ее вой в первый раз донесся из балки, где еще царила ночь, тишь, размеренная, гулкая, нескончаемая.

Дни его теперь превратились в ночи. Он выходил из балки, когда загоралась утренняя звезда или даже всходило солнце, и шел к дому через свою запущенную, чахлую кукурузу. Теперь он уже не мыл башмаки. Он и снимал-то их не всегда, и не разводил огня в печи, ел стоя прямо из горшка холодные бобы, покуда не съел все до крошки, и пил холодный, выдохшийся кофе, покуда не выпил все до капли, а потом, когда не стало ни того, ни другого, съедал пригоршню муки из почти пустого бочонка. День-другой он страдал от голода, потому что такая жизнь с непривычки была тяжелее самой каторжной работы, да и покоя он не знал ни на минуту. Но постепенно он привык и тогда понял, что конец может быть только один, а значит - конца не будет, и голод больше не мучил его. Он просыпался, вставал и говорил себе: "Надо поесть", - и ел сухую муку (скоро в бочонке ничего не осталось, кроме жесткой корки на стенках, ее приходилось соскабливать ножом), которая не лезла в глотку и, очевидно, была ему даже не нужна, словно тело его питал твердый, неукротимый дух, заменяя организму запасы жира. Потом он ложился на соломенный тюфяк прямо в комбинезоне и башмаках, заляпанных свежей, еще даже не начавшей подсыхать грязью, не переставая жевать, и небритая щетина топорщилась вокруг его рта, набитого мучным крошевом, словно, ложась, он не забывался, а лишь ненадолго нырял в слепое и немое безмолвие, чтобы освежиться и обновить силы, как порой человек окунается в ванну, и просыпался на исходе дня, будто по звонку будильника, всегда в одно и то же время, словно и не ложился, потому что лишь тело, но не дух, было обременено усталостью и нуждалось в отдыхе. Потом он растапливал плиту, хотя варить ему было нечего, кроме поскребышей в бочонке из-под муки. Ему хотелось не есть, а выпить горячего, но кофе тоже весь вышел. Он наливал в горшок воду, кипятил ее и пил кипяток, подслащенный сахаром, а потом садился на крыльце в плетеное кресло и смотрел, как ночная тьма выползает со дна балки, гонит, теснит солнце, поднимается все выше и выше по холму, засеянному кукурузой, в сумерки такой же желтой и чахлой, как среди бела дня, и наконец окутывает дом. А потом пес начинал выть, и он сидел еще минут десять или пятнадцать, как пассажир с сезонным билетом спокойно сидит на своей всегдашней скамье и читает газету, когда паровоз уже дал свисток, подходя к станции.

На второй день, когда он проснулся, на крыльце сидел мальчик круглоголовый, голубоглазый сынишка его родича, работавшего в Уорнеровой кузнице, - который, заслышав в коридоре его шаги, встрепенулся, а когда он вышел на порог, уже соскочил на землю, отбежал на несколько шагов от крыльца и оглянулся.

- Дядя Лэмп велел, чтоб вы пришли в лавку,- сказал мальчик.- Говорит, есть важное дело.

Он не ответил. Он стоял на крыльце в башмаках и комбинезоне, заляпанных вчерашней грязью, и крошки от съеденной утром муки - так спокоен был его сон - не осыпались со щетины вокруг рта, а мальчик пошел прочь, потом припустился бегом, оглянулся, застыв на миг у опушки леса, побежал дальше и исчез из виду. А он даже не шелохнулся, и лицо его не дрогнуло. "Если он хочет дать мне денег, мог бы просто прислать их",- подумалось ему. Но нет, какие там деньги. Дождешься от них, держи карман. А на третье утро он вдруг почувствовал, что кто-то стоит в дверях и смотрит на него. Даже из небытия, которое было не сном, а как бы пустошью, где его воля, мозг бодрствовали, словно неукротимый, не знающий устали и голода конь, пока всадник - его тщедушное тело - обновляет силы, он почувствовал, что это пришел уже не мальчик, а на дворе еще утро, и он спит еще совсем недолго. "Они спрятались здесь и видели, как я вылез из балки",- подумал он вслух, стараясь говорить громче, чтобы стряхнуть сон, словно сам наклонился над кроватью и тряс себя за плечо: "Проснись! Проснись же!" - и наконец очнулся и сразу понял, что уже поздно, ему даже незачем было смотреть на тень от оконной рамы на полу, чтобы убедиться, что теперь все тот же обычный предвечерний час. Он развел огонь в плите, поставил на нее горшок, наскоблил из бочонка пригоршню мучных крошек со щепками и съел их, выплевывая и смахивая щепки с губ рукой. При этом он заметил, что крошки застревают у него в бороде, и съел их тоже, утирая пальцами углы жующего рта. Потом он выпил кружку подслащенного кипятка и вышел на двор. Как он и ожидал, здесь были следы. Он сразу узнал следы шерифа - большие, глубокие, уверенные, отпечатавшиеся даже на спекшейся от зноя земле,- следы этой туши в двести сорок фунтов веса, носившей металлическую бляху чуть поменьше игральной карты, ни которую он поставил не только свою свободу, но, быть может, и свою жизнь, и рядом следы его помощников. Он видел отпечатки рук и коленей там, где один из них ползал на четвереньках, обыскивая подпол, пока он спал наверху, и в конюшне, у стены, он нашел свою собственную лопату, которой они разгребли кучу лошадиного навоза, накопившегося за год, чтобы осмотреть земляной пол под нею, а за домом, под деревьями, отыскал то место, где стояла пролетка. Но лицо его по-прежнему было бесстрастно - ни тревоги, ни смятения, ни страха, ни даже презрения или торжества, а лишь холодное и непреклонное, почти миролюбивое упорство.

Он вернулся в дом и взял ружье, стоявшее в углу. Оно было почти сплошь покрыто тонким табачным налетом ржавчины, словно в ту первую ночь, когда он так заботливо его тер, он перестарался, и вода с ружья, впитавшись в рубашку, потом снова перешла на двустволку. Она не переломилась легко и сразу, а медленно, с трудом поддаваясь нажиму, приоткрылась, обнаружив толстый шоколадный слой похожего на мыло застывшего сала, так что ему пришлось разобрать ее, вскипятить воду в горшке для кофе, смыть кипятком сало и разложить разобранные части на заднем крыльце, где они сохли до самого заката. Потом он снова собрал ружье, зарядил его двумя из трех оставшихся патронов, прислонил к стене около стула и снова стал смотреть, как ночная тьма выползает из балки, крадется вверх по холму, застилая его жалкое поле, и, постепенно окутывает дом, поднимаясь все выше, словно две раскрытые, воздетые к небу ладони наконец выпускают на волю птицу вечера, и она летит на запад. Внизу, за полем, мерцали светлячки, ползая по черной груди темноты; а дальше, в глубине ее, надрывались лягушки, словно мерно стучал пульс и билось черное сердце ночи, а когда наконец настал неизбежный миг - такой же неизбежный из вечера в вечер, как и то мгновение на исходе дня, когда он просыпался, - биение этого сердца тоже как будто затихло, и в мертвой тишине раздался тоскливый, горестный вой. Он протянул руку и взял ружье, стоявшее у него за спиной.

Теперь он сразу пошел прямо на вой. Спустившись с холма, он остановился, чтобы

определить, с какой стороны ветер. Но ветра не было, и он пошел напрямик, в ту сторону, откуда доносился вой, не торопясь, чтобы не шуметь, но и не мешкая, чтобы поскорей покончить с этим, вернуться домой и лечь до полуночи, задолго до полуночи, и осторожно, шаг за шагом, идя на вой, он твердил про себя: "Теперь-то я наконец высплюсь". Вой слышался уже совсем близко. Он вскинул ружье, положив палец на оба спуска. Но тут вой оборвался, опять на полуноте, в темноте вспыхнули две желтые точки глаз, и стволы ружья тотчас прикрыли их. При вспышке выстрела он отчетливо увидел огромного пса, всего целиком, в прыжке. Видел, как дробь хлестнула по нему, отшвырнула его назад, в шумный водоворот нахлынувшей тьмы. Почти физическим усилием он удержал палец, готовый нажать на второй спуск, и все еще с ружьем наперевес припал к земле, затаив дыхание, вглядываясь в слепую тьму, и наконец беспредельная тишина, которая была нарушена три ночи назад, когда он впервые услышал вой этого пса, и не возвращалась, не наступала ни на минуту, даже во сне, оглушила его и, все такая же оглушительная, начала сгущаться, твердеть, как цемент, не только в его ушах, но и в легких, в горле, снаружи и внутри его, застывая между деревьями в чаще, где рассыпалось осколками эхо выстрела, отдалось приглушенным ропотом и замерло, увязло в этой стынущей массе, еще не успев умолкнуть. Он видел, где упала собака, и с заряженным ружьем наперевес пошел к этому месту, тяжело, со свистом дыша сквозь стиснутые, оскаленные зубы и нащупывая дорогу. Вдруг он понял, что уже прошел нужное место и все еще идет дальше. Он почувствовал, что вот сейчас побежит, что уже бежит опрометью, вслепую, в непроглядной тьме, и он говорил, шипел себе: "Стой! Стой, болван! Голову размозжишь!" Он остановился, с трудом переводя дух. Определив, где он, по просвету в листве, сквозь который было видно небо, он все-таки заставил себя остановиться, пока не отдышится. Потом разрядил ружье и пошел дальше, уже шагом. Дорогу ему теперь указывало надрывное кваканье лягушек, оно глохло, затихало, а потом возобновлялось, все громче, громче, и каждый голос звучал не на одной ноте, а покрывал целую октаву, звучал почти как аккорд, - басистые, они заливались все громче, все ближе, потом вдруг смолкли, застыли на миг в напряженной тишине, которую тут же нарушили негромкие, беспорядочные всплески, словно множество ладоней зашлепали по воде, и когда он вышел на берег, вода уже дробилась на тонкие, сверкающие полоски, меж которыми скользили отражения звезд, исчезая и появляясь вновь. Он швырнул ружье и воду. Оно мелькнуло у него перед глазами, медленно переворачиваясь в воздухе. Потом раздался всплеск, и оно не утонуло, а как бы растворилось в звонкой сутолоке звездных осколков.

Домой он вернулся еще до полуночи. На этот раз он не только разулся, но скинул и комбинезон, который не снимал трое суток, и лег на кровать. Но тут же понял, что не заснет, не из-за того, что за эти трое суток день превратился для него в ночь, не из-за напряженных, измученных нервов и мускулов, с которыми никак не совладать, а из-за этой тишины, разбитой первым выстрелом и возрожденной вторым. И вот он снова лежит навзничь, неподвижный и спокойный, вытянув руки вдоль туловища, с открытыми глазами, а его голова и легкие полны оглушительной тишиной, в которой мягко мерцают бархатные светлячки, а в глубине мерно квакают неугомонные лягушки, и вот уже небо в покосившемся прямоугольнике двери и в конце сквозного коридора сперва сереет, потом начинает желтеть, и вот уже видны три парящих коршуна. "Надо встать,- сказал он себе.- Сегодня весь день не прилягу, чтоб ночью заснуть". И он стал твердить себе: "Проснись! Проснись же!" - пока в самом деле не проснулся наконец, а золотой квадрат, падавший из окна, в которое заглядывало солнце, виднелся на полу, как и каждый вечер. На стеганом одеяле, в каком-нибудь дюйме от его лица, лежал сложенный клочок оберточной бумаги, а когда он встал, то на пыльном полу, у двери увидел след босой мальчишечьей ноги. На клочке, оторванном от бумажного пакета, было нацарапано без подписи: "Приходи сюда, у твоей жены есть для тебя деньги". Он стоял небритый, без комбинезона, и, моргая, глядел на записку. "Теперь можно пойти туда",- подумал он, и что-то шевельнулось в его сердце. Он поднял голову и, мучительно моргая, впервые за три дня сквозь стены своего пустого дома - этого тупика, в который зашла его жизнь,- взглянул в бездонность солнечного неба.

- Теперь можно...- сказал он вслух. А потом он снова увидел коршунов. На заре их было три. Теперь он тоже мог бы их сосчитать, но не стал. Он просто следил за их спиральным полетом, они словно спускались по невидимой трубе, один за другим исчезая за деревьями. Он снова заговорил вслух.Наверно, над псом кружат,- сказал он, зная, что вовсе не над псом. Но это не имело значения. "Все равно меня здесь уже не будет",- подумал он. Нет, у него не отлегло от сердца; он теперь только понял, какой на нем лежит камень.

День уже клонился к вечеру, когда он, побрившись и отмыв башмаки и комбинезон, поднялся на пустую галерею и вошел в лавку. Его двоюродный брат стоял возле открытого ящика и что-то положил в рот.

- Где...- начал он.

Двоюродный брат жевал, закрывая ящик.

- Я посылал за тобой еще два дня назад, болван, чтоб ты убрался подобру-поздорову, прежде чем этот толстобрюхий Хэмптон начнет рыскать всюду со своими легавыми. Один негр шлялся около того болота и достал твое сволочное ружье, оно и ко дну пойти не успело.

- Оно не мое,- сказал он.- У меня нет ружья. Где...

- Да ведь все знают, что оно твое, сто чертей твоей матери. Такого старья системы Хэдли десятого калибра со скошенными курками во всей округе ни у кого больше нет. Я и отпираться не стал, этот подлюга Хэмптон здесь сидел на скамье, когда негр приволок ружье. Я и говорю: "Конечно же, это ружье Минка. Он его с самой осени ищет". А потом напустился на негра. "Ты что ж это, черная образина, говорю, еще по осени выпросил у мистера Сноупса ружье, чтобы настрелять белок, а потом утопил его в болоте и врал, что достать не можешь!" На, держи.

Он нырнул под прилавок, достал ружье и положил его перед Минком. Оно было тщательно обтерто, только на прикладе осталось пятно засохшей грязи.

Минк даже не взглянул на ружье.

- Оно не мое,- сказал он.- А где...

- Не бойся, теперь все в порядке. Я вовремя уладил это дело. Хэмптон думал, что я буду отпираться, скажу, что ружье не твое. Тогда ты был бы у него в руках. Но я это дело, уладил. Хэмптон и рта не успел раскрыть, как я все свалил на негра. Пожалуй, нынче или завтра вечером схожу к нему с несколькими ребятами да исполосую ему спину возжами или пятки поджарю. И даже ежели он ни в чем не сознается, люди услышат, что к нему приходили ночью, а Хэмптон потеряет здесь слишком много голосов, ежели станет сидеть сложа руки, так что хочешь не хочешь, пускай он даже не рискнет повесить этого негра, он, по крайности, должен будет упечь его в тюрьму, и сам Хэмптон это прекрасно знает. Так что все в порядке. А еще я посылал к тебе из-за твоей жены.

- Да,- сказал он.- Где...

- Она доведет тебя до беды. Уже довела. Не зря этот подлюга шериф, который спит и видит, как бы набрать побольше голосов на выборах, торчит здесь и все принюхивается. Негр Хьюстона нашел его лошадь, а сам Хьюстон вместе со своим псом, как сквозь землю провалился, но это бы еще полбеды, да только люди припомнили, как в эту самую ночь она пришла сюда с обоими детьми и с узелком, а губа расквашена, и даже кровь еще не подсохла, так что тут уже все поневоле узнали, что ты выгнал ее из дому. Но и это бы еще ничего, не вздумай она уверять встречного и поперечного, что ты не виноват. Ни тела, ни следов крови пока не нашли - только лошадь с пустым седлом, а она знай старается тебя выгородить, всем говорит, что ты не виноват, а в чем - никто еще толком и не знает, может, вообще ничего и не было. Какого дьявола ты не убрался отсюда? Неужели у тебя не хватило ума уехать в тот же день?

- А на какие деньги? - сказал он.

Разговаривая с ним, двоюродный брат быстро моргал. Теперь его маленькие глазки перестали моргать.

- На какие деньги? - переспросил он.

Минк не отвечал. Он стоял не шевелясь с тех самых пор, как вошел, маленький,

неподвижный, стоял посреди лавки, против двери, в которую заглядывало угасающее солнце, пятная его всего, с головы до ног, словно кровью, розовыми брызгами.

- Хочешь сказать, что у тебя денег нет? Хочешь соврать мне прямо в глаза, будто у него в карманах было пусто? Так я тебе и поверил! Не на таковского напал. В то самое утро он у меня на глазах открывал бумажник. Ей-богу, у него было всегда при себе не меньше полсотни...

Голос его оборвался, замер. Потом он спросил шепотом, полным недоверчивого удивления:

- Так, значит, ты даже не поглядел? ДАЖЕ НЕ ПОГЛЯДЕЛ?

Минк не отвечал. Быть может, он даже не слышал вопроса, не двигаясь, глядя в пустоту, а последние медно-красные блики света, как прилив, поднимаясь по его телу, на мгновение обагрили яркой вспышкой бесстрастную, застывшую, упрямую маску его лица и угасли, и серый сумрак пополз по рядам полок, по темным углам, а у него над головой, под потолком, словно туман забвения, сгустились, собрались застарелые, неистребимые запахи сыра, кожи и керосина. Казалось, голос его двоюродного брата доносится из этого тумана, ниоткуда, из ничего, не облеченный даже легкой плотью дыхания.

- Куда ты его девал? - Двоюродный брат, выйдя из-за прилавка, уже стоит перед ним почти вплотную и горячо, едва сдерживаясь, дышит ему прямо в лицо.- Ей-богу, у него было никак не меньше полсотни долларов. Я знаю. Своими глазами видел. Вот здесь, в лавке. Скажи, куда ты его...

- Нет,- сказал он.

- Скажи.

- Нет.

Лица их были в каком-нибудь футе одно от другого, оба дышали часто и громко. А потом то, другое лицо, которое было шире и выше, чем его, отодвинулось и расплылось в сумерках.

- Ну ладно,- сказал двоюродный брат.- Раз деньги тебе не нужны, тем лучше. Потому как ежели ты у меня разжиться думал, то ждать тебе придется долгонько. Сам знаешь, сколько Билл Уорнер платит своим приказчикам. Вот и считай, много ли тот, кто работает на Уорнера, может нажить даже за десять лет, не то что за два месяца. Выходит, тебе не нужны и те десять долларов, что припасены у твоей жены. Чего уж лучше.

- Да,- сказал он.- Где...

- Она у Билла Уорнера.

Он круто повернулся и пошел к двери. Двоюродный брат сказал ему вдогонку из темноты:

- Скажи ей, пусть попросит у Билла или Джоди еще десятку вдобавок к тому, что уже получила.

Хотя еще не совсем стемнело, у Уорнера в окнах горел свет. Это было видно даже издалека, и он, словно сторонний наблюдатель, глядел, как постепенно сокращается расстояние между ним и светом в окнах. "А там конец, - подумал он.- Все эти дни и ночи, которые, казалось, будут тянуться вечно, теперь сошлись здесь на этой пыльной дороге между мною и освещенной дверью". И когда он подошел к воротам, взялся за них рукой, ему показалось, что все это время она ждала его, глядя на дорогу. Она выбежала на крыльцо, мелькнув в раме освещенной двери, как в ту ночь, когда он в первый раз увидел ее в лагере, - как он туда попал, по какой несчастной случайности, он не любил вспоминать даже теперь, девять лет спустя. Но и сейчас ощущение было все то же, оно ничуть не ослабло. И он не боялся этого воспоминания, не пытался от него избавиться и не жалел о том, что сделал, потому что ему не нужно было прощение, он не искал его. Он просто не хотел, чтобы ему насильно напоминали о беде, которая его постигла вслед за тем случаем, оскорбительным для тела и для души, когда ему недостало ни сил, ни решимости, но он не терзался бесполезным раскаянием и не огрызался, потому что он никогда не огрызался, а неизменно оставался холоден, упрям и своеволен. В детстве он кочевал из одной наемной лачуги в другую, сменил их более десятка, ветхих, кое-как сколоченных, так как отец его переезжал с фермы на ферму,

понятия не имея, куда едет, потому что, прежде чем переехать, не подходил ни к одной из них ближе, чем на пятнадцать, а то и двадцать миль. А потом, однажды ночью, ему пришлось покинуть лачугу, которую он звал своим домом, и ту единственную землю, тех единственных людей, которых он знал, не успев ни собрать свои пожитки, если они вообще у него были, ни даже сказать последнее прости, если у него вообще было с кем проститься, и за несколько недель пройти пешком больше двухсот миль. Он шел к морю; в то время он был еще молод, ему было всего двадцать три года. Моря он никогда не видел; он не знал даже наверняка, где оно, знал только, что на юге. Прежде он совсем не думал о море и сам теперь не понимал, что гонит его именно туда, почему он отрекается от земли, от суши, где у него недостало сил и ума сделать то, к чему пела его холодная, непреклонная воля, чего он хочет от этой соленой безбрежности, от этой беспредельности забвения - забвения, которого он не искал и никогда не найдет, словно нарочно не желая обрывать нити памяти, он наказывал тело и ум, которые ему изменили. Быть может, ему нужен был лишь этот посул, это обещание беспредельного простора и неисцелимого забвения, перед которым презренная суета всего земного трепетала и робко отступала, не для того, чтобы воспользоваться им, а чтобы исчезнуть в многоликой безымянности, в той недоступной гавани, где находят приют все затонувшие золотые ладьи и обитают неуловимые, бессмертные сирены. А потом, когда он был почти у цели, и уже больше суток не ел, он вдруг увидел свет, пошел на огонек, услышал громкие голоса и увидел ее в открытой двери, словно в раме, она стояла там неподвижная, прямая, безучастная, а громкие, хриплые голоса мужчин, казалось, плыли к ней, как волны фимиама. И дальше он не пошел. На другое утро он уже работал там дровосеком, не зная даже, на кого работает, и лишь равнодушно осведомившись у надсмотрщика, который его нанял и при этом без церемоний сказал, что он слишком хил и тщедушен, чтобы справиться с поперечной пилой, сколько ему будут платить. Раньше он никогда не видел полосатой арестантской одежды, а потому не сразу, лишь через несколько дней, сообразил, где он,- целый массив девственного леса сводил здесь какой-то крикливый человек лет под пятьдесят, ростом не выше него самого, с жесткими, как проволока, короткими седеющими волосами и толстым брюшком, который с помощью всяких интриг, или взяток, или каким-то иным путем откупил у правительства штата право использовать труд арестантов, обязавшись кормить и содержать их; он был вдовец, жена его умерла много лет назад, рожая их первенца, дочку, и он открыто жил с красавицей-квартеронкой, у которой чуть ли не все зубы были золотые, она распоряжалась на кухне, где тоже работали арестанты, и занимала вместе с вдовцом отдельный дом, выстроенный среди дощатых, крытых брезентом бараков. Женщина, стоявшая в освещенной двери, была его дочка. Она жила в одном доме с отцом и квартеронкой, в пристройке с отдельным входом, и волосы у нее тогда были черные, как вороново крыло, великолепные, пышные и каждый из надзирателей, охранников, арестантов и он сам, когда подошла его очередь - к тому времени он прекрасно понял, для чего ей нужен отдельный вход,- помогал ей подрезать их бритвой почти по-мужски коротко. Полосы торчали густые и жесткие, он видел это и в тот первый вечер, при свете лампы, и назавтра, в солнечный день, когда он, занеся топор, вдруг обернулся и увидел ее на огромном стройном холеном коне, в комбинезоне, и глядела она на него не с затаенным бесстыдством, а пристально и нагло, как наглый, привыкший добиваться своего мужчина. Да, вот что он увидел,привычку добиваться своего, полное слияние воли с чувством, непреоборимую целеустремленность, что придавало ей облик не женский, а мужской, как и ее одежда, высокий рост, короткие волосы; перед ним была не одержимая страстями женщина, но властный повелитель гарема. Она не заговорила с ним в тот раз. Она ускакала прочь, и он понял, что отдельным входом пользуются не только ночью. Иногда она подъезжала на своем коне, останавливалась, что-то коротко бросала надзирателю и скакала дальше. А иногда на лошади приезжала квартеронка, называла какое-нибудь имя и поворачивала назад, а десятник громко выкликал это имя, и вызванный бросал топор или пилу и шел следом за лошадью. А он, не переставая работать топором и даже не разгибая спины, словно бы провожал этого человека взглядом, видел, как он входит в боковую дверь, а потом выходит оттуда и снова берется за работу, и так все они без различия, разбойник с большой дороги, убийца, вор - среди

них не было ни соперничества, ни ревности. Как видно, это был лишь его удел. Но еще до того, как подошла его очередь, он обуздал ревность и безропотно покорился своей судьбе. Он был воспитан в традиционной вере, что каждому мужчине, каково бы ни было его прошлое, как бы низко он ни пал, уготована, по крайней мере, одна непорочная невеста, одна девушка, которую он сам лишит невинности. А здесь он видел, что ему нужно бороться лишь за то, чтобы на него обратили внимание, бороться с людьми, среди которых он чувствовал себя не только ребенком, но ребенком другой расы и породы, и, когда наконец он

предстанет перед ней, ему придется сбросить с нее не только одежду, но и незримые объятия тридцати или сорока мужчин; и не только в этот единственный раз, но и впредь (он уже тогда предвидел свою судьбу), без конца, всегда; никакая комната, никакая тьма, даже никакая пустыня не могла вместить их обоих и жеребячье ржание этих вездесущих теней. Наконец настала и его очередь, его вызвали, как он и ожидал. Он повиновался, зная все наперед, но без сожаления. Он очутился не на жарком, никогда не остывающем ложе бесплодной распутницы, а в простом и жутком логове львицы - ее плоть не поддавалась, не просила пощады, и он навеки стал однолюбом, подобно тому как человек, однажды отведавший опиума или крови, становится наркоманом или убийцей. Это было днем. Горячее июльское солнце лилось сквозь окна без ставень, даже без занавесок, открытые всем взглядам, на грубую, сколоченную из неоструганных шестидюймовых досок кровать со стальной проволочной сеткой, и эта огромная кровать, словно легкая, неустойчивая качалка, короткими, непрерывными скачками ездила по полу. А через пять месяцев они поженились. Это не входило в их намерения. С тех пор он никогда не упускал случая уверить всех, и даже себя самого, что она и не думала, не собиралась выходить за него замуж. Ее вынудило к этому разорение ее отца, - даже он понимал, что дело обречено на крах, который приближало каждое сваленное дерево. Позже ему казалось, что, сойдясь в тот день, они как бы подали сигнал, по которому вся эта чудовищная громада из незаконно присвоенной земли, охраняемых стражниками бараков, надрывающихся людей и мулов, воздвигнутая в одну ночь из пустоты, рухнула тоже в одну ночь, снова превратилась в пустоту, в мертвый хлам,- груды опилок, почерневшие сучья, пни, разоренный и разграбленный лес. Он почти целиком сохранил деньги, заработанные за пять месяцев. Они дошли пешком до ближайшего городка и зарегистрировались; мировой судья вынул изо рта мокрую табачную жвачку, зажал ее в кулаке, позвал с улицы двоих прохожих, и они стали мужем и женой. Они поехали к нему на родину, где он взял в аренду часть маленькой фермы. У них была старая печь, соломенный тюфяк, брошенный прямо на пол, бритва, которой он по-прежнему подрезал ей волосы, и еще кое-какой скарб. В то время им больше ничего и не нужно было. Она сказала ему:

- Я знала сотню мужчин, но никогда еще не жила с осой. Из тебя яд идет. От него во мне все горит. Он во мне и детей выжигает. Я от тебя никогда не рожу.

Но через три года ребенок родился. А через пять лет у них было уже двое; он смотрел, как они идут по его жалкому полю или покосу, неся ему вместо обеда кувшин холодной воды, или играют деревянными чурками, или ржавыми пряжками от сбруи, или сломанными плужными болтами, которые даже ему уже не могли пригодиться, в пыли у крыльца наемной лачуги, на котором он сидел, потный, остывая после работы, и в нем снова вспыхивала прежняя, жгучая, неодолимая злоба, такая же мгновенная, лютая и свирепая, как в первый раз, и он думал: "Не дай бог, ежели они не мои". А потом, успокоившись немного, лежа на соломенном тюфяке, когда она уже крепко спала, а его измученное тело все еще дрожало и корчилось, он думал, что даже если они не его, какая разница. Зато они и ее связывали еще сильнее, чем был связан он сам, и она покорилась своей судьбе и в знак своей покорности даже отрастила длинные волосы и стала их красить.

Теперь она бежала по дорожке ему навстречу, бежала тяжело, но быстро. Она была у ворот, прежде чем он успел их отворить, выбежала, чуть не сбив его с ног, и ухватила его за комбинезон.

- Нельзя! - крикнула она, но голос ее был не громче шепота.- Нельзя! Да как ты можешь? Тебе нельзя сюда!

- Куда захочу, туда и пойду,- сказал он.- Лэмп говорит...

Он хотел высвободиться, но она уже сама выпустила его комбинезон и, схватив его за руку, торопливо, почти силой потащила вдоль загородки, подальше от света. Он снова стал вырываться, упираясь.

- Постой,- сказал он.

- Дурак! - сказала она хриплым, сдавленным шепотом.- Дурак! Дьявол окаянный, нет на тебя погибели.- Он сопротивлялся с холодной, сосредоточенной злобой, которая переполняла его, но, видно, еще не пришло ей время излиться наружу. Вдруг он пнул ее ногой, пока еще не желая причинить ей боль, а лишь для того, чтобы освободиться. Но она держала его обеими руками, повернув лицом к себе. - Почему ты не уехал в ту же ночь? Господи, а я-то думала, ты выйдешь из дому следом за мной! - Вне себя она трясла его словно ребенка, почти без всякого усилия.- Почему? Почему, скажи, ради всех святых!

- А на какие деньги? - сказал он.- И куда? Лэмп говорит...

- Да, я знаю, у тебя не было денег, да и жрать тоже нечего было, кроме этого мусора в мучном бочонке. Но ты мог спрятаться! Схоронился бы где-нибудь в лесу, а я бы покуда... Погибели на тебя нет, на дьявола. Да будь моя воля, я бы тебя своими руками удавила! - Она трясла его, почти прижавшись лицом к его лицу, и он чувствовал ее тяжелое, горячее, прерывистое дыхание.- Нет, не за то, что ты его убил, а за то, что сделал это, когда у тебя денег ни гроша, и уехать не на что, и жрать дома нечего. Будь моя воля, я бы тебя удавила, а потом вынула из петли да снова удавила, и снова...

Он опять пнул ее, на этот раз сильно и яростно. Но она уже отпустила его и стояла на одной ноге, а другую поджала, чтобы удобней было дотянуться. Она достала что-то из башмака и сунула ему. Он сразу понял, что это деньги, бумажка, сложенная в несколько раз, маленькая, квадратная, еще сохранявшая тепло ее тела. Всего одна бумажка. "Это доллар",- подумал он, зная, что это не доллар. "Это А. О. и Эк", - сказал он себе, зная, что это не они и что лишь у одного человека во всей округе, - ну, самое большее, у двоих, может оказаться десять долларов в одной бумажке; только теперь до него дошло то, что сказал ему двоюродный брат, когда он выходил из лавки четверть часа назад. Он даже не поглядел, что у него в руке.

- Ты продала Биллу что-нибудь или просто вытащила деньги у него из штанов, когда он заснул? А может, у Джоди?

- А хоть бы и так! Я и еще могу кое-что продать нынче ночью, получить еще десятку! Только ради бога не ходи домой. Спрячься в лесу. А завтра утром...- Он не двигался; только рука его быстро разжалась, но в ней была не монета, которая звякнула бы, падая в пропыленную придорожную траву, облепленную клочьями грязного хлопка. Наконец он зашагал прочь, и она побежала следом.- Минк! - сказала она. А он все шел, не прибавляя шагу, и она бежала рядом с ним.- Ради бога,- сказала она.- Ради бога...

Потом, схватим его за плечо, она силой повернула его к себе. Тогда он пинком отшвырнул ее, отскочил на обочину, нагнулся, нашарил в траве палку и, занеся палку, пошел прямо на пес, все так же терпеливо, устало и неумолимо, пока она не повернула назад. Он опустил палку, но не двигался с места до тех пор, пока тень ее не слилась с бледной дорожной пылью. Потом он швырнул палку в траву и обернулся. У него за спиной стоял двоюродный брат. Будь Лэмп поменьше или он, Минк, покрупнее, он бы просто прошел по нему, втоптал его в землю. Лэмп посторонился и зашагал рядом, хрипло дыша ему в самое ухо.

- Значит, ты и эти денежки бросил,- сказал Лэмп. Минк не ответил. Они шли рядом в глубокой, по щиколотку, пыли, заглушавшей их шаги. - У него было не меньше полсотни долларов. Говорю тебе, я сам видел. И ты хочешь убедить меня, что не брал их.- Он снова ничего не отвечал. Они все шли, не спеша, словно гуляя.- Ну ладно. Я сделаю то, чего на моем месте не сделал бы никто на свете; я, так и быть, поверю, что ты этих денег не брал и даже не видел. Куда ты его девал? - Он не отвечал и даже не остановился. Двоюродный брат удержал его за плечо; теперь в его тяжелом, надрывном дыхании, в хриплом шепоте сквозило не только удивление, но и холодное, бессильное бешенство, как у человека, у которого лопается терпение, когда он бьется, втолковывая что-нибудь идиоту. - Ты что ж, хочешь, чтоб эти

полсотни лежали там до тех пор, покуда Хэмптон и его легавые поделят их промеж собой?

Минк стряхнул его руку со своего плеча.

- Отвяжись.

- Ну ладно. Давай сделаем так. Я сейчас же выкладываю тебе двадцать пять долларов. А потом мы пойдем вместе, и ты отдашь мне бумажник, не заглядывая в него. Или отдашь его штаны, если не хочешь рыться в карманах. Тебе даже дотронуться до этих денег не придется, ты их и не увидишь.- Он повернулся, чтобы идти дальше.- Ну ладно. Ежели тебя с души воротит, сам не можешь, так скажи мне, где он. А я, когда вернусь, дам тебе десять долларов, хотя раз человек швыряется десятками...- Он все шел. Снова рука легла ему на плечо и заставила его повернуться; злобный, дрожащий голос исходил ниоткуда и отовсюду, из затаившейся, настороженной темноты.- Постой. Слушай меня. Слушай внимательно. А что, ежели я пойду к Хэмптону, он околачивался здесь весь день и сейчас где-нибудь неподалеку. Ежели я скажу ему, что теперь вспомнил, что ты не мог потерять ружье прошлой осенью, потому что на той неделе купил в лавке на никель пороху? Тогда тебе придется сознаться, что ты решил уплатить Хьюстону штраф за корову не деньгами, а порохом...

На этот раз он не стряхнул его руку с плеча. Он сразу пошел прямо на него, терпеливо, неумолимо и устало, но тому это было невдомек, и шел так, не останавливаясь, пока тот не отступил. И заговорил он тоже не громко, а как-то вяло, равнодушно.

- Прошу тебя, оставь меня в покое,- сказал он. - Не требую, а прошу. Тебе же хуже будет. Устал я. Оставь меня в покое.

Двоюродный брат, отступая, пятился все быстрее, и расстояние между ними стало возрастать. Минк остановился, а оно все росло, и, наконец, тот скрылся из виду, и до него доносился только шепот, угрожающий и злобный:

- Ну погоди у меня, гаденыш, душегуб проклятый! Посмотрим, как ты станешь выкручиваться...

Идя назад к Балке, он неслышно ступал по пыльной дороге, и в темноте ему казалось, что он топчется на месте, хотя свет в кухонном окне у миссис Литтлджон рядом с темными контурами лавки - это было единственное освещенное окно во всей деревне - приближался. А чуть подальше дорога сворачивала к его дому, до него еще четыре мили. "Вот бы куда мне идти, прямо в Джефферсон, к железной дороге",- подумал он; и теперь, когда было уже поздно, когда уже нечего надеяться, что он сам сможет выбирать между хитро рассчитанным побегом и слепым, отчаянным, паническим бегством, когда ему предстояло блуждать по лесной чащобе и болотной топи, как блуждает отощавший, голодный зверь, отрезанный от своей берлоги, он вдруг понял, что все эти три дня не просто надеялся, но твердо верил, что у него будет возможность выбора. А теперь он не только потерял это преимущество, но по воле слепого случая, из-за того, что его двоюродный брат видел или догадался, что у Хьюстона в бумажнике, даже худший выход в эту ночь был для него закрыт. Ему стало казаться, что этот слабый, одинокий огонек не только не указывает путь к конечной цели, пускай даже к худшему, но там, около него, кончается надежда, и с каждым шагом все сокращается срок его свободы. "Я-то думал, убьешь человека, и на этом точка,- сказал он себе.- Не тут-то было. Теперь только оно и началось".

В дом он не пошел, а сразу свернул к поленнице, взял топор и постоял немного, глядя на звезды. Был десятый час; он мог ждать до полуночи. Он обогнул дом и спустился на поле. На полпути он остановился, прислушиваясь, потом пошел дальше. Но в балку спускаться не стал; он спрятался за первое же толстое дерево, положил топор около ствола, чтобы потом сразу его найти, притих, затаился и услышал, как грузный человек, крадучись, пересек поле, ломая кукурузу, и все ближе раздавалось частое, натужное дыхание, потом бегущий поравнялся с ним, быстро перевел дух и остановился, увидев, что он вышел из-за дерева и пошел вверх, на холм.

Они шли через поле, футах в пяти друг от друга. Он слышал у себя за спиной неуклюжие, спотыкающиеся шаги, треск и шелест кукурузы, и дыхание, яростное, клокочущее, сдавленное. Сам он шел неслышно, словно был бесплотен, даже чуткие сухие стебли ни разу

не дрогнули.

- Послушай,- сказал его двоюродный брат.- Давай потолкуем как умные люди...- Они поднялись на холм, пересекли двор и вошли в дом, все так же в пяти футах друг от друга. Он пошел на кухню, засветил лампу и присел на корточки у плиты, чтобы развести огонь. Двоюродный брат стоял на пороге, тяжело дыша, и глядел, как он набросал в топку щепок, вздул огонь, взял с плиты горшок для кофе, налил в него воды из ведра и поставил горшок обратно.- Неужто у тебя и есть нечего? - спросил брат. Он не ответил.- Но ведь кормовая кукуруза для скотины найдется? Давай хоть ее поджарим.- Огонь в плите разгорелся. Он пощупал горшок, хотя вода никак не могла нагреться так быстро. Брат глядел ему в затылок.- Слышишь,- сказал он.- Пойдем принесем.

Минк убрал руку с горшка. Он не оглянулся.

- Неси, - сказал он.- А я не голоден.

Брат сопел, стоя в дверях, глядя на его спокойное, потупленное лицо. Теперь его сопение походило на слабый скрежет.

- Ну ладно,- сказал он.- Схожу на конюшню, принесу.

Он шагнул за порог, тяжело затопал по коридору, вышел на заднее крыльцо, а едва ступив на землю, побежал. Он бежал, сломя голову, в слепой тьме, на цыпочках, обогнул дом и притаился, глядя из-за угла на переднее крыльцо, не дыша, потом подбежал к крыльцу и заглянул в коридор, тускло освещенный лампой из кухни, и на миг снова остановился, замер, глядя во все глаза. "Ах сукин сын, перехитрил меня, - подумал он.- Удрал черным ходом",и он взбежал по ступеням, спотыкаясь и чуть не падая, прогрохотал по коридору к кухне и, когда добежал до кухонной двери, увидел, что Минк стоит у плиты, на том же месте, и снова щупает горшок. "Вот гаденыш, сукин сын, душегуб,- подумал он.- Просто не верится. Не верится, что человек может столько вытерпеть, даже за пятьсот долларов".

Но порог он переступил, как ни в чем не бывало, словно и не уходил никуда, только дыхание участилось и стало еще более хриплым, скрежещущим. Он глядел, как Минк принес треснутую фарфоровую чашку, толстый стеклянный стакан, жестянку с сахаром на донышке и ложку; и заговорил он таким тоном, словно беседовал за чайным столом с супругой своего хозяина:

- Ну, кажется, наконец вскипел, а?

Но Минк не ответил. Он налил в чашку кипятку, положил сахару и стал помешивать воду, стоя у плиты, потом повернулся боком к двоюродному брату и, наклонив голову, начал прихлебывать из чашки. Подождав немного, брат подошел к плите, налил в стакан воды, положил сахару и отхлебнул с кислой миной, все его лицо - глаза, нос, даже рот - побежало от края стакана куда-то вверх ко лбу, словно кожа была прикреплена к черепу только в одном месте, где-то на затылке.

- Послушай,- сказал он.- Давай взглянем на дело разумно. Эти полсотни лежат там, теперь они ничьи. Ты не можешь пойти и взять их без меня, потому что я тебя не пущу. А я не могу взять их без тебя, потому что не знаю, где они. И мы здесь за зря теряем время, а этот подлюга шериф со своими легавыми каждую минуту может их найти. Тут уж никак невозможно отступиться. Хочешь не хочешь, а надо их взять. Если б я мог, то, конечно, взял бы себе все, как и ты. Но ни ты, ни я этого но можем. Только зря торчим здесь и теряем...

Минк допил чашку и перевернул ее вверх дном.

- Который час? - спросил он.

Двоюродный брат достал из-за широкого, потертого пояса дешевые часы на

- Двадцать восемь минут десятого. Нельзя же тянуть без конца. Мне в шесть утра лавку открывать. А ведь еще надо пять миль пешком идти, покуда доберусь до постели. Но это неважно. Ты об этом не думай, мало ли у кого какие заботы, а дело есть дело. Подумай о...

Минк поставил пустую чашку на плиту.

- Сыграем в шашки?

- ...о себе. Ведь у тебя... Что-о?..- Он осекся. Он смотрел, как Минк пошел куда-то в темный угол и достал короткую широкую доску. С полки он снял какую-то жестянку и

положил все на стол. Доска была расчерчена углем на кривые черные и белые квадратики; в жестянке оказалась горсть фарфоровых и стеклянных осколков двух цветов,- видимо, от разбитой тарелки и бутылки синего стекла. Он пододвинул доску к лампе и начал расставлять шашки. Двоюродный брат смотрел на него, не донеся стакан до рта. На миг у него перехватило дыхание. Потом он совладал с собой.

- Ну что ж, давай,- сказал он. Он поставил стакан на плиту и сел напротив Минка. Казалось, его дряблое, обрюзгшее тело, словно воздушный шар, из которого выпустили воздух, сейчас накроет не только стул, но и весь стол.- Разыграем эти пятьдесят долларов по пяти центов партия, - сказал он. - Идет?

- Ходи,- сказал Минк.

И они начали играть - один неторопливо, холодно, рассчитывая каждый ход, другой - рискованно, с какой-то неловкой поспешностью. Было в его игре то любительское, почти детское отсутствие обдуманного плана и даже простой предусмотрительности, какое бывает у игрока, который в азартных играх полагается не на свой ум, а на ловкость рук, и даже в простой игре, в шашках, где подтасовать нечего, пытается мошенничать, и теперь он, не теряя веры в успех, так как жульничество давно стало для него чистейшим рефлексом и совладать с собой он, как видно, уже не мог, делал быстрые нелепые ходы и сразу отдергивал сжатый кулак и пристально, не мигая, глядел прямо в спокойное, изможденное лицо партнера, склоненное над столом, болтая без умолку о чем угодно, кроме денег и смерти, а кулак лежал на краю стола, все еще сжимая шашку или дамку, которую он стянул с доски. "Наказание с этими шашками,- думал он.- Ну что с них возьмешь". Через час он обставил Минка на тринадцать партий.

- Давай играть по двадцать пять центов, - сказал он.

- Который час? - спросил Минк. Двоюродный брат снова вытащил из кармашка часы, а потом сунул их обратно.

- Без четырех минут одиннадцать.

- Ходи,- сказал другой. Игра продолжалась. Брат теперь молчал. Он вел счет огрызком карандаша на краю доски. И когда через полчаса он подвел итог, карандаш написал уже не число выигранных партий, а сумму, с десятыми долями и значком доллара в конце, и эта цифра вдруг словно подпрыгнула и оглушила его, так что он почти услышал удар;- он вдруг оцепенел и даже дышать перестал, думая: "Сто чертей! Сто чертей! Понятно, почему он ни разу меня не поймал. Это он нарочно. Потому что, когда я отыграю у него всю его долю, ему незачем будет рисковать и идти за деньгами". Теперь ему пришлось переменить тактику. И впервые за все это время движение стрелок по циферблату часов, которые он теперь сам вынул и положил около доски, приобрело для него настоящий смысл. "Не может же это тянуться без конца,- подумал он, и его снова захлестнула бессильная злоба.- Не может. У него сил не хватит это выдержать, даже за все пятьдесят долларов". И он пошел на попятный. Казалось, он даже изменил своей натуре. Он делал нелепые, намеренно опрометчивые ходы; теперь он зажимал в кулаке собственную шашку или дамку. Но худая, цепкая рука ловила его кулак, и партнер холодным, ровным, бесстрастным голосом доказывал, что эта шашка никак не могла оказаться на том поле, где она теперь стоит, а иногда сам даже ударял по кулаку, лежавшему на столе, и кулак разжимался. Но его брат не оставлял своих попыток, все так же легкомысленно, и отчаянье цепляясь за соломинку, и попадался снова и снова, и еще через час его ходы стали даже не детскими, они походили на игру слабоумного или слепого. Он снова заговорил:

- Послушай. Там лежат эти пятьдесят долларов, они же ничьи, родных у него нет, некому их стребовать. Они лежат там, и кто их найдет...

- Ходи, - сказал Минк. Он двинул шашку.- Не так,- сказал тот.- Бери.Он взял. Тот двинул еще одну шашку.

- А тебе нужны деньги, может, они тебя от петли спасут, а тебе их не взять, я ведь не отступлюсь. Разве я могу сейчас пойти домой, лечь спать, а утром встать и пойти в лавку, если ты не хочешь показать мне, где эти деньги...

- Ходи,- сказал тот. Брат двинул шашку.

- Нет, - сказал тот.- Бери.- Он взял. И увидел, как худые волосатые пальцы, державшие

осколок синего стекла, взяв пять шашек подряд, очистили доску.

- Сейчас уже за полночь. В шесть начнет светать. И тогда Хэмптон со своими легавыми...

Он осекся. Минк теперь стоял на ногах, глядя на него сверху вниз; он тоже быстро вскочил. Они смотрели друг на друга через стол,

Ну? - сказал брат. Он дышал хрипло, с присвистом, чувствуя, что радоваться еще рано.- Ну? - сказал он снова.- Ну? - Но Минк уже не смотрел на него, он опустил голову, и лицо у него было неподвижное, пустое и осунувшееся, как у мертвеца.

- Прошу тебя, уйди,- сказал он.- Прошу, оставь меня в покое.

- Как бы не так, - сказал брат, тоже не повышая голоса.- Значит, мне уйти? После всего, что я вытерпел? - Минк повернулся к двери. - Постой, сказал брат. Но он не остановился. Брат задул лампу и догнал его в коридоре. Он снова заговорил, теперь уже шепотом: - Зря ты не послушался меня шесть часов назад. Мы бы давно все сделали, вернулись бы и легли спать, а не торчали бы здесь за полночь. Не понимаешь разве, что обоим нам это невыгодно? Ты без меня шагу не можешь ступить, а я без тебя. Да куда ж ты? Тот не отвечал. Не останавливаясь, он шел через двор, к конюшне, а двоюродный брат за ним; он снова слышал у себя за спиной тяжелое насморочное сопение и шепот: - Сто чертей, ты, может, не хочешь отдавать мне половину, так и ведь я, может, не хочу ни с кем делиться. Но пусть уж лучше половина, я как подумаю, что этот подлюга Хэмптон со своими легавыми...

Минк вошел в конюшню, шагнул в стойло - брат остался у двери - и снял с гвоздя короткую, гладко оструганную дубовую палку с петлей из пеньковой веревки, пропущенной в дырку на конце - с ней Хьюстон объезжал своего жеребца, и он нашел ее, когда взял в аренду у Уорнера заложенную часть Хьюстоновой фермы, а потом резко повернулся, одним ударом сшиб брата с ног, бросил палку и подхватил тяжелое тело, которое само падало в стойло, и ему оставалось только оттащить его на какой-нибудь фут, чтобы можно было закрыть дверь. Он отстегнул гужи с плуга, связал двоюродного брата по рукам и ногам, оторвал от подола рубахи лоскут и сделал кляп.

Спустившись с холма, он никак не мог найти дерево, у которого оставил топор. И он знал, почему. Словно теперь, когда смолкла эта бесконечная болтовня, он услыхал не тишину, а потерянное время, словно, когда она смолкла, он вернулся к той минуте, когда все это началось в лавке, в шесть часов вечера, и осознал, что потеряно целых шесть часов. "Больно уж ты надрываешься,- сказал он себе.- Нельзя так спешить". Он постоял на месте, пока не сосчитал до ста, оглянулся назад, соображая, где он - выше или ниже дерева, справа или слева от него. Потом он вернулся на середину поля и оттуда оглянулся на балку, стараясь найти дерево, под которым он оставил топор, по форме верхушки и другим приметам, оглушенный теперь уже не тишиной, а шорохом времени. Он решил было спуститься и, качав заведомо ниже того места, которое искал, обшарить по очереди все деревья. Но поступь времени была слишком громкой, и когда он сделал первый шаг, побежал, то побежал не к дому и не к балке, а в сторону, через холм, через поле, прямо на дорогу, проходившую в полумиле от его дома.

Он пробежал по дороге с милю и очутился у лачуги, еще более тесной и убогой, чем его собственная. Здесь жил тот самый негр, который нашел ружье. У него была собака, нечистокровный терьер, немногим больше кошки, шумный и визгливый, он сразу выскочил из-под дома, захлебываясь лаем, и накинулся на него с яростным визгом. Он знал собаку, и она тоже должна была его знать; он стал ее успокаивать, но она не унималась, и ее лай несся на него из темноты разом со всех сторон, и тогда он бросился к ней, и визгливый лай стал быстро удаляться к дому. Не останавливаясь, он побежал к поленнице, - он знал, где она; топор был тут. Когда он схватил топор, голос из темного дома окликнул его:

- Кто там?

Он не ответил. Он бежал без оглядки, а терьер все лаял ему вслед, теперь уже из-под дома. Он очутился на поле, кукуруза здесь была лучше, чем у него. Пробежав поле, он спустился к балке.

У края балки он остановился и определил дорогу по звездам. Он понимал, что отсюда ему не найти гнилое дерево, и решил выбраться на старую лесосеку; там ему нетрудно было

бы ориентироваться. Вернее всего было выйти вдоль балки на знакомое место, хоть и пришлось бы сделать крюк, а оттуда уж подниматься к дереву, но, поглядев на небо, он подумал: "Уже второй час".

Прошло еще полчаса, а он все не мог отыскать лесосеку. Небо он видел лишь изредка, а еще реже мог видеть звезду, по которой ориентировался. Но он был уверен, что не уклонился слишком далеко. Он предостерег себя: "Ты можешь дойти скорее, чем ожидаешь; не зевай". Но к этому времени он уже прошел вдвое больше, чем следовало. Поняв, убедившись наконец, что он заплутался, он не испытал ни тревоги, ни отчаяния, только злость. Казалось, подобно тому как часа два или три назад бесчестность его брата вдруг против него же и обернулась, так и сейчас жестокость отступилась от своего ученика, на миг ей изменившего; а ведь из-за этого проклятого человеколюбия он потерял три часа, надеясь, что брат устанет и уйдет, вместо того чтобы стукнуть его по голове, когда тот пробегал мимо дерева, где он оставил топор, а теперь вон куда завела его эта промашка.

Первым его побуждением было бежать, бежать не в страхе, а чтобы опередить эту лавину множившихся секунд, которая теперь стала его врагом. Но он, слабо и непрестанно дрожа всем своим измученным телом, принудил себя остаться на месте до тех пор, пока наконец не убедился, что теперь мускулы не подведут его, не заставят бежать. И тогда он стал медленно и осторожно поворачиваться, пока ему не показалось, что он стоит лицом в ту сторону, откуда пришел, и двинулся назад по своему же следу. Вскоре он набрел на прогалину, откуда было видно небо. Звезда, по которой он заметил направление, когда спустился в балку, была прямо впереди. "А ведь уже третий час ночи",- подумал он.

Теперь он пустился бегом, верней, старался бежать как можно быстрее. Он не мог совладать с собой. "Надо найти лесосеку сейчас же,- думал он.- Не то пойдешь назад, все придется начинать сызнова, рассветет, а я не успею выбраться из балки". И он все бежал, молча продираясь сквозь колючие кусты, заслоняя лицо рукой, задыхаясь, ничего не видя, мускулы около глаз ныли от напряжения, но глаза были бессильны перед мрачным, непроницаемым ликом тьмы, и вдруг земля исчезла у него из-под ног; он сделал еще шаг в пустоту, почувствовал, что падает, а через мгновение он уже лежал на спине, тяжело дыша. Он был на лесосеке. Но в каком месте - этого он не знал. "Я ведь ее не переходил,- подумал он.- Я еще на западной стороне. И уже третий час".

Теперь он снова знал направление. Если встать к лесосеке спиной и идти все прямо, то скоро будет балка. И тогда станет ясно, куда он забрел. Еще раньше, почувствовав, что падает, он отбросил топор. Теперь, ползая на четвереньках, он нашарил его, выбрался вверх по откосу и пошел дальше. Больше он не бежал. Он знал, что заблудиться еще раз ему нельзя. Когда через час он поднялся по холму, то очутился на краю поля. Поле было его собственное: земля, до сих пор зыбкая и ненадежная, снова отвердела и застыла, все обрело прежние размеры и встало на свои места. Он увидел низенькую крышу своей лачуги и снова побежал, спотыкаясь, меж рядами шелестящей кукурузы, ловя воздух сухими губами и вдыхая его сквозь сухие, стиснутые зубы, и увидел, узнал то дерево, под которым оставил топор, и снова как бы вернулся к какой-то мертвой точке во времени, но только время было упущено. Он свернул и подошел к дереву, прошел было уже мимо, как вдруг в окружавшей его тени обозначилась тень более темная, не спеша поднялась но тть рост, и голос двоюродного брата спросил хрипло и негромко:

- Позабыл топор, сволочь? Вот он. Бери.

Он остановился молча - ни звука, ни проклятия, ни вздоха. "Только не топором",- подумал он, не двигаясь, не шевелясь, а брат хрипло дышал у него над ухом, и злобный, негромкий голос хрипел:

- Ты, гаденыш, братоубийца, да я тут столько вытерпел, сколько не то что за двадцать пять - даже за двадцать пять тысяч не вытерпишь, а не то я огрел бы тебя топором по башке и швырнул в Хэмптонову коляску. И ей же богу, не твоя заслуга, что не Хэмптон, а я сидел и караулил тебя здесь. Сто чертей, да ты и порадоваться не успел этим деньгам, а Хэмптон со своей сворой уж был тут как тут, они развязали меня и в лицо водой побрызгали. А я опять

врал, чтобы тебя выгородить. Я сказал, что ты оглушил меня, связал, обобрал и убежал на станцию. Ну говори, долго мне еще врать, спасая твою шею от петли? А? Чего мы ждем? Хэмптона?

- Ладно,- сказал он.- Ладно.- И подумал: "Только не топором". Он повернулся и пошел в лес. Брат не отставал, шел за ним по пятам, свирепое насморочное сопение и злобный шепот раздавались у него прямо над головой, так что, когда он нагнулся и стал шарить по земле, брат чуть не наступил на него.

- Какого еще черта тебе надо? Опять топор потерял? Отдай его мне, как найдешь, да живей покажи, где он, покуда не только солнце, но и этот охотник за голосами...

Он нашарил палку потяжелее. "Ничего не видать, так что, может, с первого разу и не попадешь",- сказал он себе, вставая. Он ударил, не глядя, на хриплый злобный голос, занес палку и ударил снова, хотя и одного удара было довольно.

Место было знакомое. Не нужно было никакого ориентира, но тут же оказалось, что ориентир у него все-таки есть, и он пошел быстро, вынужден был идти быстро, чуя слабое зловоние, "Уже четвертый час,- подумал он.- А я совсем позабыл... Позабыл, что, ежели человек человека убьет, против него всё ополчится". Потом он понял, что не ошибся, потому что теперь запах уже не был сосредоточен в одном месте, он был всюду; и вот перед ним поляна, гнилой дуб без кроны, торчащий на фоне обрамленного листьями просвета. Он подошел на длину вытянутой руки, размахнулся. Топор по самый обух ушел в трухлявую древесину. Он с трудом вытащил топор и снова занес его. И тут шума он не услышал, просто сама темнота охнула и всколыхнулась у него за спиной, и он хотел обернуться, но было уже поздно,- что-то навалилось ему на плечи. Он сразу понял, что это. Он даже не удивился, когда, падая, почувствовал горячее дыхание и услышал лязг зубов, перевернулся, стараясь нашарить топор, снова услышал лязг зубов у самого горла, почувствовал горячее дыхание и, отбросив пса локтем, встал на колени и схватил топор обеими руками. Пес снова прыгнул, и теперь он видел его глаза. Они плыли на него, и секунды казались вечностью. Он рубанул по ним и попал в пустоту; топор вонзился в землю, и он чуть не упал ничком. Но когда эти глаза показались снова, он был уже на ногах. Он бросился вперед, занеся топор. Он рубил вслепую, даже когда глаза исчезли, круша и ломая кусты, а потом остановился, снова занеся в воздухе топор, задыхаясь, прислушиваясь, ничего не видя и не слыша. Потом он вернулся к дереву.

При первом же ударе топора пес снова прыгнул. Минк ожидал этого. На этот раз он не стал прятать голову и, повернувшись, держал топор наготове. Он ударил по глазам, почувствовал, что не промахнулся, топор, насмешливо блеснув, вырвался у него из рук, и он прыгнул в кусты, туда, где бился и визжал пес, прыгнул на звук, яростно топча все кругом, потом припал к земле, вслушиваясь, снова прыгнул, услышав визг, и стал топтать землю, но опять без толку. Тогда он встал на четвереньки и пополз вокруг дерева, все расширяя круги и стараясь нашарить топор. Когда он наконец нашел его, над зубчатыми краями трухлявого ствола уже горела утренняя звезда.

Он снова принялся рубить дерево под корень и после каждого удара, уже занеся топор для следующего, прислушивался, готовый к прыжку. Но все было тихо. Тогда он стал рубить без передышки, вонзая топор по самый проух, словно рубил песок или опилки. Наконец топор вместе с топорищем ушел в гнилое дерево, и теперь, убедившись, что нюх его не обманывал, он бросил топор и начал рвать дерево руками, отвернув голову, с присвистом дыша сквозь оскаленные, стиснутые зубы, то и дело освобождая одну руку, чтобы отогнать пса, но пес, скуля, кидался на него снова и снова и наконец всунул голову и растущее отверстие, откуда шел трупный смрад,- казалось, было слышно, как он вырывался наружу.

- Убирайся, дьявол! - прохрипел он, словно разговаривал с человеком, и снова попытался отшвырнуть пса.- Пусти!

Он рванул труп, чувствуя, как мясо отделяется от костей, словно тело было для них слишком велико. Пес с воем протиснулся в дыру по самое брюхо.

Внезапно труп поддался, и он упал на спину, в грязь, и труп придавил ему ноги, а пес выл, стоя над своим хозяином. Он встал и пнул его ногой. Пес отскочил, но когда он нагнулся,

схватил труп за ноги и, пятясь, поволок его за собой, снова подступил к нему вплотную. Пока они двигались, пес не сводил глаз с трупа и молчал. Но когда он остановился, чтобы перевести дух, пес снова начал выть, и он снова изловчился, пнул его ногой и только теперь заметил, что ясно его видит, что уже рассвело, и он видит его - ободранного, тощего, воющего, со свежей кровоточащей раной на морде. Не сводя с него глаз, он нагнулся и шарил по земле до тех пор, пока не нашел палку. Она была мокрая, осклизлая, но крепкая. Когда пес поднял морду, собираясь снова завыть, он ударил его. Пес завертелся на месте, потом прыгнул, и он увидел на косматом боку длинный рубец- след выстрела. На этот раз палка угодила псу прямо между глаз. И тогда он снова схватил труп за ноги и, теперь уже не пятясь, попытался бежать.

Когда он выбрался из зарослей к реке, восток уже заалел. Сама река была еще невидима - длинный вал тумана, плотно, словно вата, лежал на воде. Он нагнулся, снова подхватил тело, которое было чуть не вдвое больше него, и швырнул в туман, а выпустив его из рук, даже прыгнул за ним следом и едва не сорвался с берега, и пока оно не кануло в туман, успел увидеть, как медленно и неуклюже мелькнули в воздухе три конечности вместо четырех, и, удержав равновесие, повернулся и сразу же побежал, а позади слышался глухой, дробный топот собачьих лап, и вот уже пес рядом. Не останавливаясь, пес прыгнул. Стоя на четвереньках, Минк, увидел его в воздухе, - словно огромная бескрылая птица, пес пролетел над ним и исчез в тумане. Он вскочил и побежал дальше. Потом он споткнулся и упал, вскочил и снова побежал. И тут он услышал за собой топот мягких, быстрых лап, снова припал к земле и, стоя на четвереньках, снова увидел, как пес пролетел над ним и повернулся в воздухе так, что, приземлившись, оказался с ним нос к носу, и глаза его сверкали, как две горящих сигары, и он набросился на Минка, прежде чем тот успел встать. Он ударил пса по морде, обоими кулаками, вскочил и побежал. До гнилого дерева они добежали вместе. Пес опять прыгнул и вскочил ему на плечи, но он уже нырнул в дыру, пробитую топором, и стал лихорадочно искать недостающую руку, а пес рвал ему рубашку и штаны. Потом он исчез. Чей-то голос сказал:

- Эй, Минк. Мы держим его. Можешь вылезать.

Коляска ждала за домом, в рощице, где он два дня назад видел следы колес. Его посадили сзади, рядом с помощником шерифа, к которому он был прикован наручниками. Шериф сел рядом с другим своим помощником, который правил лошадью. Тот хотел развернуть коляску, чтобы ехать назад к лавке Уорнера, а оттуда - по дороге на Джефферсон, но шериф остановил его.

- Погоди-ка,- сказал он и обернулся - громадный мужчина с короткой шеей, в расстегнутом жилете и крахмальной сорочке без воротничка. Холодные колючие глазки на его широком обрюзглом лице напоминали два осколка черного стекла, вдавленных в сырое тесто.

- Куда ведет дорога, ежели ехать в ту сторону? - спросил он, обращаясь к обоим.

- На старый Уайтлифский мост,- сказал помощник,- до него четырнадцать миль. А оттуда еще девять миль до Уайтлифской лавки. А от лавки еще восемь до Джефферсона. А через Уорнерову лавку будет всего двадцать пять миль.

- На этот раз мы, пожалуй, объедем Уорнера стороной,- сказал шериф.Езжай прямо, Джим.

- Верно,- сказал другой помощник.- Езжай прямо, Джим. Чего нам экономить, денежки-то все равно не наши, а окружного совета. - Шериф, который уже было отвернулся, ничего не сказал и только поглядел на помощника. Некоторое время они глядели друг на друга.- Разве я неправду говорю? - сказал помощник.- Трогай!

Все утро, до самого полудня, они петляли среди холмов, поросших сосняком. У шерифа в коробке из-под ботинок был холодный завтрак и даже кувшинчик с пахтаньем, завернутый в мокрую рогожку. Они перекусили не останавливаясь, только напоили лошадей в ручье, который пересекал дорогу. Потом холмы остались позади, и вскоре после полудня они проехали Уайтлифскую лавку, и вокруг раскинулась широкая, плодородная равнина, на которой волновалась тучная зелень, кукурузные початки налились зерном, вдоль рядов облетающего хлопка еще ходили сборщики, и он увидел, как люди, сидевшие на галерее под

рекламами патентованных лекарств и табака, вдруг встали.

- Эге,- сказал помощник шерифа.- Смотри-ка, и здесь есть люди, которые, видно, не прочь бы иметь фамилию Хьюстон хотя бы минут на десять пятнадцать.

- Погоняй,- сказал шериф. И они поехали дальше, по густой мягкой пыли вслед за знойным летним днем, но не могли поспеть за ним, и вот уже жаркое солнце припекло ту сторону коляски, где сидел он. Шериф сказал, не поворачивая головы и не вынимая изо рта трубки: - Джордж, поменяйся с ним местами. Пусть сядет в тень.

- Не надо,- сказал он.- Мне солнце не мешает.

Вскоре оно и впрямь перестало ему мешать, во всяком случае, он чувствовал себя не хуже, чем остальные, потому что дорога снова пошла холмами, то вверх, то вниз, а длинные тени сосен неторопливо кружили над неторопливой коляской под косыми лучами солнца; а там, за последней долиной, показался и Джефферсон, и раскаленный шар солнца закатывался уже за городом, оно было почти у самой земли и слепило им глаза. К дереву была прибита доска с надписью: "Джефферсон - 4 мили" и с фамилией какого-то торговца, она приблизилась, потом осталась позади, но коляска словно стояла на месте, и он осторожно подвинул ноги вбок, напряг прикованную руку для рывка, изготовился и на ходу бросился из коляски ногами вперед, защищаясь рукой от удара, но было уже поздно, и хотя он не попал под колесо, голова его угодила между двумя стойками, поддерживавшими верх, и тело с разлету, всей тяжестью, повисло на шее, зажатой словно в тисках. Вот сейчас он услышит, как хрустнет кость, позвонки, и он весь изогнулся, вытянул ноги назад, туда, где, как ему казалось, вертится колесо, думая: "Вот если бы попасть ногой между спицами, тогда или нога не выдержит, или спицы",- и, чувствуя, как каждое его движение отдается болью в шее, все тянул ноги к колесу, словно хотел убедиться, как бы глядя со стороны, с холодной яростью, что прочнее - живая кость или мертвый металл. Потом у него помутилось в глазах от страшного удара где-то у самых плеч, и вот уж это больше не удар, а невыносимая тяжесть, которая навалилась на него, упорная, сокрушительная, беспощадная. Он смутно слышал хруст кости и явственно голос помощника шерифа:

- Тормози! Да тормози же, чтоб тебя черти взяли! Тормози! - И он почувствовал, что коляска остановилась, и даже видел, как шериф, перегнувшись через спинку сиденья, удерживает обезумевшего помощника; задыхаясь, судорожно ловя воздух, он пытался закрыть рот и не мог, пытался уклониться от холодной, твердой струи воды, а над ним склонились три лица, и на фоне солнечного неба колыхалась под легким ветерком зеленая ветка. Но понемногу он отдышался, и ветерок на ходу высушил его мокрое лицо, только рубашка еще была чуть сырой, а ветерок еще не стал прохладным, просто освободился наконец от нещадного солнечного зноя и тянул из предвечернего сумрака, а коляска теперь катилась под сплошным сводом пронизанных солнцем ветвей, мимо аккуратных, подстриженных лужаек, где в лучах заката перекликались, играя, дети в ярких костюмчиках и сидели в качалках женщины, щеголяя новыми нарядами, а в свежевыкрашенные ворота сворачивали мужчины, возвращаясь с работы домой, где в долгих ранних сумерках их ждал ужин и кофе.

Они обогнули тюрьму и через задние ворота въехали за ограду.

- Вылезайте,- сказал шериф.- Несите его.

- Ничего,- сказал он. Но ему пришлось дважды напрячься, прежде чем удалось выдавить из себя хоть звук, и все равно голос был какой-то чужой.- Я и сам дойду.

Когда врач ушел, он лег на койку. В стене было высокое, узкое, зарешеченное оконце, но за стеклом - ничего" кроме сумерек. Потом он почуял запах еды, где-то готовили ужин - ветчину, гренки и кофе,- и вдруг рот ему наполнила теплая, солоноватая жидкость, но когда он попытался глотнуть, ему стало так больно, что он сел, проглатывая теплую соль, мотая головой, медленно, осторожно двигая шеей, чтобы легче было глотать. Потом за решетчатой дверью послышался громкий топот, все ближе и ближе, он встал, подошел к двери и сквозь прутья решетки заглянул в общую камеру, где ели и спали негры,- эти жертвы тысячи мелких беззаконий, совершенных белыми. Ему видна была лестничная площадка; топот доносился оттуда, и он увидел, как беспорядочный поток голов в поношенных шляпах и кепках, тел в

поношенных комбинезонах и ног в рваных башмаках хлынул в пустую камеру, наполнив ее приглушенным шарканьем и мягким неясным гулом певучих голосов- это была кандальная команда человек в семь или восемь, сидевших за бродяжничество, или поножовщину, или за то, что играли в кости на десять или пятнадцать центов, и теперь освободившихся от лопат и тяжелых молотов, по крайней мере, часов на десять. Он смотрел на них, ухватившись за решетку.

- Все...- сказал он.

Но голос его был беззвучен. Он приложил руку к горлу и заговорил снова, издавая сухое, трескучее карканье. Негры притихли, уставившись на него, белки их глаз неподвижно блестели на черных лицах, уже расплывавшихся в темноте.

- Все шло хорошо,- сказал он.- Покуда он не начал разваливаться на куски. С этим псом я бы справился.- Он держался за горло, и голос у него был хриплый, сухой, каркающий.- Но он, сукин сын, начал разваливаться...

- Кто? - спросил один из негров.

Они стали перешептываться. Потом белки глаз снова обратились к нему.

- Я все сделал правильно,- повторил он.- Но этот сукин сын...

- Молчи, белый человек,- сказал негр.- Молчи. Не морочь нам голову.

- Все было бы правильно,- сказал он хриплым шепотом. И тут голос совсем изменил ему, и он, не выпуская решетки, другой рукой держался за горло, а негры глядели ил него, сбившись в кучу, и глаза их неподвижно сверкали в меркнущем свете. А потом они все разом повернулись и побежали к лестнице, он услышал чьи-то неторопливые шаги, и почуял запах еды, и прильнул к решетке, чтобы увидеть лестничную площадку. "Неужто они хотят накормить этих черномазых раньше, чем белого человека?" - подумал он, вдыхая запах кофе и ветчины.

3

Под эту зиму выдалась осень, которая долго была памятна людям, по ней отсчитывали годы и припоминали события. Засушливая летняя жара ослепительные дни, когда даже листья на дубах пожухли и увяли, ночи, когда стройные ряды звезд словно бы в холодном, немигающем удивлении взирали на землю, задыхающуюся в пыли, - наконец спала, и три недели бабьего лета истомленная зноем земля, древняя Лилит, царствовала, повелевала и владычествовала в эту пору мнимого небытия старой, неумирающей куртизанки. В эти голубые, сонные, пустые дни, полные тишины и запаха сжигаемых листьев и сухостоя, Рэтлиф, проходя между своим домом и городской площадью, видел в тюремном окне две маленькие грязные руки, вцепившиеся в решетку немногим выше, чем мог бы дотянуться ребенок. А позже, перед вечером, он видел, как трое посетителей - его жена и двое детей - входят в тюрьму или выходят оттуда после очередного свидания. В первый день, когда он привел ее к себе домой, она непременно хотела помогать по хозяйству, делать все, что позволит его сестра: подметать полы, мыть посуду, колоть дрова, - словом, то, что до тех пор делали его племянницы и племянники (и тем снискала их юношеское презрение), забывая, как видно, о безмолвной, негодующей добродетели его сестры; крупная, но не толстая, даже стройная, как Рэтлиф понял наконец с брезгливой и сдержанной жалостью... нет, скорее, с участием,- она почти всегда ходила босиком, простоволосая, распустив крашеные, давно уже почерневшие у корней волосы, с холодным лицом, в котором была какая-то суровая, не совсем еще увядшая красота, хотя, возможно, держаться ей помогала лишь давняя, непоколебимая уверенность в себе или же просто упрямство. Потому что арестант не только отказался выйти на поруки (если бы даже удалось найти поручителя), но даже от защитника отказался. Он стоял между двумя конвоирами, маленький, щуплый, худой, как скелет, с упрямым, словно им черепа вырезанным лицом, стоял перед судьей так, словно его здесь и не было, и слушал, а может быть, и не слушал, обвинительное заключение, а потом один из конвоиров тронул его за плечо, и он вернулся в тюрьму, в свою камеру. И дело это, как пьеса, где еще не все роли распределены, потому что некому взять роль вдовы, сжигающей себя вместе с покойником мужем, было отложено, перенесено с октябрьской судебной сессии на весеннюю, майскую; и

раза три в неделю Рэтлиф видел, как она с детьми, одетыми в обноски его племянников и племянниц, входила в тюрьму, и представлял себе, как они вчетвером сидят в тесной камере, пропитанной вонью креозота и извечных человеческих экскрементов - пота, мочи, блевотины, извергнутых извечными человеческими муками - страхом, бессилием, надеждой. "Сидят и ждут Флема Сноупса, - думал он.- Флема Сноупса".

А потом наступила зима, морозы. Она тем временем нашла работу. Он не хуже ее знал, что дольше так тянуться не может, ведь как-никак, а это был дом его сестры, пусть даже лишь по праву большинства голосов. Так что он не только не удивился, но даже почувствовал облегчение, когда она пришла и сказала, что скоро съедет с квартиры. Но едва он услышал это, что-то в нем дрогнуло, и он понял, что жалеет детей.

- Насчет работы - это правильно,- сказал он. - Это превосходно. А вот съезжать незачем. Ведь тогда придется платить и за жилье и за харчи. А вы должны экономить. Деньги вам понадобятся.

- Да,- сказала она хрипло.- Понадобятся.

- А он что, все еще думает...- Он остановил себя. Потом сказал: - Не слыхать, Флем скоро вернется? А?

Она не ответила. Да он и не ждал ответа.

- Вы должны экономить на чем только можно,- сказал он.- Оставайтесь здесь. Платите ей доллар в неделю за детей, если так у вас будет спокойнее на душе. Едва ли малыш за семь дней съест больше, чем на пятьдесят центов. Живите пока тут.

И она осталась. Он отдал ей и детям свою комнату, а сам перебрался к старшему племяннику. Работала она на окраине, в захудалом грязном пансионе с весьма двусмысленной репутацией, именовавшемся "Отель Савой". Она уходила на рассвете, а кончала работу уже затемно, иногда поздней ночью. Она подметала комнаты, стелила постели, стряпала, а мыть посуду и растапливать плиту обязан был негр-привратник. Платили ей три доллара в неделю на хозяйских харчах.

- Только вот мозоли она себе набьет, ежели будет ночью бегать босиком по комнатам всяких там барышников, судейских да страховых агентов, что облапошивают черномазых,- сказал один городской остряк.

Но это уж была ее забота. Рэтлиф ничего об этом не знал, мало интересовался сплетнями и, к его чести, верил им еще меньше. Ее он теперь почти совсем не видел, разве только по воскресеньям, когда дети в новых пальтишках, которые он им купил, и она сама в его старом пальто, за которое она чуть не силой заставила его взять пятьдесят центов, входили в ворота или выходили оттуда. И однажды он подумал: а ведь никто из родственников - ни старый Эб, ни учитель, ни кузнец, ни новый приказчик - ни разу его не навестили. "И ежели разобраться в этом деле как следует,- подумал он,- то одного из них надо бы упрятать за решетку вместе с ним. Или рядом, в соседнюю камеру, потому что нельзя повесить одного человека дважды - если только не считать, что один Сноупс может понести наказание за другого".

В День благодарения выпал снег, и хотя он не пролежал и двух дней, в начале декабря ударил лютый мороз, который так сковал землю, что через какую-нибудь неделю она потрескалась и покрылась пылью. Дым белел, едва выходя из трубы, бессильный даже подняться кверху, и сливался с туманной пеленой, которая целый день окутывала солнце, бледное и холодное, как сырая лепешка. "Теперь им даже и думать не приходится, что надо съездить повидать его,- сказал себе Рэтлиф.- Никому, даже Сноупсу, незачем оправдываться, ежели он не едет с Французовой Балки, за двадцать миль, из одного только человеколюбия". Теперь между решеткой и руками появилось стекло; руки не были видны, даже если специально остановиться перед тюрьмой, чтобы поглядеть на них. Но Рэтлиф теперь быстро проходил мимо, сгорбившись в своем пальто, прикрывая то одно, то другое ухо рукой в шерстяной перчатке, и дыхание белым инеем оседало на покрасневшем кончике его носа и вокруг слезящихся глаз, шел через пустую площадь, где лишь изредка попадалась навстречу почтовая коляска,- пассажиры сидели, прикрывшись полстью, поставив между собой на сиденье зажженный фонарь, а лайки, казалось, таращились на них замерзшими окнами, словно

слепые старики.

Прошло рождество, а небо по-прежнему было словно посыпано солью, и скованная земля ничуть не оттаяла, но в январе подул северо-западный ветер и небо очистилось. Солнце разбросало по замерзшей земле длинные тени, и три дня подряд к полудню земля оттаивала кое-где на дюйм-другой,- проталины были словно лужицы масла или колесной мази; в полдень люди выползали, как говорил себе Рэтлиф, словно крысы или тараканы из своих щелей, удивленно и недоверчиво глядя на солнце и на подтаявшую землю, затвердевшую с давних, почти незапамятных времен, а теперь ставшую вдруг снова мягкой и способной сохранять следы. "Нынче ночью мороза не будет,- говорили люди друг другу.На юго-западе собираются тучи. Быть дождю, а он смоет мороз, и все опять будет хорошо". И дождь был. Ветер подул с юго-запада. "Он снова задует с северо-запада, и тогда жди мороза. Но пусть уж лучше мороз, чем снег",говорили они друг другу, но пошел снег с ледяной крупой, а к ночи он уже так и валил, шел не переставая два дня и таял, едва коснувшись земли, превращаясь в грязь, которая вскоре заледенела, а снег все шел, но в конце концов перестал, и наступило морозное безветрие, и даже холодная облатка солнца не вставала над закованной в ледяную броню землей; прошел январь, за ним февраль, все вокруг словно вымерло, только низко стлался нескончаемый дым, да редкие прохожие, не в силах удержаться на тротуарах, ползли в город или из города по мостовой, где не могла пройти ни одна лошадь, и нигде ни звука, только стук топоров да сиротливые свистки ежедневных поездов, и Рэтлиф словно бы видел их - черные, пустые, бесконечные, окутанные редеющим паром, они мчатся неведомо куда по белой суровой пустыне. По воскресным дням, сидя дома у камелька, он слышал, как женщина заходила после обеда за детьми, надевала на них новые пальто поверх кургузых одежек, в которых они бегали, несмотря на мороз, в воскресную школу (за этим следила его сестра) вместе с его племянником и племянницами, которые их чурались, и представлял себе, как они все четверо сидят в пальто вокруг маленькой, бесполезной печурки, которая не обогревает камеру, а только исторгает из стен, словно слезы, давний пот давних мук и горестей, таившихся здесь. А потом они возвращались. Она никогда не оставалась ужинать, и раз в месяц приносила ему восемь долларов, которые ей удавалось выкраивать из двенадцати долларов месячного жалованья, и еще монеты и бумажки (однажды их набралось на целых девять долларов), и он никогда не спрашивал, откуда они. Он был ее банкиром. Знала его сестра об этом или нет - трудно сказать, скорее всего знала. Сумма все росла.

- Но придется ждать еще много недель,- сказал он как-то. Она молчала.Может, он хоть ответит на письмо,- сказал он. - Все-таки родная кровь.

Морозы не могли держаться вечно. Девятого марта снова пошел снег и стаял, даже не заледенев. Люди опять могли ходить по городу, и как-то в субботу, войдя в ресторанчик, которым он владел на паях, он увидел Букрайта, - по обыкновению, перед ним стояла тарелка, на которой была накрошена всякая всячина вперемешку с яйцами. Они не виделись почти полгода. Но они даже не поздоровались.

- Она уже дома,- сказал Букрайт. - Приехала на прошлой неделе.

- Быстро же она переезжает,- сказал Рэтлиф. - Всего пять минут назад я видел, как она выносила ведро золы с черного хода "Отеля Савой".

- Да я не об ней,- сказал Букрайт с набитым ртом.- Я о Флемовой жене. Билл поехал в Моттстаун и привез обоих на прошлой неделе.

- Обоих?

- Да нет, не Флема. Ее и ребенка.

"Видно, он уже пронюхал об этом,- подумал Рэтлиф.- Кто-нибудь написал ему". Он сказал:

- Ребенок... Ну-ка, ну-ка. Февраль, январь, декабрь, ноябрь, октябрь, сентябрь, август. И начало марта. Да, пожалуй, он еще маловат, чтобы жевать табак.

- Он и не будет никогда жевать табак,- сказал Букрайт. - Это девочка.

Сначала он не знал, как быть, но колебался недолго. "Лучше сразу",сказал он себе. Все равно, даже если она надеялась, сама того не подозревая. На другой день, когда она пришла за

детьми, он ждал ее.

- Его жена приехала, - сказал он. На миг она словно окаменела.- Но ведь вы ничего другого и не ожидали, правда? - сказал он.

- Да,- сказала она.

И вот даже этой зиме пришел конец. Она кончилась, как и началась, дождем, не холодным ливнем, а шумливыми бурными водопадами теплых струй, смывших с земли лютый, упорный холод, а запоздавшая весна уже бежала по их сверкающим следам, и всюду пошла кутерьма, все появилось разом - почки, цветы, листья, все ожило - пестрый луг, и зеленеющий лес, и широкие поля, пробудившиеся от зимней спячки, готовые принять плуг, ведущий борозду. Школа уже закрылась на лето, когда Рэтлиф проехал мимо нее к лавке и, привязав лошадей у знакомого столба, поднялся на галерею, где сидели на корточках и на скамьях все те же семь или восемь человек, словно просидели так с тех самых пор, как он оглянулся на них в последний раз почти полгода назад.

- Ну, друзья,- сказал он,- я вижу, школа уже закрыта. Теперь ребята пойдут в поле, глядишь, вам и отдохнуть можно будет.

- Она закрыта с самого октября,- сказал Квик. - Учитель удрал.

- А. О.? Удрал?

- Его жена явилась. А он только завидел ее - и давай бог ноги.

- Кто, кто? - переспросил Рэтлиф.

- Его жена,- сказал Талл.- По крайней мере, так она сказала. Такая толстая, седая...

- Что за чушь,- сказал Рэтлиф.- Да он и не женат вовсе. Ведь он прожил здесь три года. Наверно, это была его мать.

- Да нет же,- сказал Талл. - Она была молодая. Просто у нее волосы все седые. Приехала в коляске вместе с ребенком месяцев шести.

- С ребенком? - сказал Рэтлиф. Моргая, он глядел то на одного, то на другого.- Послушайте, что все это значит? Откуда у него взялась жена, да еще с шестимесячным ребенком? Разве он не прожил здесь, у всех на глазах, целых три года? Что за чертовщина. Да когда же он успел, ведь ни разу и не уезжал надолго.

- Уоллстрит говорит, что это его жена и ребенок, - сказал Талл.

- Уоллстрит? Это еще кто такой?

- Сынишка Эка.

- Тот мальчуган лет десяти? - Теперь Рэтлиф, моргая, уставился на Талла. - Да ведь про нее в первый раз шуметь начали только два или три год назад, когда там была паника. Откуда же у десятилетнего мальчика такое имя Уоллстрит?

- Не знаю,- сказал Талл.

- А ребенок, видно, и в самом деле его,- сказал Квик. - По крайности, он как глянул на эту коляску, только его и видели.

- Еще бы,- сказал Рэтлиф.- Ребенок - это такой подарочек, от которого всякий мужчина побежит, если только еще есть куда бежать.

- Видно, он знал, куда бежать,- сказал Букрайт хриплым резким голосом.Уж этот ребеночек его бы не выпустил, если, конечно, кто-нибудь прежде повалил бы А. О., а ему дал бы ухватиться как следует. Он и то был больше папаши.

- Может, он еще ухватится,- сказал Квик.

- Да,- сказал Талл.- Она пробыла здесь ровно столько, сколько нужно, чтобы купить банку сардин и галеты. А потом ей кто-то показал, куда ушел А. О., и она поехала по дороге в ту сторону. Он-то пешком ушел. Они оба ели сардины, она и малыш.

- Так, так, - сказал Рэтлиф. - Вот они, Сноупсы. Так, так.- Он умолк. Молча смотрели они, как по дороге едет коляска Уорнера. Правил негр; а сзади, рядом со своей матерью сидела миссис Флем Сноупс. Она даже не повернула свою красивую голову, когда коляска поравнялась с лавкой. Ее лицо проплыло мимо них в профиль - спокойное, беспамятное, равнодушное. Оно не было трагично, на нем была лишь печать проклятия. Коляска проехала.

- А тот вправду дожидается в тюрьме, покуда Флем Сноупс вернется и его вызволит? -

спросил еще кто-то.

- Да, он все еще в тюрьме,- сказал Рэтлиф.

- Но он дожидается Флема? - сказал Квик.

- Нет,- сказал Рэтлиф.- Потому что Флем не вернется, покуда того не засудят.- Но тут миссис Литтлджон, выйдя на веранду, зазвонила в колокольчик, зовя к обеду, и все встали и начали расходиться. Рэтлиф и Букрайт вместе спустились с крыльца.

- Ерунда, - сказал Букрайт.- Даже Флем Сноупс не даст повесить собственного двоюродного брата ради того, чтоб деньги сберечь.

- Сдается мне, Флем знает, что до этого дело не дойдет. Джек Хьюстон был убит выстрелом в грудь, а всякий подтвердит, что он никогда не расставался с револьвером, да и револьвер нашли на дороге, на том самом месте, где лошадь шарахнулась и убежала, так что неизвестно, выронил он его из рук или из кармана, когда падал. Я думаю, Флем все разнюхал. И теперь он не приедет, пока все не будет кончено. Какой ему расчет приезжать, ведь жена Минка сразу в него вцепится, а люди скажут, что он хочет сгноить брата в тюрьме. Бывает такое, чего даже Сноупс не сделает. Не скажу точно, что именно, но, право же, иногда и такое бывает.

Букрайт пошел своей дорогой, а Рэтлиф отвязал лошадей, ввел их во двор к миссис Литтлджон, распряг и отнес упряжь в конюшню. Он не видел идиота с того самого сентябрьского дня, и теперь что-то словно подталкивало, подгоняло его; он повесил сбрую на гвоздь и пошел по темному вонючему проходу между пустыми стойлами, к самому крайнему стойлу, заглянул туда и увидел на полу толстые бабьи ляжки, бесформенную фигуру, неподвижную в полумраке, ублюдочное лицо, которое повернулось и взглянуло на него, и в бессмысленных глазах что-то мелькнуло, словно он смутно узнал его, но не мог вспомнить, слюнявый рот приоткрылся и издал хриплый, жалостный, едва слышный звук. На коленях, обтянутых комбинезоном, Рэтлиф увидел обшарпанную деревянную корову, игрушку, какие дарят детям на рождество.

Подходя к кузнице, он услышал удары молота. Потом молот повис в воздухе; тупое, открытое, здоровое лицо взглянуло на него без удивления, почти не узнавая.

- Как поживаешь, Эк, - сказал Рэтлиф.- Не можешь ли сразу после обеда сбить старые подковы у моих лошадок и подковать их наново? Вечером мне нужно съездить кое-куда.

- Ладно,- сказал кузнец.- Ведите, сделаю.

- Ладно,- сказал и Рэтлиф.- А скажи-ка, этот твой сынишка... Ты ведь недавно переменил ему имя, правда? - Кузнец поглядел на него, не опуская молота. На наковальне медленно остывала раскаленная докрасна поковка.- Я про Уоллстрита.

- А-а,- сказал кузнец.- Ну, нет. Мы ничего не меняли. До прошлого года у него вовсе никакого имени не было. Когда померла моя первая жена, я оставил его у бабки, покуда сам устроюсь; мне об ту пору всего шестнадцать лет было. Она назвала мальчишку в честь деда, но настоящего имени у него все-таки не было. А в прошлом году я пристроился и послал за ним, вот тогда и подумал, что, может, ему лучше дать имя. А. О. вычитал в газете про панику на Уоллстрите. Ну он и порешил, что ежели назвать его "Уоллстрит-Паника", он, может, разбогатеет, как те люди, что эту панику устроили.

- Вот как,- сказал Рэтлиф. - Шестнадцать лет. Значит, одного ребенка тебе мало было, чтобы устроить свою жизнь? Сколько же их потребовалось?

- У меня их трое.

- Значит, еще двое, кроме Уоллстрита. И что же...

- Еще трое, кроме Уолла, - сказал кузнец.

- Вот как,- сказал Рэтлиф.

Кузнец немного помедлил. Потом снова занес молот. Но не ударил, а постоял, глядя на остывшее железо на наковальне, потом положил молот и пошел к горну.

- Значит, тебе пришлось уплатить все двадцать долларов сполна,- сказал Рэтлиф. Кузнец обернулся.- Ну, прошлым летом, за эту корову.

- Да. И еще двадцать центов за игрушку.

- Так это ты купил ее?

- Да. Меня жалость взяла. Я и решил,- может, он еще войдет когда в разум, так, по крайности, ему будет над чем поразмыслить.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

День уже клонился к закату, когда люди, сидевшие на галерее лавки, увидели, что с юга по дороге приближается фургон, запряженный мулами, а за ним длинная вереница каких-то странных, по-видимому, живых фигур, - в косых лучах заходящего солнца они походили на пестрые, причудливые лоскутья, оторванные наобум от каких-то огромных плакатов, - быть может, цирковых афиш, - привязанные позади фургона, они двигались каждая самостоятельно и всем скопом, словно хвост воздушного змея.

- Это что за чертовщина? - сказал кто-то.

- Цирк едет,- сказал Квик.

Все зашевелились, вставая, чтобы взглянуть на фургон. Теперь уже было видно, что позади него привязаны лошади. На козлах сидели двое.

- Мать честная, - сказал первый по фамилии Фримен. - Да ведь это Флем Сноупс.

Все были уже на ногах, когда фургон остановился, Сноупс слез на землю и подошел к крыльцу. Он словно уехал только нынешним утром. На нем была все та же суконная кепка, крошечный галстук бабочкой, белая рубашка и серые брюки. Он поднялся на крыльцо.

- Здорово, Флем, - сказал Квик. Тот на ходу скользнул по всем, сидевшим на галерее, небрежным взглядом, никого не замечая. - Что это вы, цирк завели?

- Здравствуйте, джентльмены! - сказал он.

Все расступились, и он прошел в лавку. Тогда все спустились с крыльца и подошли к фургону, позади которого, настороженно сбившись в кучу, стояли лошадки, маленькие, почти как кролики, разноцветные, как попугаи, прикрученные одна к другой и к фургону кусками колючей проволоки. С узкими крупами, покрытыми ситцевыми попонами, с изящными ногами и розовыми мордами, они злобно и нетерпеливо косили разноцветными глазами, жались друг к другу, настороженно неподвижные, дикие, как олени, опасные, как гремучие змеи, кроткие, как голуби. Люди стояли на почтительном расстоянии. Раздвинув их плечом, подошел Джоди Уорнер.

- Эй, док, поаккуратней, - сказал голос откуда-то сзади.

Но было уже поздно. Крайняя лошадь с быстротою молнии взвилась на дыбы и дважды взбрыкнула передними копытами, проворнее боксера, норовя саданутъ Уорнеру в лицо и сильно рванув проволоку, отчего словно волна прошла по табуну,- лошади били копытами и становились на дыбы.

- Тпру-у, балуй, кургузые твари, дьяволы бешеные! - сказал тот же голос, принадлежавший спутнику Флема.

Он был не здешний. Из-под светлой широкополой шляпы торчали густые, черные, как смоль, усы. Когда он спрыгнул на землю и, повернувшись спиной, встал между ними и лошадьми, все увидели, что из заднего кармана его узких, в обтяжку, бумазейных штанов торчит перламутровая рукоятка внушительного револьвера и цветная коробочка, в каких продают печенье.

- Держитесь от них подальше, ребята, - сказал он. - Они малость норовисты, на них давно никто не ездил.

- А как это давно? - спросил Квик. Незнакомец взглянул на Квика. Лицо у него было широкое, обветренное и холодное, глаза тоже холодные и бесцветные. Его плоский живот был туго, как втулка, вбит в узкие штаны.

- Сдается мне, скорее они сами на пароме через Миссисипи ехали,- сказал Уорнер. Незнакомец взглянул на него.- Моя фамилия Уорнер,- сказал Джоди.

- А моя - Хиппс, - сказал незнакомец.- Зовите меня просто Бэк. - Через всю его левую

щеку, от уха до подбородка, тянулся свежий кровавый рубец, залепленный чем-то черным, вроде колесной мази. Все поглядели на рубец. А потом увидели, что незнакомец вынул из кармана коробочку, вытряхнул оттуда на ладонь имбирное печенье и сунул его в рот, под усы.

- Видать, вы с Флемом не поладили? - сказал Квик. Незнакомец перестал жевать. Когда он смотрел на кого-нибудь в упор, его глаза становились похожи на два осколка кремня, вывернутые плугом из земли.

- Это почему же?

- А вон у вас что с ухом,- сказал Квик.

- Ах, вы об этом! - Незнакомец коснулся своего уха.- Нет, это я сам виноват. Зазевался как-то вечером, когда ставил их в загон. Задумался и позабыл, что проволока-то длинная.- Он снова принялся жевать. Все глядели на его ухо.- Со всяким бывает, кто неосторожен с лошадью. Смажешь колесной мазью, на другой день все как рукой снимет. Сейчас они горячатся, застоялись без дела. Но через день-другой вы их не узнаете. - Он положил в рот еще одно печенье и стал жевать.- Не верите, что они будут как шелковые? - Никто не ответил. Все смотрели на лошадей угрюмо и с недоверием. Джоди повернулся и пошел назад к лавке. - Лошадки добрые, послушные, - сказал незнакомец.- Вот поглядите. - Он сунул коробку с печеньем в карман и пошел к лошадям, протянув руку. Ближняя стояла, приподняв одну ногу. Казалось, она спала. Синий, как небо, глаз задернуло веко; голова была плоская, как гладильная доска. Не открывая глаз, лошадь вскинула голову и оскалила желтые зубы. Казалось, на миг она и человек слились в одном яростном усилии. Потом оба замерли, высокие каблуки незнакомца глубоко ушли в землю, одна рука, стиснувшая ноздри лошади, была неловко вывернута, а лошадь дышала хрипло, шумно, с натужными стонами. - Видали? - сказал незнакомец, с трудом переводя дух, жилы у него на шее и на висках вздулись и побелели.- Видали? Нужно только не давать им спуску, повыбить из них дурь. Ну-ка, ну-ка, осади!

Люди подались назад. Он изловчился и отскочил. В тот же миг другая лошадь саданула его копытом по спине, разодрав жилет во всю длину, совсем как фокусник одним ударом рассекает подброшенный в воздух платок.

- Ничего себе, - сказал Квик. - А ежели на человеке жилетки нет, тогда как?

Тут сквозь толпу снова протолкался Джоди Уорнер. Следом за ним шел кузнец.

- Ну вот что, Бэк, - сказал он. - Пожалуй, лучше отвести их в загон. Вот Эк вам пособит.

Незнакомец, у которого свисали с плеч лохмотья, залез вместе с кузнецом на козлы.

- Но-о, страстотерпцы, живые мощи! - крикнул он. Фургон тронулся, лошадки, принизанные к нему, пестрой вереницей поплелись вслед, а за ними, на почтительном расстоянии, гуськом потянулись люди, прямо по дороге, а потом в проулок, мимо дома миссис Литтлджон, к воротам загона. Эк слез и отворил ворота. Фургон въехал на двор, но едва лошади увидели загородку, как они попятились, натягивая проволоку, и все разом взвились на дыбы, норовя повернуть обратно, так что фургон откатился назад на несколько футов, пока техасец, отчаянно ругаясь, не ухитрился заворотить мулов и таким образом затормозить фургон. Люди, шедшие сзади, отпрянули. - Слушай, Эк,- сказал техасец.- Полезай-ка сюда да подержи вожжи.

Кузнец залез обратно на козлы и взял вожжи. А потом они увидели, как техасец с ременным кнутом в руке спрыгнул на землю, зашел сзади и загнал лошадей в ворота - кнут размеренно гулял по разноцветным спинам, щелкая оглушительно, как выстрелы. Зрители почти бегом перешли двор миссис Литтлджон и поднялись на веранду, одна сторона которой примыкала к загону.

- Интересно, как это он ухитрился связать их? - сказал Фримен.

- А по мне куда интереснее поглядеть, как он их станет развязывать,сказал Квик. Техасец опять залез в фургон. И сразу же они с Эком появились у задней дверцы. Техасец ухватился за проволоку и стал подтягивать к фургону первую лошадь, а она приседала и упиралась, словно хотела удавиться на этой проволоке, заражая беспокойством остальных лошадей, пока все они не начали одна за другой приседать и пятиться, натягивая проволоку.

- Ну-ка, пособи мне,- сказал техасец. Эк тоже ухватился за проволоку. Лошади упирались, вскидывали розовые морды над водоворотом пятящихся крупов.- Тяни, тяни сильней,- сказал техасец отрывисто.- Им сюда не залезть, даже если б они и вздумали.- Фургон потихоньку откатывался назад, пока первая лошадь не уперлась лбом и заднюю дверцу. Техасец быстро обернул проволоку вокруг одной из стоек кузова. - Подержи-ка, чтоб не размоталась,сказал он. Потом исчез и мигом появился снова со здоровенными клещами в руках.- Держи проволоку вот так,- сказал он и спрыгнул на землю. Его широкополая шляпа, развевающиеся лохмотья жилета, клещи - все исчезло в калейдоскопическом хаосе оскаленных зубов, сверкающих глаз, мелькающих в воздухе копыт, и оттуда тотчас же, одна за другой, словно куропатки, стали выпархивать лошади, каждая с ожерельем из колючей проволоки на шее. Первая бешеным галопом понеслась напрямик через загон. С разбегу она наскочила на загородку. Проволока поддалась, спружинила, и лошадь, опрокинутая, некоторое время лежала на земле, сверкая глазами и перебирая ногами в воздухе, словно все еще скакала во весь опор. Потом она встала, все так же вскачь пересекла загон, снова налетела на загородку и снова упала. Тем временем были отпущены на свободу остальные лошади. Они шарахались и носились по загону, словно ошалевшие рыбы в аквариуме. До сих пор загон казался большим, но теперь самая мысль о том, что все это яростное движение может быть сосредоточено за какой-то загородкой, представлялась нелепым фокусом, словно трюк с зеркалом. Наконец из последних клубов пыли вынырнул техасец, держа в руках клещи, жилета на нем как не бывало. Он не бежал, он просто двигался легко и осторожно, лавируя среди ситцевых попон, делая ложные броски и увертываясь, как боксер на ринге, пока не добрался до ворот, а оттуда прошел через двор на веранду. Один рукав его рубашки висел на ниточке. Он оторвал его, вытер им лицо, потом отшвырнул его, вынул коробочку и вытряхнул на ладонь печенье. Дышал он лишь чуть чаще обычного.- Здорово горячатся,- сказал он.- Ничего, через день-другой присмиреют.

Лошади все еще метались взад и вперед по загону в сгущавшихся сумерках, как ошалевшие рыбы, постепенно успокаиваясь.

- Что вы дадите человеку, который вам малость пособит? - сказал Квик. Техасец взглянул на него бесцветными, дружелюбными, спокойными глазами, под которыми медленно двигались челюсти и густо чернели усы.- Который заберет у вас одну? - сказал Квик.

На веранде появился голубоглазый мальчуган.

- Папа, папа! Где папа? - звал он.

- Кого ты ищешь, сынок? - сказал один.

- Это мальчик Эка,- сказал Квик.- Твой отец еще там, в фургоне. Помогает мистеру Бэку.

Мальчик в своем маленьком комбинезоне прошел через всю веранду миниатюрная копия здешних мужчин.

- Папа,- звал он.- Папа.

Кузнец все стоял, перегнувшись через дверцу фургона, и держал в руках конец проволоки. Лошади, на миг сбившись в кучу, теперь рассыпались, шарахнулись от фургона, побежали, и казалось, будто их стало вдруг вдвое больше против прежнего; из густой пыли доносился дробный, частый, легкий стук некованых копыт. - Мама зовет ужинать,- сказал мальчик.

Близилось полнолуние. И когда после ужина зрители снова собрались на веранде, было почти так же светло. Просто быструю резкость дня сменила зыбкая серебристая глубь, в которой, причудливо сливаясь с нею, барахтались лошади, разбегались поодиночке или парами, зыбкие, призрачные, неугомонные, и снова сбивались в похожие на мираж табунки, откуда доносилось визгливое ржание и зловещие удары копыт.

Вместе с другими пришел и Рэтлиф. Он приехал перед самым ужином. Ввести своих лошадей в загон он не рискнул. Они стояли на конюшне у Букрайта в полумиле от лавки.

- Значит, Флем вернулся,- сказал он.- Так, так. Билл Уорнер за свой счет отправил его в Техас, и, по-моему, будет только справедливо, ежели вы, друзья, оплатите ему обратную дорогу.

Из загона донеслось пронзительное, визгливое ржание. Появилась лошадь. Казалось, она не скачет, а плывет, неосязаемая, бесплотная. Но копыта ее часто и дробно стучали по утрамбованной земле.

- Он не сказал, что лошади его,- сказал Квик.

- И что они не его, тоже не сказал,- сказал Фримен.

- Понимаю,- сказал Рэтлиф. - Вот, значит, чего вы дожидаетесь: чтобы он сказал, его они или не его. А может, вы подождете, покуда кончатся торги и разделитесь - одни пойдут за Флемом, другие за этим парнем из Техаса, чтобы поглядеть, который из них станет тратить ваши денежки? Да только когда тебя уже ощипали, какая разница, кому от этого прибыток.

- А ежели Рэтлиф уедет нынче же вечером, завтра его уж никак не заставят купить одну из этих лошадок, - сказал третий.

- Факт,- сказал Рэтлиф. - Даже от Сноупса можно унести ноги, надо только шевелить ими попроворнее. Ей-богу, я просто уверен, что он ощиплет первого же, кто ему подвернется, а уж второго наверняка. Но вы, ребята, ведь не собираетесь покупать этот его товар, верно я говорю?

Никто не ответил. Люди сидели на крыльце, прислонившись спиной к столбам веранды, или прямо на перилах. Только Рэтлиф и Квик сидели на стульях, так что остальные казались им лишь черными силуэтами на фоне лунного света, сонно заливавшего веранду. Грушевое дерево за дорогой будто иней усеяли белые цветы, молодые побеги и веточки не тянулись во все стороны, но стояли торчмя над прямыми сучьями, словно растрепанные, взметнувшиеся кверху волосы утопленницы, мирно спящей на дне спокойного, недвижного моря.

- Энс Маккаллем тоже раз пригнал пару лошадей из Техаса, - сказал кто-то на крыльце. Он не шевельнулся. Он говорил, ни к кому не обращаясь.Хорошая была запряжка. Только немного легковата. Он на ней десять лет работал. Легко было работать, одно удовольствие.

- Как же, помню, - сказал другой.- Энс еще говорил, будто за них четырнадцать ружейных патронов отдал - так, что ли?

- А я слышал, что и ружье с патронами, - сказал третий.

- Нет, он отдал только патроны,- сказал первый. - За ружье тот парень предлагал еще четверку, но Энс сказал, что они ему без надобности. Себе дороже станет - пригнать шестерку лошадей сюда в Миссисипи.

- То-то и оно,- сказал второй.- Когда покупаешь по дешевке лошадь или запряжку, нечего и ждать толку.

Все трое говорили вполголоса, они толковали меж собой, словно были одни. Рэтлиф, невидимый и темном углу, засмеялся, тихонько, лукаво, хрипловато.

- Рэтлиф смеется,- сказал четвертый.

- Ладно, вы на меня не глядите, - сказал Рэтлиф.

Трое говоривших не шевелились. Они не шевельнулись и теперь, но было в их темных фигурах какое-то упорство и молчаливое ожесточение, словно у детей, получивших нагоняй. Птица черной стремительной дугой прочертила лунный свет, вспорхнула на грушу и запела; это был пересмешник.

- Первого пересмешника слышу в этом году, - сказал Фримен.

- Около Уайтлифа они каждую ночь поют,- сказал первый.- Я слышал одного в феврале. Помните, когда снег повалил. Он пел на каучуковом дереве.

- Каучуковое дерево всех раньше распускается,- сказал третий.- За это его птицы и любят. Им петь хочется, когда оно зеленеет. Оттого пересмешник на нем и пел.

- Каучуковое дерево всех раньше распускается? - сказал Квик. - А ива как же?

- Ива не дерево, - сказал Фримен. - Она вроде бурьяна.

- Ну не знаю, что она такое,- сказал четвертый,- а только никакой это не бурьян. Потому что бурьян можно выполоть, и дело с концом. А вот ивняк я лет пятнадцать корчевал у себя на весеннем выгоне. А он на другой год опять вырастал такой же высокий. Да еще всякий год этих ивок становилось на одну или две больше против прежнего.

- Вот я бы на вашем месте и ушел завтра на выгон чем пораньше,- сказал Рэтлиф.- Но вы,

конечно, и не подумаете сделать это: уж я-то знаю, что ни на Французовой Балке, ни во всем мире ничто не помешает вам, ребята, отдать Флему Сноупсу и этому техасцу свои кровные денежки. Но я бы, по крайней мере, узнал точно, кому они достанутся. Пожалуй, Эк мог бы вам в этом помочь. Пожалуй, он мог бы сказать вам это по-соседски, а? Как-никак он двоюродный брат Флема, да к тому же он и его сынишка, Уоллстрит, сегодня помогли техасцу натаскать для них воды, а завтра поутру Эк поможет задать им корм. А потом он, может, станет их ловить и подводить по одной, покуда вы, ребята, будете набавлять цену. Так, что ли, Эк?

Кузнец сидел на крыльце, привалившись к столбу.

- Не знаю, - сказал он.

- Ребята, - сказал Рэтлиф. - Эк знает об этих лошадях всю подноготную. Флем ему сказал, во сколько они обошлись и сколько он с этим техасцем собирается заработать, нажить на них. Ну-ка, Эк, выкладывай.

Кузнец не шевельнулся, он сидел на верхней ступеньке крыльца, боком к ним, и их напряженное, выжидательное молчание капля за каплей падало на него сверху.

- Не знаю я, - сказал он.

Рэтлиф рассмеялся. Он сидел на стуле и смеялся, а другие сидели на крыльце и на перилах, и смех его падал на них сверху, подобно тому как падало на Эка их напряженное молчание. Рэтлиф перестал смеяться. Он встал. Зевнул громко, во весь рот.

- Ну ладно. Вы, ребята, можете покупать этих лошадок, ежели хотите. А я скорей купил бы тигра и гремучую змею. Да и то ежели бы их мне Флем предложил, я б и дотронуться до них побоялся, - а вдруг они окажутся перекрашенной собакой и куском шланга. Желаю нам вам спокойной ночи.

Он ушел в дом. Никто не посмотрел ему вслед, но немного погодя все зашевелились и стали глядеть на загон, на пестрый, лихорадочный лошадиный водоворот, откуда время от времени долетало короткое ржание и глухие удары копыт. С груши лились нескончаемые дурацкие рулады пересмешника.

- Энс Маккаллем сделал из той пары добрую запряжку, - сказал первый. Они были малость легковаты. А так ничего.

На другое утро, едва взошло солнце, у дома миссис Литтлджон уже стояли фургон и три верховых мула, а к загородке прильнули шестеро мужчин и сынишка Эка Сноупса, они не сводили глаз с лошадей, которые тесно сбились в кучу у двери конюшни и тоже глядели на людей. Подъехал еще один фургон, свернул с дороги и остановился, и вот уже восемь мужчин выстроились рядом с мальчиком у загородки, за которой стояли лошади, их карие с синим глаза быстро бегали на пестрых мордах.

- Так вот он, значит, Сноупсов цирк? - сказал кто-то, подходя. Он глянул на лошадиные морды, потом прошел вдоль загородки и встал с краю, рядом с кузнецом и его сыном. - Выходит, это Флемовы лошади? - спросил он у кузнеца.

- Эк знает не больше нашего, чьи они, - сказал один. - Он знает, что Флем приехал сюда в фургоне, а за ним - лошади, это он видел. А больше он ничего не знает.

- И не узнает, - сказал второй.- Родственник Флема Сноупса всегда узнает о его делах последним.

- Ну нет,- сказал первый.- Он и тогда не узнает. Первым, кого Флем посвятит в свои дела, будет тот, кто останется в живых, когда умрет последний человек на земле. Флем Сноупс даже себе самому не говорит, что он замышляет. Даже если лежит темной ночью один в доме, где, кроме него, живой души нет.

- Это точно,- сказал третий.- Флем облапошит Эка и всякого другого своего родственника не хуже, чем нас. Правда, Эк?

- Не знаю я,- сказал Эк.

Они смотрели на лошадей, которые в этот миг, насторожив уши и напружив ноги, вдруг завертелись волчком и понеслись пятнистой волной по загону, а потом вернулись назад и стали глядеть на людей сквозь загородку, и никто не слышал, как появился техасец, пока он не подошел к ним вплотную. Он был в новой рубашке и другой жилетке, которая была ему

тесновата, и как раз прятал коробку с печеньем в задний карман брюк.

- Доброе утро,- сказал он.- Раненько же вы встали сегодня. Может,

Они уже не смотрели на техасца. Теперь они снова смотрели на лошадей, которые, опустив головы, нюхали землю.

- Нет уж, мы сперва поглядим,- сказал один.

- Ну что ж, во всяком случае сейчас самое время поглядеть, как они будут завтракать,- сказал техасец. - Они тут всю ночь бегали и здорово оголодали. - Он открыл ворота и вошел в загон. Лошади разом вскинули головы и уставились на него. - Вот что, Эк, - сказал техасец через плечо, - пусть двое или трое из ваших ребят помогут мне загнать их в конюшню.

Эк и еще двое мужчин подошли к воротам, и вместе с ними мальчик, шедший по пятам за отцом, который заметил его, только когда повернулся, чтобы затворить ворота.

- Не лезь сюда,- сказал Эк.- А то, неровен час, расшибут тебе голову, как скорлупку, ахнуть не успеешь.

Он закрыл ворота и побежал догонять остальных, техасец расставил их подковой, а сам пошел к лошадям, которые теперь сбились в беспокойный табунок и, глядя на людей, начали потихоньку кружиться на месте. Миссис Литтлджон вышла из кухни и пошла через двор к поленнице, поглядывая на лошадей в загоне. Она взяла два или три полена и остановилась, чтобы снова взглянуть на загон. У загородки появились еще два человека.

- Смелей, ребята! - сказал техасец.- Не бойтесь, они вас не тронут. Просто они сроду не бывали под крышей.

- А по мне, так пусть здесь и остаются, ежели им охота,- сказал Эк.

- Возьмите палки, вон там у загородки целая куча фургонных осей, и как только которая-нибудь кинется на вас, огрейте ее хорошенько по башке, она живо в чувство придет.

Один из мужчин подошел к загородке, взял три палки, вернулся и роздал их. Миссис Литтлджон, теперь уже с целой охапкой дров, на полпути к дому еще раз остановилась, глядя на лошадей в загоне. Мальчик снова увязался за отцом, но теперь тот его не видел. Мужчины начали наступать на лошадей, и табунок разбился на пестрые подвижные кучки. Техасец весело крыл их громким бодрым голосом.

- Пошли в конюшню, чучела проклятые, чертовы куклы! Не подгоняйте их. Пускай чуть пообвыкнут. Эй! Заходи, не бойся. Это же конюшня, а не суд! И не церковь, тут с вас не станут собирать пожертвования.

Лошади медленно пятились назад. Время от времени какая-нибудь из них пробовала отбиться от других, но техасец, ловко бросая в нее комья земли, загонял ее обратно. А потом задняя лошадь оказалась у самых ворот конюшни, и техасец, не давая лошадям опомниться, выхватил у Эка палку, бросился на них с одним из помощников и принялся лупить их по головам и спинам, безошибочным чутьем выбирая жертву и ударяя ее сначала по морде, а потом, заворотив, по холке, и напоследок по крестцу, так что им удалось завернуть весь табун, и лошади, вбежав в длинный коридор, ударились об стену с глухим раскатистым грохотом, словно где-то в шахте рухнули крепления.

- Ну, кажется, стенка выдержала,- сказал техасец. Он и его помощник захлопнули низкие воротца и заглянули поверх них в конюшню, в дальнем конце которой табун казался теперь пятнистым призраком, и оттуда доносился треск деревянных перегородок и постепенно замирающие гулкие удары копыт.- Ага, выдержала стенка,- сказал техасец.

Остальные двое подошли к воротам и тоже заглянули поверх створок в конюшню. Мальчик подошел вслед за отцом, намереваясь заглянуть в щелку, и тут Эк увидел его.

- Сказано тебе было, не лезь в загон! - крикнул он.- Затопчут тебя до смерти, ты и пикнуть не успеешь, понял? Ступай за ворота и стой там.

- Почему ты не попросишь папашу купить тебе лошадку, Уолл? - сказал один из мужчин.

- Чтоб я купил такую дрянь? - сказал Эк.- На что она мне, если я могу хоть сейчас пойти на реку и изловить задаром зубастую черепаху или гадюку? Ну, ступай отсюда. Стой за воротами и не лезь.

Техасец уже вошел в конюшню. Один из мужчин закрыл за ним ворота, заложил засов,

и они, глядя поверх створок, видели, как техасец прошел через всю конюшню к лошадям, которые сгрудились в темном углу, словно пестрые призраки, и, уже успокоившись, начали даже принюхиваться к длинной обгрызанной кормушке у задней стены. Мальчик только обошел вокруг отца и стоял теперь по другую сторону от него, глядя сквозь дырку от выпавшего сучка. Техасец открыл маленькую дверцу в стене и вошел в нее, но почти сразу же появился снова.

- Там нет ничего, кроме лущеной кукурузы,- сказал он.- А Сноупс вчера обещал прислать сена.

- А разве кукурузы они не едят? - спросил кто-то.

- Не знаю,- сказал техасец.- Знаю только, что они ее никогда и не нюхали. Ну да ладно, сейчас увидим.

Он исчез, и было слышно, как он ходит по стойлу. Потом он снова появился с большой корзиной и нырнул в темноту, где пестрые лошадки теперь преспокойно выстроились у кормушки. Миссис Литтлджон опять вышла из дома, на этот раз на веранду, неся большой медный колокольчик. Она подняла его, чтобы позвонить к обеду. Когда техасец подошел к лошадям, они заволновались, но он быстро, громко и бесстрастно заговорил с ними, осыпая их смесью ругани и ласковых слов, и исчез в самой их гуще. Люди, стоявшие у двери, слышали сухой шорох кукурузных зерен в кормушке, а потом какая-то лошадь испуганно всхрапнула. С громким треском обломилась доска, и у них на глазах конюшня превратилась в кромешный ад, и пока они глядели поверх ворот, словно зачарованные, не в силах шевельнуться, внутри, будто языки пламени, заметались яростные тени.

- Сто чертей,- сказал один.- Бежим! - заорал он вдруг.

Все трое повернулись и со всех ног побежали к фургону. Эк бежал последним. Люди из-за загородки что-то кричали, но он их даже не слышал и только карабкался, не помня себя, на фургон, а потом оглянулся и увидел мальчика - он все стоял, припав к дыре в воротах конюшни, и в тот же миг ворота исчезли, разнесенные в щепы, и самой дыры словно не бывало, а мальчик остался стоять, неподвижный в своем маленьком комбинезоне, все еще слегка нагнувшись, пока его не захлестнула широкая многоцветная волна бегущих ног, сверкающих глаз и оскаленных зубов, которая, взметнувшись, рассыпалась на множество отдельных частиц, обнажив наконец зияющий зев пустоты, и в нем мальчика, невредимого, без единой царапинки, по-прежнему глядевшего в исчезнувшую дыру.

- Уолл! - завопил Эк.

Мальчик повернулся и побежал к фургону. Лошади метались взад и вперед, и казалось, теперь их стало вдвое больше; две из них одна за другой перемахнули через мальчика, не задев его, а он бежал, маленький, серьезный, бежал, казалось, на одном месте, но все же добрался наконец до фургона, и Эк, чье загорелое лицо побелело, как полотно, протянул руку, втащил мальчика внутрь за помочи комбинезона, зажал его голову между колен и схватил со дна фургона вожжу.

- Сказано тебе было, не лезь в загон,- сказал Эк дрожащим голосом.Сказано было...

- Если ты хочешь его выпороть, лучше уж всыпь нам всем, а потом кто-нибудь из нас высечет тебя, - сказал один из мужчин.

- А еще лучше, возьми веревку да вздерни вон того дьявола, - сказал другой. Техасец стоял теперь у разломанных ворот конюшни и доставал из кармана коробку с имбирным печеньем.- А не то он всю Французову Балку изничтожит.

- Ты про Флема Сноупса, да? - сказал первый.

Техасец, перевернув коробку, вытряхивал на ладонь печенье. Лошади все еще метались по загону, но уже начали успокаиваться, они трусили рысцой на высоких прямых ногах, хотя по-прежнему дико и злобно косили белыми глазами.

- Я знал, что от этой поганой кукурузы добра не жди, - сказал техасец.Но зато они, по крайности, видели, какая она есть. Кое-чему они тут научились, им грех жаловаться. - Он встряхнул коробку. На ладонь не выпало ничего. Миссис Литтлджон зазвонила на веранде в колокольчик; услышав звон, лошади снова заметались, земля слегка задрожала от дробного

стука копыт. Техасец скомкал коробку и бросил ее.- Ладно, - сказал он.

В проулке появились еще три фургона, и у загородки стояли человек двадцать или больше, когда техасец с тремя своими помощниками и мальчиком вышел за ворота. Ясное утреннее солнце светило с безоблачного неба, играя на перламутровой рукоятке револьвера, торчавшей у него из заднего кармана, и на медном колокольчике, в который все звонила миссис Литтлджон, настойчиво, властно, громко.

А когда минут через двадцать техасец, ковыряя в зубах спичкой, снова появился на крыльце, фургоны, верховые лошади и мулы растянулись от ворот до самой лавки Уорнера, а у загородки толпилось больше пятидесяти человек, они молча, украдкой глядели, как он идет, чуть враскачку, на своих кривоватых ногах, и высокие каблуки его фасонистых ботфортов оставляют в пыли отчетливый след.

- Доброе утро, джентльмены,- сказал он.- Ну-ка, малыш,- он повернулся к мальчику, который молча стоял позади него, не спуская глаз с рукоятки револьвера. Он вынул из кармана монету и дал мальчику.- Сбегай в лавку, купи мне коробку имбирного печенья.- Он пристально оглядел непроницаемые лица, посасывая спичку, которой чистил зубы. Потом перебросил спичку из одного угла рта в другой, не прикоснувшись к ней рукой.- Вы, ребята, конечно, уже присмотрели себе лошадок. Можно начинать, а?

Никто не ответил. Теперь на него уже не смотрели. Или, верней, ему начинало казаться, что он просто не успевает поймать ничей взгляд, потому что люди поспешно отводят глаза. Немного погодя Фримен спросил:

- А Флема ждать не будете?

- Зачем? - сказал техасец. Тогда и Фримен отвел взгляд. Лицо его тоже было непроницаемо. Техасец продолжал все тем же ровным, спокойным голосом: Эк, ты ведь уже облюбовал себе лошадок. Так что начнем, когда захочешь.

- Нет уж, увольте,- сказал Эк.- Не стану я их покупать, к ним и подойти-то страшно.

- Страшно подойти к этим маленьким лошадкам? - сказал техасец.- Да ведь ты же помогал их поить и кормить. Бьюсь об заклад, что твой мальчуган к любой не побоится подойти.

- Пусть только попробует, - сказал Эк.

Техасец окинул равнодушным и вместе с тем настороженным взглядом спокойные лица, непроницаемые, словно высеченные из кремня, твердые и бесстрастные.

- Эти лошадки кроткие, как голуби, ребята. Кто их купит, потом не нахвалится, таких ни за какие деньги не достанешь. Конечно, они не без норова; я ведь не торгую падалью. Кому нужна техасская падаль, когда в Миссисипи и своей хватает? - Взгляд его оставался равнодушным, в голосе не было ни веселья, ни задора, да и в смешке, прозвучавшем в толпе, тоже не было ни веселья, ни задора. Еще два фургона одновременно съехали с дороги и остановились у загородки. Люди вылезли, привязали лошадей и подошли к толпе.- Сюда, ребята,- сказал техасец.- Вы поспели в самое время, чтобы задешево купить хорошую, смирную лошадь.

- Вроде той, что разодрала вам вчера жилет? - сказал чей-то голос.

На этот раз засмеялись трое или четверо. Техасец взглянул на них пустым, немигающим взглядом.

- Ну и что? - сказал он. Смех, если только это можно было назвать смехом, смолк. Техасец подошел к воротам и залез на столб, неторопливо перебирая сильными ногами в узких штанах и поблескивая перламутровой рукояткой револьвера. Усевшись на столб, он поглядел вниз, на лица у загородки, настороженные, серьезные, непроницаемые, избегающие его взгляда.

- Ну ладно,- сказал он.- Кто хочет начать торг? Выходите прямо сюда; выбирайте товар и назначайте цену, а когда последняя будет продана, смело идите в загон, обратаете отличную лошадь, такой в другом месте ни за какие деньги не купишь. Любой из них цепа не меньше пятнадцати долларов. Глядите, они все как на подбор - молодые, здоровые, годятся и под седло, и для пахоты, ручаюсь, любая из них стоит четырех ваших лошадей; такую огреешь

тележной осью, а ей хоть бы что...- Задние ряды вдруг всколыхнулись. Появился мальчик. Протискиваясь меж неподвижных комбинезонов, он пробрался к столбу и подал техасцу новую непочатую коробку. Техасец наклонился, взял коробку, распечатал ее и вытряхнул три или четыре печенья мальчику на ладонь, маленькую и черную, почти как у негритенка. Потом снова заговорил, держа коробку в руке и указывая ею на лошадей.- Поглядите вон на ту, у которой три ноги в белых чулках и подпалина на ухе; глядите хорошенько, сейчас она пробежит у самой загородки. Обратите внимание, как ходят у ней лопатки. За такую лошадь всякий охотно даст двадцать долларов. Кто сколько предложит за нее для почину? - Он говорил громко, убедительно, как заправский оратор. А внизу под ним, у загородки, стояли люди, у которых под нагрудниками комбинезонов были аккуратно приколоты кисеты и потертые кошельки, а в них лежало жалкое серебро и истрепанные бумажки - деньги, скопленные по монетке в печных трубах или в щелях бревенчатых стен. Лошади то и дело разбегались в разные стороны, бесцельно метались по загону, потом снова сбивались в кучу, глядя на лица у загородки дикими разноцветными глазами. Проулок был теперь запружен фургонами. Подъезжавшие вынуждены были останавливаться далеко в стороне и идти по дороге пешком. В дверях кухни появилась миссис Литтлджон. Она перешла двор, поглядывая на лошадей в загоне. В углу двора на четырех кирпичах стоял почерневший от копоти стиральный котел. Она развела под ним огонь, подошла к загородке и постояла там немного, подбоченившись, а голубой дым костра лениво плыл у нее за спиной. Потом она повернулась и пошла обратно к дому.- Ну так как же, ребята, - сказал техасец.- Кто сколько даст за нее?

- Пятьдесят центов, - сказал кто-то.

Техасец даже не взглянул на голос.

- Ну, а ежели она вам не подходит, как тогда насчет вон той лошади,смотрите: голова узкая, гривы почти не видать? Сказать по совести, под седло она скорей годится, чем та в белых чулках. Я слышал, как кто-то сейчас предложил пятьдесят центов. Наверное, он хотел сказать - "пять долларов". Ну как, даете пять долларов?

- Пятьдесят центов за всех гуртом,- сказал тот же голос. Но эти слова уже не вызвали в толпе смеха. Засмеялся сам техасец, резко, заученно, одними губами, словно твердил наизусть таблицу умножения.

- Пятьдесят центов за кучу ихнего навоза, вот что ты хочешь сказать, сказал он. - Может, кто накинет доллар за настоящие техасские колючки? Миссис Литтлджон вынесла из кухни половинку распиленного пополам бочонка, поставила ее на пень возле стирального бака и, подбоченившись, постояла немного, глядя на лошадей в загоне, но не подходя к загородке. Потом она ушла в дом.- Что же вы, ребята? - сказал техасец.- Послушай, Эк, ведь ты мне помогал, сам знаешь, какие это лошадки. Сколько ты дашь вон за ту с белой лысинкой, что приглянулась тебе вчера? Ну ладно. Погодите-ка. - Он сунул коробку в другой карман, перекинул ноги через загородку и мягко, как кошка, спрыгнул в загон. Лошади, глядя на него, жались друг к другу. Не подпуская его к себе, они отпрянули и медленно подались вдоль загородки. Он преградил им путь, они повернули и побежали назад через загон; тогда техасец, словно он только и дожидался, чтобы они повернулись к нему задом, тоже побежал, так что когда лошади остановились в конце загона и опять стали жаться друг к другу, он их почти настиг. Земля содрогнулась; пыль поднялась облаком, и из этого облака, одна за другой, словно вспугнутые перепелки, начали стремительно вылетать лошади, а он, все с той же несокрушимой верой в свою неуязвимость, бросился вперед. Одно мгновение зрители видели их сквозь пыль - лошадь пятилась в угол между загородкой и конюшней, человек наступал на нее, сунув руку в карман. Потом лошадь ринулась прямо на него в каком-то исступлении и безнадежном отчаянье, а он ударил ее промеж глаз рукояткой револьвера, свалил ее и обеими ногами прыгнул на нее. Лошадь вмиг оправилась от удара, отчаянным усилием встала на колени и приподняла голову вместе со стоявшим на ней человеком; сквозь пыль видно было, как он отделился от земли, сильно качнувшись в сторону, словно тряпка, привязанная к лошадиной голове. Но вот ноги техасца снова коснулись земли, ветер развеял пыль, и замершая толпа увидела, что острые каблуки техасца глубоко ушли в землю, одна рука крепко

сжимает лошадиную холку, другая - ноздри, длинная злобная морда вывернута назад, к ободранной спине и лошадь дышит трудно, с глухим стоном. Миссис Литтлджон уже снова была на дворе. На этот раз никто не видел, как она вышла. Держа в руках охапку белья и стиральную доску, она постояла неподвижно на кухонном крыльце, глядя на лошадей в загоне. Потом, все так же глядя на лошадей в загоне, пошла через двор, и, все еще глядя на лошадей в загоне, бросила белье в корыто. - Вы только взгляните, ребята, выдохнул техасец, обернув к загородке побагровевшее лицо и горящие, выпученные от натуги глаза. - Взгляните живей. Какие ноги, какие...- Видимо, хватка его ослабла. Лошадь снова яростно рванулась, и снова техасец на миг отделился от земли, не переставая говорить: - ...какие бабки, тпру, а не то я тебе башку оторву, глядите скорей, ребята, пятнадцать долларов - это же совсем задаром, ну, говорите, кто из вас дает эту цену, тпру, лупоглазый заяц, тпру-у! - Теперь они оба двигались - это был какой-то фантастический, яростный клубок, который безостановочно, со зловещей медлительностью катился по земле, и металлические застежки на подтяжках техасца в непрестанном вращении поблескивали на солнце. Потом широкополая, цвета глины шляпа словно нехотя отлетела в сторону; а через мгновение вслед за ней отлетел и сам техасец, но он не упал, удержался на ногах, а лошадь, вырвавшись на волю, умчалась бешеными скачками, как олень. Техасец поднял шляпу, отряхнул с нее пыль, ударив ею о колено, вернулся к воротам и снова залез на столб. Он тяжело дышал. Люди у загородки все так же глядели на него, а он вынул из кармана коробку, вытряхнул оттуда печенье, положил его в рот и, дыша хрипло, со свистом, стал жевать. Миссис Литтлджон отвернулась и принялась черпать ведром воду из бака, наполняя корыто, но после каждого ведра оборачивалась и глядела на загон. - Ну, ребята, - сказал техасец. - Скажите сами, разве эта лошадка не стоит пятнадцать долларов? Разве купишь на пятнадцать долларов столько динамита? Любая пробежит милю за три минуты; можете выгнать ее на пастбище, и она сама себя прокормит; можете работать на ней весь день до упаду, только почаще охаживайте ее оглоблей по башке, и двух дней не пройдет, как она станет совсем смирной, ее палкой придется выгонять из дома на ночь, как кошку. - Он вытряхнул из коробки еще одно печенье и съел его.Давай, Эк. Начинай торг! Ну как, даешь десять долларов за эту лошадь, Эк?

- На что мне лошадь, которую можно поймать только в медвежий капкан? сказал Эк.

- Да ты разве не видел, как я сейчас ее поймал?

- Видеть-то видел, - сказал Эк.- Да только не нужна мне такая зверюга, ежели я должен затевать целую войну всякий раз, как окажусь с ней по одну сторону загородки.

- Ну ладно,- сказал техасец. Он все еще не мог отдышаться, но усталость и напряжение с него как рукой сняло. Он вытряхнул на ладонь еще печенье и сунул его себе под усы. - Ладно. Я хочу, чтобы торг наконец начался. Я ведь приехал сюда к вам не на жительство, хоть вы, верно, не нахвалитесь своей округой. Я дарю тебе эту лошадь.

На миг все стихло, даже дыхание все затаили, слышно было только, как дышит техасец.

- Вы мне ее дарите? - спросил Эк.

- Да, если ты назначишь цену на следующую лошадь.

И снова вокруг ни звука, только слышно было, как дышит техасец, да миссис Литтлджон звякнула ведром о край котла.

- Я только назначу цену, - сказал Эк.- Но я не обязан покупать лошадь, ежели никто больше не даст.

Подъехал фургон. Он был некрашеный и ободранный. Одно колесо было укреплено планками, прикрученными крест-накрест к спицам тонкой проволокой, на паре тощих мулов была драная упряжь, связанная кусками хлопковой веревки; вожжами тоже служили две обыкновенные, сильно растрепанные веревки. В фургоне сидели женщина в сером, висевшем мешком платье и выцветшей шляпе и мужчина в линялом и заплатанном, но чистом комбинезоне. По улице проехать было нельзя, и мужчина, оставив фургон посреди дороги, слез и пошел к загону, невысокий, щуплым, и в глазах у него было какое-то затаенное беспокойство, смутное и вместе с тем напряженное. Он протолкался через толпу, спрашивая:

- Что такое? Что здесь происходит? Ему подарили лошадь?

- Идет, - сказал техасец.- Эта лошадь с белой лысинкой и ссадиной на шее твоя. Ну а теперь скажи, сколько ты дашь вон за ту белолобую, что словно вываляла голову в бочке с мукой. Сколько? Десять долларов?

- Ему подарили эту лошадь? - снова спросил подошедший.

- Доллар, - сказал Эк.

Техасец как говорил, так и остался с открытым ртом; лицо его с твердыми суровыми глазами вдруг как-то слиняло.

- Один доллар? - сказал он.- Всего один доллар? Я не ослышался?

- Ладно, черт с ней,- сказал Эк.- Два доллара. Но я не...

- Погоди, - сказал подошедший.- Эй, вы там, на столбе.

Техасец повернул к нему голову. Остальные обернулись и увидели, что женщина тоже вылезла из фургона, хотя до сих пор они и не подозревали, что она там, потому что не видели, как фургон подъехал. Она подошла к воротам и встала позади мужчины, изможденная, в платье, которое висело на ней мешком, в шляпке и грязных парусиновых тапочках. Она подошла к нему вплоть, но не дотронулась до него, а остановилась у него за спиной, спрятав руки под серым передником.

- Генри,- сказала она пустым голосом.

Мужчина оглянулся через плечо.

- Ступай в фургон,- сказал он.

- Послушайте, хозяйка, - сказал техасец.- Генри сейчас сделает самую выгодную покупку в своей жизни. Эй, ребята, дайте хозяйке подойти поближе, чтобы ей все было видно. Генри выберет верховую лошадь, о которой давно мечтает его супруга. Кто дает десять...

- Генри, - сказала женщина. Она не повысила голоса. И ни разу не взглянула на техасца. Она взяла мужа за рукав. Он обернулся и сбросил ее руку.

- Ступай в фургон, тебе говорят,- сказал он.

Женщина стояла позади него, все так же спрятав руки под передником. Она ни на кого не смотрела, ни к кому не обращалась.

- Мало нам забот, так он надумал купить эту лошадь,- сказала она.- У нас только и есть пять долларов, а потом хоть в богадельню. Мало нам забот...

Мужчина повернулся к ней с каким-то странным выражением подавленной, дремлющей ярости. Остальные стояли у загородки, мрачные, с рассеянным, почти отсутствующим видом. Миссис Литтлджон до сих пор терла белье о доску, размеренно сгибаясь и разгибаясь над полным пены корытом. Теперь она выпрямилась, уперла в бока белые от пены руки и поглядела на лошадей в загоне.

- Заткнись и ступай в фургон, - сказал мужчина. - А не то я прогоню тебя отсюда палкой. - Он повернулся и посмотрел на техасца.- Так вы подарили ему эту лошадь? - сказал он.

Техасец глядел на женщину. Потом он перевел взгляд на ее мужа; все еще не сводя с него глаз, он перевернул коробку. На ладонь ему выпало последнее печенье.

- Да,- сказал он.

- Ну а ежели кто его сейчас переторгует, ему тогда и первая лошадь достанется?

- Нет,- сказал техасец.

- Так,- сказал Генри.- Ну а тот, кто назначит цену на следующую лошадь, получит еще одну задаром?

- Нет,- сказал техасец.

- Но ежели вы отдали задаром лошадь только для того, чтоб начать торг, почему вы не обождали, покуда мы все соберемся?

Техасец отвернулся. Он поднес к лицу пустую коробку и осторожно заглянул в нее, словно там была какая-нибудь драгоценность или ядовитое насекомое. Потом он скомкал коробку и бросил ее у столба, на котором сидел.

- Эк дает два доллара,- сказал он. - Видно, он думает, что торгует у меня не лошадь, а кусок проволоки у нее на шее. Что ж, я возьму и два. Но неужто же вы, ребята...

- Выходит, Эк хочет заполучить две лошади по доллару за каждую, сказал Генри.- Три

доллара.

Женщина потянула его за рукав. Не оборачиваясь, он отшвырнул ее руку, и она снова застыла на месте, сложив руки под передником на впалом животе, ни на кого не глядя.

- Люди добрые,- сказала она.- Наши дети всю зиму ходили разутые. Нам скотину и кормить-то нечем. У нас есть пять долларов, чтобы заработать их, я ткала ночами у очага. Мало у нас забот...

- Генри дает три доллара,- сказал техасец.- Накинь еще доллар, Эк, и лошадь твоя.

Лошади почему-то вдруг сорвались с места и так же внезапно остановились, глядя на людей сквозь загородку.

- Генри,- сказала женщина. Ее муж не сводил глаз с Эка. Верхняя губа его дрогнула, обнажив желтые гнилые зубы. Руки, торчавшие из выцветших коротких рукавов старой рубашки, сжались в кулаки.

- Четыре доллара,- сказал Эк.

- Пять долларов! - сказал Генри, поднимая сжатую в кулак руку. Он протиснулся к самому столбу. Женщина не пошла за ним. Теперь она в первый раз взглянула на техасца. Глаза у нее были водянисто-серые, словно выцветшие, как платье и чепец.

- Мистер, - сказала она.- Если вы отнимете у нас эти пять долларов, которые я заработала для своих детей по ночам, будьте прокляты вы и все ваше семя во веки веков.

- Пять долларов! - крикнул Генри. Он рванулся к столбу и дотянулся стиснутым кулаком до коленей техасца. Разжав руку, он протянул комок истрепанных бумажек и серебряной мелочи.- Пять долларов! И кто набавит еще, пускай лучше разобьет мне голову, или я ему разобью.

- Идет, - сказал техасец.- Пять долларов. Продано. Только не тычьте в меня кулаком.

В пять часов дня техасец скомкал третью коробку и бросил ее на землю. Медно-красное солнце уже клонилось к закату, освещая косыми лучами белье, развешанное на заднем дворе у миссис Литтлджон, и тень столба, вместе с тенью самого техасца, сидевшего на нем, падала далеко в загон, через который то и дело, без цели и без устали, словно волны, проносились лошади, когда техасец распрямил одну ногу, сунул руку в карман, достал монету и, наклонившись, протянул ее мальчику. Голос у него был сиплый, усталый.

- Ну-ка, малыш,- сказал он.- Сбегай в лавку и купи мне коробку имбирного печенья.

Люди все стояли у загородки, - непоколебимая стена комбинезонов и выцветших рубах. Флем Сноупс теперь тоже был здесь, словно из-под земли вырос, он стоял у загородки, совсем близко, но, окруженный непроницаемой пустотой, по обе стороны от него оставалось место еще для троих или четверых, стоял и жевал табак, в тех же серых штанах и крошечном галстуке бабочкой, в которых уехал отсюда прошлым летом, в новой кепке, тоже серой, как и старая, но только в клетку, какие носят игроки в гольф, и глядел на лошадей. Все они, кроме двух, были распроданы по цене от трех с половиной до одиннадцати или двенадцати долларов. Покупщики как бы невольно образовали особую группу по другую сторону ворот, они стояли там, положив руки на верхнюю жердину загородки, и еще рассудительнее, еще пристальнее смотрели на своих лошадей,- кое-кто из них владел лошадью вот уже семь или восемь часов, но до сих пор не мог ее забрать. Генри стоял у самого столба, на котором сидел техасец. Жена его ушла и сидела в фургоне, вся неподвижная, серая, в серой одежде, глядя куда-то мимо всего, словно какая-то вещь, которую он бросил в фургон, чтобы увезти, дожидаясь, покуда он не покончит дело, чтобы ехать дальше, терпеливая, безжизненная, чуждая, словно время для нее не существовало.

- Я купил лошадь и выложил за нее деньги,- сказал Генри. Голос у него тоже был сиплый, усталый, безумный блеск в глазах потускнел, они словно ослепли. - И вы хотите, чтоб я стоял здесь и ждал конца торгов, чтобы взять свою лошадь? Нет уж, торчите здесь хоть до завтра, дело ваше. А я хочу забрать свою лошадь и ехать домой.

Техасец взглянул на него со столба. Его рубашка взмокла от пота. Широкое лицо было холодным и спокойным, голос звучал ровно.

- Что ж, берите!

Помедлив, Генри отвернулся. Он понурил голову и стоял, изредка глотая слюну.

- Так, значит, вы мне ее не поймаете?

- Она не моя,- сказал техасец все тем же ровным голосом. Немного погодя Генри поднял голову. На техасца он не смотрел.

- Кто поможет поймать мою лошадь? - спросил он.

Никто не отозвался. Они стояли у загородки, молча глядя на загон, где сбились в кучу лошади, уже не такие яркие там, где длинная, густеющая тень дома покрыла их. Из кухни донесся запах жареной ветчины. Шумная стайка воробьев пролетела над загоном и уселась на дерево у самого дома, а в нежной, прозрачной голубизне неба взмывали и падали ласточки, беспорядочно, с пронзительными криками, словно кто-то как попало дергал струны. Не оборачиваясь, Генри громко сказал:

- Эй, ты, принеси веревку.

Помедлив немного, его жена зашевелилась. Она слезла с фургона, достала моток новой хлопковой веревки и подошла к мужу. Тот взял веревку и пошел к воротам. Когда Генри взялся за засов, техасец начал медленно спускаться со столба.

- Ступай за мной,- сказал Генри жене.

Женщина стояла на том самом месте, где муж взял у нее веревку. Теперь она двинулась дальше, покорная, сложив руки на животе под передником, и прошла мимо техасца, не глядя на него.

- Не ходите туда, хозяйка, - сказал он.

Она остановилась, не глядя на него, не глядя никуда. Муж отворил ворота, вошел и повернулся, оставив ворота открытыми, но не поднимая глаз.

- Ступай за мной,- сказал он.

- Лучше не ходите туда, хозяйка,- снова сказал техасец. Женщина неподвижно стояла между ними, лица ее почти не было видно под шляпой, руки сложены на животе.

- Нет, я уж лучше пойду,- сказала она. Все остальные и вовсе не глядели ни на нее, ни на Генри. Они стояли у загородки молчаливые, притворно равнодушные, почти оцепеневшие. Потом жена вошла в загон; муж затворил за ней ворота, повернулся и пошел туда, где сбились в кучу лошади, а жена шла следом в своей серой мешковатой одежде, казалось, она даже не шевелит ногами, а словно стоит на движущейся платформе или на плоту. Лошади смотрели на них. Они жались друг к другу, вертелись и топтались на месте, готовые разбежаться, но не разбегались. Генри крикнул на них. Потом с руганью стал подходить ближе. Жена шла за ним по пятам. Табунок вдруг рассыпался, лошади помчались на своих длинных прямых ногах, огибая людей, но когда они, отбежав на другой конец загона, снова сбились в кучу, люди снова пошли на них.

- Вон она, - сказал муж.- Гони ее сюда, в угол. - Лошади бросились в разные стороны; та, которую купил Генри, поскакала, почти не сгибая ног. Женщина крикнула на нее; она повернулась, бросилась прямо на Генри, который огрел ее по морде свернутой веревкой, и тогда она шарахнулась и уперлась в угол загородки.- Держи ее там, - сказал муж. Он на ходу разматывал веревку. Лошадь следила за ним дикими, горящими глазами; потом снова сорвалась с места и ринулась на женщину. Та крикнула и замахала на нее руками, но лошадь одним прыжком перемахнула через нее и врезалась в табун. Они побежали следом и загнали ее в другой угол, но женщина снова не сумела преградить путь лошади, и муж, повернувшись, хлестнул ее свернутой веревкой.- Почему ты ее не остановила? - сказал он.- Почему не остановила? - Он снова хлестнул ее; она не шевельнулась, даже не подняла руку, чтобы защититься от удара. Люди у загородки стояли молча, потупившись, пристально глядя себе под ноги. Только Флем Сноупс продолжал смотреть на загон, - если только он вообще смотрел туда,- стоя особняком, словно на необитаемом островке, в своей новой клетчатой кепке, и жевал на свой особый манер, двигая челюстью из стороны в сторону.

Техасец сказал что-то, негромко, хрипло и отрывисто. Он отворил ворота, подошел к мужчине и вырвал у него из поднятой руки веревку. Тот круто повернулся, словно хотел броситься на него, слегка присел, согнув колени и растопырив руки, но так и не поднял взгляда

выше запыленных ботфортов техасца. Тогда техасец взял его за руку и повел к воротам, а женщина пошла следом, и, когда они вышли, он подождал, пока выйдет и она, а потом закрыл ворота. Вынув из кармана пачку денег, он выбрал одну бумажку и сунул женщине в руку.

- Посадите-ка его в фургон да отвезите домой, - сказал он.

- Это зачем же? - сказал Флем Сноупс. Он тем временем подошел к воротам. Теперь он стоял у столба, на котором раньше сидел техасец. Техасец не глядел на него. - Он думает, что купил лошадь,- сказал техасец. Он говорил глухо, едва слышно, будто после быстрого бега.- Уведите его, хозяйка.

- Отдай назад деньги, - сказал муж каким-то неживым, обессиленным голосом. - Я купил эту лошадь и заберу ее, даже если мне придется ее пристрелить, прежде чем обратать.

Техасец даже не взглянул на него.

- Уведите его отсюда,- сказал он.

- Забирайте свои деньги, а я возьму свою лошадь, - сказал Генри. Он дрожал медленной, неуемной дрожью, словно от холода. Кулаки, торчавшие из обтрепанных рукавов рубашки, судорожно сжимались и разжимались. - Отдай ему деньги,- сказал он жене.

- Вы не покупали у меня никакой лошади, - сказал техасец.- Везите его домой, хозяйка.

Генри поднял измученное лицо с безумными, потускневшими глазами. Он протянул руку. Женщина крепко прижимала бумажку обеими руками к животу. Дрожащей рукой муж долго нашаривал бумажку. Наконец он вырвал ее.

- Эта лошадь моя,- сказал он.- Я купил ее. Вот свидетели. Я заплатил за нее. Лошадь моя. Вот.- Он повернулся и протянул деньги Сноупсу. - Вы имеете до этих лошадей какое-то касательство. Я купил лошадь.

Вот деньги. Я купил ее. Спросите вон у него.

Сноупс взял деньги. Люди стояли у загородки, хмурые, безразличные, делая вид, будто ничего не замечают. Солнце село; теперь только сиреневые тени ползли по фигурам людей и по загону, где снова неизвестно почему всполошились и забегали лошади. Прибежал мальчик, все такой же резвый и неутомимый, с новой коробкой печенья. Техасец взял ее, но распечатал не сразу. Он бросил веревку на землю, Генри нагнулся и долго шарил, прежде чем поднять ее. Теперь он стоял понурившись и так стиснул веревку, что пальцы побелели. Женщина не шевелилась. Сумерки быстро густели, высоко в голубое, меркнущее небо в последний раз взмыли ласточки. Техасец оторвал донышко у коробки и вытряхнул себе на ладонь одно печенье; казалось, он внимательно разглядывал свою руку, которая медленно сжималась в кулак, пока сквозь пальцы не посыпалась мелкая, табачного цвета крошка. Он тщательно вытер руку о штаны, поднял голову, нашел глазами мальчика и отдал ему коробку.

- Бери, малыш, - сказал он. Потом поглядел на женщину и сказал все так же глухо, едва слышно: - Завтра мистер Сноупс отдаст вам ваши деньги. А сейчас посадите-ка его в фургон и везите домой. Никакой лошади я ему не продавал. Деньги получите завтра у мистера Сноупса.

Женщина повернулась, пошла к фургону и залезла в него. Никто не взглянул ей вслед, даже муж, который все стоял, понурив голову и бесцельно перекладывая веревку из руки в руку. Все стояли, прислонясь к загородке, серьезные и молчаливые, словно у границы чужой земли, чужом эпохи.

- Сколько их у вас еще? - спросил Сноупс. Техасец оживился; оживились и остальные, подошли поближе, прислушиваясь,

- Теперь три,- сказал техасец.- Я бы всех трех обменял на коляску, либо...

- Она уже на дороге, - сказал Сноупс, пожалуй, слишком отрывисто, слишком поспешно, и отвернулся. - Ведите своих мулов.

И он ушел. Все смотрели, как техасец отворил ворота и перешел загон, а лошади шарахнулись от него, но уже без прежней слепой ярости, словно и они тоже были измотаны, обессилены после долгого дня, и вошел в конюшню, а потом вышел оттуда, ведя двух взнузданных мулов. Фургон стоял под навесом рядом с конюшней. Техасец скрылся в фургоне и через секунду вылез оттуда, держа скатанную постель и пальто, и повел мулов к воротам, а

лошади снова сбились в кучу и глядели на него своими разноцветными глазами, теперь уже совсем спокойно, словно и они поняли, что между ними не только заключено наконец перемирие, но что они больше никогда в жизни не увидят друг друга. Кто-то отворил ворота. Техасец вывел мулов, и все потянулись за ним, оставив Генри одного у закрытых ворот, а он все стоял, понурив голову, с веревкой в руке. Они прошли мимо фургона, в котором сидела его жена, серая и неподвижная, растворяясь в сумерках, сливаясь с ними и ни на что не глядя; мимо веревки, на которой сушилось мокрое, обвислое белье, сквозь острый горячий запах ветчины, шедший из кухни миссис Литтлджон. Когда они дошли до конца проулка, показалась луна, почти полная, огромная, бледная, она совсем не светила с неба, на котором еще не померкли последние отблески дня. Сноупс стоял возле пустой пролетки. Это была та самая коляска с блестящими колесами и бахромчатым верхом, в которой обычно ездили он сам и Билл Уорнер. Техасец тоже остановился, глядя на нее.

- Так, так,- сказал он.- Значит, вот она какая.

- Если не нравится, поезжайте обратно в Техас верхом на муле, - сказал Сноупс.

- Ладно,- сказал техасец.- Только уж тогда мне нужна пуховка или, на худой конец, мандолина.

Он осадил мулов, ввел их в оглобли и взял хомут. Два человека подошли и застегнули постромки. Все смотрели, как он садится в коляску и берет вожжи.

- Куда вы теперь? - сказал один.- Домой, в Техас?

- На этой колымаге? - сказал техасец.- Да в первом же техасском кабаке, только завидят ее, сразу созовут комитет бдительности. К тому же я не хочу, чтобы этакая красота пропадала за зря и Техасе - этот кружевной верх и шикарные колеса. Раз уж я заехал так далеко, то заверну на денек-другой поглядеть северные города: Вашингтон, Нью-Йорк, Балтимору. Где тут у вас самая ближняя дорога на Нью-Йорк?

Этого никто не знал. Но ему объяснили, как доехать до Джефферсона.

- Так и езжайте, все прямо,- сказал Фримен. - Держите по дороге, мимо школы.

- Ладно, - сказал техасец. - Смотрите же, не забудьте, этих лошадок надо почаще охаживать по башке, покуда они к вам не привыкнут. Тогда у вас не будет с ними никаких хлопот.

Он снова натянул вожжи. Сноупс подошел и сел в пролетку.

- Подвезите меня до дома Уорнера,- сказал он.

- А я и не знал, что поеду мимо его дома,- сказал техасец.

- Так тоже можно проехать в город, - сказал Сноупс. - Трогайте.

Техасец дернул вожжи. Но вдруг он остановил мулов.

- Тпру.- Он распрямил ногу и сунул руку в карман. - Ну-ка, малыш, сказал он мальчику.- Беги в лавку и купи... или, ладно, не надо. Я остановлюсь и куплю сам, мне все равно по пути. Ну, всего друзья, - сказал он. - Не скучайте.

Он развернул мулов. Коляска покатила. Все глядели ей вслед.

- Похоже, что он решил подъехать к Джефферсону совсем не с того бока,сказал Квик.

- Он доберется дотуда налегке, - сказал Фримен. - Так что ему не трудно будет подъехать с какого хочешь бока.

- Да,- сказал Букрайт. - В карманах у него не больно-то будет звенеть.

Они пошли обратно к загону меж двумя рядами терпеливых, неподвижных фургонов, по узкому проходу, в самом конце почти загороженному фургоном, где сидела женщина. Муж ее все еще стоял у ворот с мотком веревки, а тем временем спустилась ночь. Светло было почти по-прежнему; пожалуй, свет стал даже ярче, но приобрел неземную, потустороннюю, лунную яркость, и теперь, когда они снова стояли у загородки, пятнистые шкуры лошадей были ясно видны и даже как бы светились, но они сделались плоскими и похожими одна на другую,- это были уже не лошади, не существа из костей и мяса, и трудно было

- Ну, чего ж мы ждем? - сказал Фримен. - Покуда они спать лягут?

- Я думаю, надо каждому взять по веревке, - сказал Квик. - Эй вы, берите веревки.

Но веревка оказалась не у всех. Некоторые, выйди утром из дому, даже не слышали о

конских торгах. Они просто случайно заехали на Французову Балку, узнали об этом и остались.

- Сходите в лавку и купите,- сказал Фримен.

- Лавка уже закрыта,- сказал Квик.

- Нет, не закрыта, - сказал Фримен. - Иначе Лэмп Сноупс был бы здесь.

Пока те, кто привез с собой веревки, доставали их из фургонов, остальные пошли к лавке. Приказчик как раз запирал ее.

- Значит, вы еще не начали их ловить? - сказал он.- Вот здорово. А то я боялся, что не поспею вовремя.

Он снова отпер дверь, из которой пахнуло застарелыми, острыми запахами сыра, кожи и патоки, отмерил куски веревки, и они всем гурьбой, окружив приказчика, пошли назад, говоря без умолку, хотя он их и не слушал. Груша у дома миссис Литтлджон была словно отлита из лунного серебра, пересмешник, тот же самый или другой, уже пел на ней, а к загородке были привязаны лошади с фургончиком Рэтлифа.

- То-то мне весь день чего-то не хватало, - сказал один. - А это Рэтлифа не было, не слыхать было его советов.

Когда они проходили мимо загородки, миссис Литтлджон на заднем дворе снимала белье с верейки; запах ветчины еще стоял в воздухе. Остальные ждали у ворот, за которыми лошади снова сбились в кучу, похожие на призрачных рыб, плавающих в ярком неверном свете луны.

- Пожалуй, верней всего ловить их по одной,- сказал Фримен.

- По одной, - сказал и Генри. Он, видимо, не сходил с места с тех самых пор, как техасец вывел своих мулов из загона, только положил руки на створку ворот, одной рукой все еще сжимая моток веревки. - По одной, - сказал он. И стал ругаться хрипло, монотонно, устало. - После того как я простоял здесь целый день, дожидаясь, покуда этот... - Он скверно выругался. Потом начал трясти ворота с усталой яростью, пока кто-то не отодвинул засов, и тогда ворота распахнулись, и Генри вошел в загон, а за ним все остальные. Мальчик не отставал от отца, но Эк заметил его и обернулся.

- Ну-ка, - сказал он.- Дай сюда веревку. А сам ступай за ворота.

- Ну-у, па! - сказал мальчик.

- Нет, брат. Они тебя затопчут. И так уж чуть не затоптали нынче утром. Стой у ворот.

- Но ведь нам надо двух поймать.

Эк постоял немного, глядя на мальчика.

- Верно,- сказал он.- Нам надо двух. Ладно, идем, только не отставай от меня. И когда я крикну "беги", ты беги. Слышишь?

- Встаньте цепью, ребята,- сказал Фримен.- Не давайте им прорваться.

Они двинулись через загон широкой подковой, каждый с веревкой в руке. Лошади были теперь в дальнем конце загона. Одна тревожно всхрапнула: весь

- Уберите отсюда мальчишку,- сказал он.

- И впрямь, иди-ка ты отсюда, - сказал Эк сыну. - Полезай вон в тот фургон. Оттуда тебе все будет видно.

Мальчик повернулся и побежал к навесу, под которым стоял фургон. Цепочка людей медленно продвигалась по загону, и Генри шел впереди всех.

- А теперь не зевать,- сказал Фримен. - По-моему, лучше нам сперва загнать их в конюшню...

Лошади вдруг сорвались с места. Они пустились бежать в обе стороны вдоль загородки. Люди по концам подковы тоже побежали, крича и размахивая руками.

Они заставили лошадей повернуть назад и снова погнали их впереди себя; лошади сгрудились и метались отчаянно, создавая призрачную и суетливую неразбериху.

- Держите их,- сказал Фримен. - Не давайте им удрать.

Люди снова двинулись вперед. Эк обернулся; он сам не знал, что его заставило это сделать - какой-то звук или что-нибудь еще. Мальчик опять шел за ним по пятам.

- Тебе что сказано? Ступай в фургон и сиди там, - сказал Эк.

- Гляди, па! - сказал мальчик.- Вон она, наша! Вона! - Это была лошадь, которую техасец подарил Эку. - Поймай ее, па!

- Не путайся под ногами,- сказал Эк.- Ступай в фургон.

Цепь не останавливалась. Лошади кружились на месте и все теснее жались в кучу, шаг за шагом оттесняемые к открытым воротам конюшни. Генри по-прежнему шел впереди, чуть пригнувшись, и его тощая фигура даже в неверном свете луны излучала все ту же обессилевшую ярость. Пятнистая куча лошадей откатывалась перед наступавшими людьми, как снежный ком, толкаемый невидимой рукой, все ближе и ближе к черному зеву конюшни. Как потом стало ясно, лошади, не сводившие глаз с людей, только тогда поняли, что их гонят к конюшне, когда, пятясь, вступили в ее тень. Вопль неописуемой ярости вырвался из их гущи, и они ринулись вперед, отчаянные и сеющие отчаяние; один лишь миг, застыв в безмолвном ужасе, люди смотрели на них, а потом повернулись и побежали, а цветная волна длинных свирепых морд и пятнистых грудей настигла и разметала их, совершенно поглотив Генри и мальчика, которые застыли на месте, только Генри поднял обе руки, все еще сжимая веревку, а потом схлынула, и лошади пронеслись через загон прямо к воротам, которые тот, кто вошел последним, позабыл запереть и оставил приотворенными, вломились в них, сорвав створы с петель, и понеслись среди запрудивших улицу фургонов и запряженных лошадей, которые тоже заволновались, вставая на дыбы и грызя постромки и дышла. Эта бешеная лавина промчалась по улице, забурлила, обтекая тот фургон, где сидела женщина, и понеслась дальше, на дорогу, где разделившись надвое, стремительно ринулась в разные стороны. Все, кроме Генри, вскочили на ноги и побежали к воротам. Мальчик снова остался невредим, его даже не сбили с ног; отец схватил его, приподнял над землей и стал трясти, как тряпичную куклу.

- Сказано тебе было, сиди в фургоне! - кричал Эк. - Сказано тебе!

- Гляди, па! - выкрикивал мальчик между встрясками.- Вон наша лошадка! Вона!

Это снова была та лошадь, которую техасец подарил Эку. О второй они и не вспоминали, ее словно и не было вовсе; как будто кровь, которая текла в жилах у обоих, властно и мгновенно заставила их забыть о той лошади, за которую они уплатили деньги. Они бросились к воротам и побежали вслед за другими. Они видели, как лошадь, подаренная техасцем, вдруг повернула назад, вбежала через ворота во двор миссис Литтлджон, одним махом вскочила на крыльцо, вломилась на деревянную веранду и исчезла внутри дома. Эк и мальчик вбежали на веранду. На столе, прямо за дверью, стояла лампа. В ее мягком свете они видели, как лошадь, словно шутиха, заполнила собой весь длинный коридор, разноцветная, неистовая, грозная. В дальнем углу прихожей стояла желтая лакированная фисгармония. Лошадь налетела на нее, фисгармония издала один звук, почти аккорд, низкий, звучный и торжествующий, полный глубокого и сдержанного удивления; лошадь снова круто повернула, и вместе со своей огромной, причудливой тенью исчезла в другой двери. Это была спальня; там, спиной к двери, стоял Рэтлиф в нижнем белье и в одном носке, держа другой в руках и высунувшись в открытое окно, выходившее к загону. Он обернулся через плечо. Одно мгновение он и лошадь таращили друг на друга глаза. Потом Рэтлиф выпрыгнул в окно, а лошадь попятилась из комнаты назад в коридор, повернулась и увидела Эка с мальчиком - они как раз вбежали с веранды, и в руках у Эка была веревка. Она снова повернулась, и, пробежав по коридору, выскочила на заднее крыльцо, куда в этот миг поднималась миссис Литтлджон, неся охапку белья, снятого с веревки, и стиральную доску.

- Пошла вон, сукина дочь,- сказала она и ударила доской по длинной ошалевшей морде; доска развалилась на две аккуратные половинки, а лошадь ринулась назад по коридору, где теперь стояли Эк и мальчик. Прячься, Уолл! заревел Эк.

Он бросился на пол ничком, прикрывая голову руками. Мальчик остался на месте, и в третий раз лошадь пронеслась над ним, а он даже не пригнулся, даже не сморгнул, и снова выскочила на веранду, и в тот же миг там появился Рэтлиф, все еще с носком в руке, он обежал вокруг дома и поднялся на крыльцо. Лошадь повернула на всем скаку и, пробежав веранду, перемахнула через перила и вырвалась на свободу, мелькнув в свете луны, словно какая-то

страшная нежить. Она спрыгнула в загон и, не останавливаясь, поскакала дальше через сорванные с петель ворота, меж опрокинутых фургонов, среди которых один стоял невредимый, и в нем по-прежнему сидела жена Генри, а оттуда на дорогу.

В четверти мили от перекрестка дорога пошла под уклон, белея в свете луны меж лунными тенями придорожных деревьев, а лошадь все скакала, стараясь настичь и втоптать в пыль свою тень, вниз, к мосту через ручей. Мост был деревянный и узенький - едва в пору проехать одной повозке. Когда лошадь добежала до ручья, по мосту, ей навстречу ехал фургон, запряженный парой мулов, которые дремали на ходу, убаюканные неторопливым движением. На козлах сидел Талл с женой, а на плетеных стульях - их четыре дочери: они возвращались от кого-то из родственников миссис Талл, где провели весь день и загостились допоздна. Лошадь не остановилась, не свернула в сторону. Она вломилась прямо на мост и втиснулась между мулами, которые мигом проснулись и рванули в разные стороны, а лошадь, как очумевшая белка, уже лезла прямо по дышлу и скребла передними копытами передок фургона, словно хотела забраться в него, а Талл орал и лупил се по морде кнутом. Мулы старались развернуть фургон посреди моста. Фургон подался вбок, круто накренился, перила обломились с громким треском, заглушившим вопли женщин; лошадь наконец подмяла под себя одного из мулов, а Талл, встав в фургоне, саданул ее в морду каблуком. Тут передок фургона взлетел вверх, и Талл, который крепко, несколько раз накрутил вожжи на руку, грохнулся на дно фургона среди перевернутых стульев и задранных юбок женщин. Лошадь вырвалась на волю и поскакала дальше, круша деревянный настил. Фургон снова накренился; мулы все-таки развернули его на мосту, хотя развернуть его было негде, и теперь били копытами, обрывая постромки. Освободившись, они выволокли Талла из фургона. Он ударился лицом о доски, и мулы протащили его несколько футов, покуда не лопнули накрученные на руку вожжи. А лошадь тем временем исчезла из виду, оставив далеко позади обезумевших мулов. Пять женщин еще причитали над бесчувственным телом Талла, когда подоспели Эк, все не выпускавший из рук веревку, и мальчик. Эк тяжело дышал.

- Куда она побежала? - спросил он.

А в опустевшем, залитом лунным светом загоне жена Генри, миссис Литтлджон, Рэтлиф, приказчик Лэмп Сноупс и еще три человека подняли Генри с изрытой копытами земли и перенесли на задний двор. Лицо у него побелело и застыло, глаза были закрыты, голова тяжело свесилась вниз, кадык торчал, оскаленные зубы тускло поблескивали. Они понесли его к дому мимо высоких деревьев, тень которых полосами ложилась на землю. Сквозь дремотную, серебристую тишину ночи донесся слабый шум, словно раскат дальнего грома, и затих.

- Это которая-нибудь из них на мосту,- сказал один из мужчин.

- Это лошадь Эка Сноупса, - сказал другой.- Та, что забежала в дом.

Миссис Литтлджон первой вошла в прихожую. Когда внесли Генри, она уже взяла со стола лампу и, высоко подняв ее, стояла у открытой двери.

- Несите его сюда,- сказала она. Она прошла вперед и поставила лампу на тумбочку. Они последовали за ней, пыхтя и тесня друг друга, и положили Генри на кровать, а миссис Литтлджон подошла и взглянула на умиротворенное бескровное лицо Генри.- Ну и дела, - сказала она.- Эх вы, мужчины.- Они чуть попятились, теснясь, переминаясь с ноги на ногу, не глядя ни на нее, ни на жену Генри, которая стояла в ногах кровати, неподвижная, сложив руки под передником.- Пусть все выйдут отсюда, В. К., - сказала миссис Литтлджон Рэтлифу. - Ступайте на двор. Поглядите, не найдется ли там другой игрушки, такой, чтоб укокошила еще кого-нибудь из вас.

- Ладно, - сказал Рэтлиф. - Идем, ребята. Здесь в доме уже ловить некого.

Все пошли за ним к двери на цыпочках, наступая друг другу на ноги, и их огромные тени ползли по стене.

- Ступайте позовите Билла Уорнера, - сказала миссис Литтлджон.Скажите, мул занемог.

Они вышли, не оглядываясь. На цыпочках прошли коридор, веранду и окунулись в море лунного света. Только теперь они заметили, что серебристый воздух словно бы пронизан слабыми, неизвестно откуда исходящими звуками тонкие и далекие крики, потом снова стук

копыт на деревянном мосту, похожий на дальний гром, и снова крики, слабые, тонкие, взволнованные и звонкие, как колокольчики. Один раз можно было даже расслышать слова: "Тпру. Держи ее".

- Быстро она через этот дом пробежала, - сказал Рэтлиф. - Теперь, наверное, зашла в гости к другой хозяйке. - Позади них, в доме, громко закричал Генри. Они оглянулись назад, в темноту прихожей, куда из двери спальной падал прямоугольник света, и услышали, как крик перешел в хриплый, одышливый стон: "А-а, а-а, а-а",- на все более высокой ноте, а потом стон снова перешел в крик. - Идем,- сказал Рэтлиф. - Надо позвать Уорнера.- И они гурьбой пошли по дороге, выбеленной лунным светом, сквозь трепетную апрельскую ночь, пронизанную журчанием бродящих соков, влажным шорохом лопающихся почек, несмолкающими, тонкими, тревожными криками и короткими, замирающими раскатами копыт. В доме Уорнера было темно, в свете луны он казался тусклым и плоским. Они стояли темной кучей посреди поблескивавшего серебром двора и кричали под темными окнами до тех пор, пока в одном не показалась чья-то фигура. Это была жена Флема Сноупса. Она была вся и белом, и на этом фоне ее тяжелая коса казалась почти черной. Она не высунулась наружу, а просто стояла у окна, вся в лунном свете, как видно ослепленная им, во всяком случае, вниз она не глядела - тяжелые, золотые волосы, на лице - не трагическое и даже, пожалуй, не обреченное выражение, а просто печать проклятия; плавные округлости крепких грудей выступали под мраморно-белыми складками одежды; какой Брунгильдой, какой Лорелеей на фальшивой скале из папье-маше, какой Еленой, вернувшейся в призрачный, обманный Аргос, никого не ждущей, казалась она стоявшим внизу. - Добрый вечер, миссис Сноупс, сказал Рэтлиф. - Мы пришли за дядюшкой Биллом. Генри Армстид ранен, он у миссис Литтлджон. Она исчезла. Мужчины ждали в лунном сиянии, прислушиваясь к слабым, далеким крикам и возгласам, пока не вышел Уорнер, который появился быстрее, чем они ожидали, накинув пальто поверх ночной рубашки и на ходу застегивая штаны, а подтяжки двумя петлями болтались под полами пальто. Он нес потертым чемодан с похожими на паяльники инструментами, которыми он вливал лекарства, резал, пускал кровь и вскрывал нарывы или рвал зубы лошадям и мулам; он сошел с крыльца, худой и нескладный, и его хитрое, жестокое лицо чуть насторожилось, когда и он прислушался к слабым, звонким крикам, которыми был пронизан серебристый воздух.

- Что они, все травят этих своих кроликов? - сказал он.

- Да, кроме Генри Армстида, - сказал Рэтлиф. - Этот уже свое получил.

- Ха,- сказал Уорнер.- Это вы, В. К.? Вы-то сами много ли накупили?

- Я опоздал, - сказал Рэтлиф. - Никак не мог поспеть вовремя...

- Ха,- сказал Уорнер. Они вышли за ворота и зашагали по дороге.- Что ж, ночь сегодня ясная и прохладная, для охоты в самый раз. - Луна теперь светила прямо над головой, - жемчужно-дымчатая, она сияла над бледными звездами и меж бледных звезд, в мягком небе, которое медленно, виток за витком, свертывалось по краям. Они шли тесной гурьбой, топча свои тени на мягкой дорожной пыли и тени распускавшихся деревьев, кроны которых летели к бледному небу, вонзаясь в него красивыми острыми верхушками. Они миновали темную лавку. Потом впереди показалась груша. Она высилась в туманной серебристой неподвижности, словно застывший снежный каскад; пересмешник все пел на ее ветке. - Поглядите на эту грушу,- сказал Уорнер. - Видать, богато уродит в нынешнем году.

- Да и кукуруза тоже, - сказал один.

- Такая луна хороша для всякого плода, - сказал Уорнер.- Помню, как мы с миссис Уорнер ждали рождения Юлы. У нас уже была тогда целая куча детишек, и, может, лучше бы на этом и успокоиться. Но я хотел еще дочерей. Старшие повыскочили замуж и разъехались, а мальчишки, те едва подрастут и становятся хоть на что-нибудь годны, глядишь, работать и не думают, некогда им. Знай сидят возле лавки да языки чешут. А девчонка останется и будет работать, покуда замуж не выйдет. Одна старуха сказала раз моей матушке, что ежели женщина, как затяжелеет, покажет живот полной луне, то будет девочка. Ну, миссис Уорнер и лежала каждую ночь под луной с голым животом, покуда не понесла, да и потом тоже. А я приложу ухо и слышу, как Юла там брыкается и ворочается, как дьяволенок, луну, значит,

чувствует.

- Вы думаете, это и взаправду луна помогла, дядюшка Билл? - спросил кто-то.

- Ха,- сказал Уорнер.- Можете попытать сами. Мало, что ли, баб, которые подставляют голый живот луне, или солнцу, или даже просто вашим рукам, чтобы вы их лапали, и очень даже может статься, что малость погодя там появится кое-что, и можно будет приложить ухо и послушать, ежели только вы сами к тому времени, не зададите дёру. Как по-вашему, В. К.?

Кто-то засмеялся.

- Меня не спрашивайте,- сказал Рэтлиф.- Я всюду опаздываю, даже лошадь по дешевке купить и то не успел.

На этот раз засмеялись двое или трое. Но, услышав хриплые стоны Генри: "А-а! А-а! А-а!"- они резко оборвали смех, словно не ожидали этого. Уорнер шел впереди, худой, волоча ноги, но быстрым шагом, хотя все еще прислушивался, склонив голову, к слабым, тревожным, неумолчным крикам, которые неслись сквозь серебристое сияние неведомо откуда, по временам почти мелодичные, словно замирающий звон колокольцев; снова послышался короткий, частый грохот копыт но деревянным доскам.

- Еще одна лошадь на мосту,- сказал кто-то.

- Ну что ж, хозяева, видно, хоть так расходы окупят,- сказал Уорнер.Хоть порезвятся за свои деньги, и то развлечение. Взять, к примеру, человека, у которого целый год нет других развлечений, кроме как разбрасывать навоз по полю. Ежели он еще не так стар, чтобы спокойно спать на своей кровати, но не так молод, чтобы, как блудливый кот, лазить в чужие окна, в такую ночь развлечение вроде этого ему в самую пору. По крайности, завтра ночью будет спать как убитый, ежели только к тому времени попадет домой. Кабы знать заранее, можно было бы натаскать на лошадей свору собак. Устроили бы тогда настоящую охоту.

- Конечно, все зависит от того, как на это взглянуть, - сказал Рэтлиф. - Право же, Букрайту, и Квику, и Фримену, и Эку Сноупсу, и всем другим новоиспеченным лошадникам было бы все равно как маслом по сердцу, ежели б их выучить так смотреть на дело, потому что скорей всего ни одному из них это просто не приходит в голову. Сдается мне, никто из них уже не надеется излечиться от техасской болезни, которую занесли сюда этот Дик Вырви Глаз и Флем Сноупс.

- Ха, - сказал Уорнер. Он отворил ворота и вошел во двор миссис Литтлджон. Тусклый свет все еще падал в прихожую из дверей спальной; там, не умолкая, стонал Армстид: "А-а! А-а! А-а!" - У всякой лекарки свои припарки, только от смерти излечить нельзя.

- Даже если лечить загодя, - сказал Рэтлиф.

- Ха,- снова сказал Уорнер. Остановившись, он быстро оглянулся на Рэтлифа. Но его блестящие колючие глазки не были видны; виднелись только косматые, низко нависшие брови, которые застыли резким изломом, насупленные сосредоточенно, но не хмуро, а с какой-то едкой насмешкой. - Даже если лечить загодя. А уж если дышать больше невмоготу, значит, твоему векселю срок вышел.

А на второй день, в девять часов утра, на галерее лавки сидели на

- Может, в ту ночь, как говорит Эк, в доме миссис Литтлджон и вправду была всего одна лошадь. Но тогда это был самый большой табун из одной лошади, какой мне доводилось видеть. Она была у меня в комнате, и на крыльце веранды, и в то же самое время я слышал, как миссис Литтлджон огрела ее по башке стиральной доской на заднем дворе. И все же она удрала от всех и отовсюду.

Я так думаю, что техасец это самое и имел в виду, когда говорил, что нам от них прямая выгода: надо быть черт знает каким невезучим, чтобы суметь подойти к которой-нибудь из них близко и получить удар копытом.

Засмеялись все, кроме Эка. Он и его сын ели. Поднявшись на галерею, Эк сразу зашел в лавку, вынес оттуда бумажный пакет, достал из него кусок сыра, аккуратно разрезал сыр перочинным ножом на две равные части, дал одну мальчику, потом вынул из пакета пригоршню галет и тоже дал мальчику, и теперь они сидели рядом на корточках у стены, похожие друг на друга как две капли воды, только один побольше, а другой поменьше, и ели.

- Интересно, что эта лошадь подумала о Рэтлифе? - сказал один. Во рту он держал персиковую веточку. На ней было четыре цветка, точь-в-точь крошечные балетные юбочки из пунцового тюля.- Выпрыгнул в окно в одной рубашке и снова вбежал через дверь. Интересно, сколько Рэтлифов она видела?

- Не знаю,- сказал Рэтлиф.- Но если она видела хоть вполовину столько Рэтлифов, сколько я лошадей, она была в осаде, ей же богу. Куда ни гляну, отовсюду эта тварь кидается на меня или крутится волчком, чтобы после еще разок перемахнуть через мальчишку. А мальчишка каков, один раз он простоял прямо под ней ровно полторы минуты по часам, даже не пригнув головы, и глазом не сморгнул. Да, братцы, когда я обернулся и увидел в дверях этого зверя с горящими глазами, я готов был бы поклясться, что Флем Сноупс привоз из Техаса тигра, если б не знал, что один тигр никак не может занять всю комнату.- Они снова тихо засмеялись. Лэмп Сноупс, приказчик, сидя на единственном стуле в дверях лавки и загораживая вход, вдруг фыркнул.

- Знай Флем, как быстро вы, ребята, расхватаете его лошадей, он и впрямь привез бы парочку тигров, - сказал он.- Да и обезьян тоже бы прихватил.

- Так, значит, это Флемовы лошади,- сказал Рэтлиф.

Смех смолк. Остальные трое от нечего делать строгали складными ножами палочки и щепки. Теперь все их внимание, казалось, было поглощено ловким и почти механическим движением ножей. Приказчик быстро поднял голову и поймал пристальный взгляд Рэтлифа. Всегдашняя недоверчивая ухмылка теперь исчезла с его лица; остались только неподвижные морщины вокруг рта и глаз.

- Да разве Флем говорил, что лошади его? - сказал он.- Только вы, городские, умнее нас, деревенских. Похоже, что вы наперед знаете мысли Флема.

Но Рэтлиф уже не смотрел на него.

- И все-таки мы их всех раскупили, - сказал он. Теперь он снова смотрел на сидевших сверху, умный, спокойный, пожалуй, чуть хмурый, но по-прежнему совершенно непроницаемый.- Вот Эк, к примеру. Ему надо кормить жену и детей. Он купил двух лошадок, хотя, как вы знаете, уплатил только за одну. Говорят, люди ловили этих зверюг вчера до полуночи, а Эк с сыном и вовсе два дня не были дома.

Все, кроме Эка, снова засмеялись. Эк отрезал кусок сыру, поддел его кончиком ножа и отправил в рот.

- Эк одну поймал,- сказал еще кто-то.

- В самом деле? - сказал Рэтлиф.- Которую же, Эк? Дареную или купленную?

- Дареную,- сказал Эк, прожевывая сыр.

- Так, так, - сказал Рэтлиф. - А я и не знал. Но все-таки одной лошади Эку не хватает. Как раз той, за которую деньги плачены. А это верное доказательство, что лошади не Флемовы, - кто же всучит своему родичу то, что и поймать невозможно?

Они снова засмеялись, но сразу же смолкли, как только заговорил приказчик. Голос его звучал совсем невесело.

- Послушайте,- сказал он.- Пусть так. Мы не спорим, что вы умнее нас всех. Вы не покупали лошади ни у Флема, ни у кого другого, а ежели так, не ваше это дело, и не лучше ли будет на этом покончить.

- Конечно, - сказал Рэтлиф. - На этом и покончили позавчера вечером. По милости того, кто забыл запереть ворота. Все, кроме Эка. Оно и понятно: ведь мы знаем, что эта лошадь не была Флемова, потому что досталась Эку задаром.

- И, кроме Эка, есть еще такие, которые по сю пору дома не были, сказал человек с веточкой во рту.- Букрайт и Квик все гоняются за своими лошадками. Вчера в восемь вечера их видели в Бертсборо, в трех милях от Старого Города. А лошадь неизвестно чья, она их и близко не подпускает.

- Конечно, - сказал Рэтлиф. - С той самой секунды, как кто-то оставил ворота открытыми, только одного из этих лошадников и можно сыскать без ищеек - Генри Армстида. Он лежит в доме у миссис Литтлджон, оттуда и загон виден, так что, когда его лошадь воротится, ему надо

будет только крикнуть жене, чтобы та выбежала с веревкой и обратала ее... - Он запнулся, но лишь на мгновение и тут же сказал: "Доброе утро, Флем", - не меняя тона, так что заминка прошла незамеченной. Все, кроме приказчика, который вскочил, уступая стул с подобострастной поспешностью, и Эка с сыном, продолжавших есть, смотрели в пол, мимо своих неподвижных рук, а Сноупс в серых штанах, крошечном галстуке и новой клетчатой кепке взошел на крыльцо. Он жевал; в руке он держал наготове белую сосновую дощечку; он кивнул, ни на кого не глядя, сел на стул, открыл нож и принялся строгать свою дощечку. Приказчик прислонился к косяку по другую сторону двери, почесывая спину. На лице его снова появилась недоверчивая ухмылка, в которой чувствовалась тайная настороженность.

- Вы пришли в самое время,- сказал он.- Рэтлиф тут ломает себе голову над тем, чьи же все-таки эти лошади. Сноупс старательно провел ножом по дощечке, и под лезвием закурчавилась аккуратная, тонкая стружка. Принялись строгать и остальные, пристально глядя куда-то мимо, все, кроме Эка и мальчика, которые еще ели, и приказчика, который чесал спину о дверной косяк и пристально, с той же тайной настороженностью, глядел на Сноупса. - Может, вы его успокоите.

Сноупс повернул голову и сплюнул через всю галерею, прямо на землю у крыльца. Он наставил нож и повел новую стружку.

Приказчик захихикал, все его лицо, словно скомканное невидимой рукой, стянулось к носу. Он хлопнул себя по ляжке.

- Что, съели? - сказал он. - Куда вам против него.

- Пожалуй, что так, - сказал Рэтлиф. Он стоял, ни на кого не глядя, устремив непроницаемый сосредоточенный взгляд на пустую дорогу за домом миссис Литтлджон. Неизвестно откуда, словно из-под земли, появился неуклюжий паренек в комбинезоне, из которого он давно вырос. Он постоял немного на дороге, так близко от них, что с галереи до него можно было доплюнуть, нерешительно, словно и впрямь вырос из-под земли и сам не знает, куда пойдет, когда сдвинется с места, и ему это безразлично. Он не глядел ни на что, и, уж во всяком случае, не глядел на галерею, и с галереи на него никто не взглянул, кроме мальчика, который смотрел на него серьезно и пристально своими голубыми глазами, поднеся ко рту надкушенную галету. Паренек чуть враскачку пошел дальше по дороге в своем тесном комбинезоне и скрылся за углом лавки, а мальчик на галерее провожал его взглядом, поворачивая вслед свою круглую голову с немигающими глазами. Потом он откусил еще кусочек галеты и стал жевать.- Правда, остается еще миссис Талл, - сказал Рэтлиф.Должно быть, она подаст на Эка в суд, захочет с него возмещение взыскать за то, что Талл покалечился на мосту. Ну а Генри Армстид...

- Ежели у человека не хватает ума поберечься, пусть на себя пеняет, сказал приказчик.

- Конечно, - сказал Рэтлиф все тем же задумчивым, отсутствующим тоном, едва повернув голову.- А с Генри Армстидом все в порядке, потому что, насколько я понял из нашего сегодняшнего разговора, лошадь, которую он считал своей, уже не принадлежала ему, когда уехал этот техасец. Ну а от сломанной ноги ему убыток невелик, потому что жена и сама прекрасно может засеять поле.

Приказчик перестал чесать спину о дверной косяк. Он смотрел в затылок Рэтлифу, не мигая, спокойно и пристально; потом взглянул на Сноупса, который все жевал, следя, как курчавится новая стружка, и снова уставился Рэтлифу в затылок.

- Ей не впервой засевать ихнее поле, - сказал человек с веточкой во рту. Рэтлиф взглянул на него.- Уж кто-кто, а вы это знаете. Сколько раз я видел, как вы пахали их поле, Генри-то это всегда было не по силам. Сколько дней вы уже проработали на них в этом году? - Он вынул веточку, осторожно сплюнул и снова прикусил ее зубами.

- Пахать-то она умеет не хуже моего,- сказал другой.

- Не везет им,- сказал третий.- А раз не везет, тут уж как ни вертись все одно.

- Ну конечно,- сказал Рэтлиф.- Только и слышишь, как лень называют невезением, что ж, может, оно и в самом деле так.

- Он не лентяй, - сказал третий.- Когда года четыре назад у них пал мул, они впряглись в

плуг вместе со вторым мулом и пахали на себе. Нет, они не лентяи.

- Ну, когда так, прекрасно, - сказал Рэтлиф, снова глядя на пустую дорогу. - Она, верно, сразу и возьмется кончать пахоту. Старшая дочка у них уже довольно подросла, чтобы ходить с мулом в упряжке, верно? Или, по крайности, чтобы ходить за плугом, покуда миссис Армстид станет пособлять мулу? - Он снова взглянул на человека с веточкой во рту, словно ожидая ответа, но тот не глядел на него, и он продолжал говорить без умолку. Приказчик стоял, прижавшись спиной к косяку, словно вот-вот снова начнет чесаться, и теперь уже совсем мрачно, не мигая, глядел на Рэтлифа. Если бы Рэтлиф посмотрел на Флема Сноупса, то ничего бы не увидел под низко надвинутым козырьком кепки, кроме непрестанно двигающихся челюстей. Стружка все так же аккуратно и неторопливо вилась из-под ножа. - Ей теперь время просто девать некуда, потому что, она как перемоет у миссис Литтлджон посуду и подметет в комнатах, чтобы отработать харчи за себя и за Генри, ей остается только подоить дома скотину и настряпать еды, чтобы детям хватило и на завтра, а потом накормить их, уложить младших спать и обождать на крыльце, покуда старшая запрет дверь на засов и ляжет в кровать, положив рядом с собой топор...

- Топор? - сказал человек с веточкой.

- Ну да, девчонка кладёт с собой в постель топор. Ей ведь всего двенадцать лет, а у нас тут сейчас полным-полно неловленных лошадей, к которым Флем Сноупс никакого отношения не имеет, ну и, понятное дело, она не уверена, что сможет отбиться просто стиральной доской, как миссис Литтлджон... Ну а потом она идет назад, мыть посуду после ужина. А уж после этого ей нечего делать до самого утра, кроме как сидеть и ждать, может, Генри ее позовет, а чуть свет надо наколоть дров и стряпать завтрак, а потом помочь миссис Литтлджон вымыть посуду, застелить кровати и подмести пол, да все время поглядывать на дорогу. Потому что каждую минуту может вернуться Флем Сноупс откуда-то, куда он ездил после торгов, а ездил он, конечно, в город вызволять своего двоюродного брата, у которого кое-какие неприятности с законом, и тогда она получит свои пять долларов. "Но только вдруг он их не отдаст", - говорит она, и миссис Литтлджон, кажется, тоже так думает, потому что знай помалкивает в ответ. Я слышал, как она...

- А сами-то вы где были в это время? - сказал приказчик.

- Подслушивал, - сказал Рэтлиф. Он поглядел на приказчика и снова отвернулся, стал ко всем почти спиной. - ... так вот, я слышал, как она гремела тарелками, складывая их в таз, словно швыряла их туда со всего размаху. "Как вы думаете, -говорит миссис Армстид, - отдаст он их мне? Этот техасец отдал их ему и сказал, что я могу их получить. Все видели, как он отдал деньги мистеру Сноупсу, и слышали, как он сказал, что завтра я могу их получить у мистера Сноупса". А миссис Литтлджон все моет тарелки, и моет-то, как мужчина, будто они из железа сделаны. "Нет, говорит. Но все же попробуйте, попытка не пытка". - "Если он не отдаст, зачем и пытаться",говорит миссис Армстид. "Как знаете, - говорит миссис Литтлджон. - Деньги-то ваши, не мои". А потом несколько времени ничего не слыхать было, только тарелки звенели. "Вы думаете, он, может, и отдаст? - говорит миссис Армстид. - Этот техасец сказал, что отдаст. Все слышали". - "Что ж, идите просите у него", - говорит миссис Литтлджон. И снова ничего не слыхать, только тарелки звенят. "Не отдаст он", - говорит миссис Армстид. "Что ж,- говорит миссис Литтлджон.- Тогда не ходите". И опять только тарелки звенят. Видно, обе мыли посуду, в двух тазах. "Так вы думаете, он не отдаст?" - говорит миссис Армстид. Миссис Литтлджон молчит, ни слова. Звон стоял такой, словно она швыряла тарелки одну на другую. "Может, мне пойти спросить у Генри", говорит миссис Армстид. "На вашем месте я бы так и сделала, - говорит миссис Литтлджон. И провалиться мне на этом месте, звон был такой, будто она держала в каждой руке по тарелке и колотила ими одна о другую, как колотят медными крышками от кастрюль в оркестре. - Генри тогда купит на эти пять долларов другую лошадь. Может, на этот раз ему попадется такая, что убьет его до смерти. Будь я в этом уверена, я бы выложила ему эти деньги из собственного кармана", - "Я, пожалуй, спрошу сперва у него", - говорит миссис Армстид. А потом пошел такой грохот, будто миссис Литтлджон схватила тазы и вместе с тарелками швырнула на плиту...

Рэтлиф замолчал. Приказчик шипел у него за спиной:

- Тсс! Тсс! Флем. Флем!

Он умолк, и все увидели, как подошла миссис Армстид, поднялась на крыльцо, тощая, в мешковатой серой одежде и грязных шлепанцах, тихо шаркая по ступеням. Она прошла через галерею и остановилась прямо перед Сноупсом, ни на кого не глядя и спрятав руки под фартуком.

- Он тогда сказал, что не продавал Генри эту лошадь, - сказала она ровным, безжизненным голосом.- Сказал, что деньги у вас и я могу их получить. - Сноупс поднял голову, слегка повернул ее и ловко плюнул мимо женщины, через всю галерею, на дорогу.

- Он увез все деньги с собой,- сказал он.

Миссис Армстид, не двигаясь, в серой одежде, которая висела на ней твердыми, почти рельефными складками, словно отлитая из бронзы, казалось, разглядывала что-то у ног Сноупса, будто не слыша его слов или будто, едва замолчав, она покинула свое тело, и хотя тело услышало, восприняло слова, они не имеют ни содержания, ни смысла, пока она не вернется. Приказчик опять чесал спину о косяк, глядя на женщину. Мальчик тоже глядел на нее своим ясным немигающим взглядом, остальные на нее не смотрели. Человек с веточкой вынул ее, сплюнул и сунул обратно в рот.

- Он сказал, что Генри никакой лошади не покупал, - сказала она. - Он сказал, что я могу получить деньги у вас.

- Видно, он позабыл, - сказал Сноупс. - Он увез все деньги с собой.

Он поглядел на нее еще мгновение, потом снова склонился над своей дощечкой. Приказчик тихонько терся спиной о дверь, глядя на женщину. Немного погодя миссис Армстид подняла голову и поглядела на дорогу, которая бежала вдаль, устланная мягкой весенней пылью, мимо дома миссис Литтлджон, потом в гору, мимо еще не цветущей (это будет потом, в июне) рощи акаций, что по ту сторону дороги, мимо школы, чья облупившаяся крыша торчала над садом среди груш и персиков, словно улей, вокруг которого роятся красно-белые пчелы, и все выше, на холм, где среди сверкающих мраморных надгробий стояла церковь под сенью величественных кедров, в листве которых в долгие летние дни порхали тоскующие голуби. Она пошла прочь; резиновые подошвы снова зашаркали по трухлявым доскам.

- Наверно, пора обед собирать,- сказала она.

- Как нынче Генри, миссис Армстид? - спросил Рэтлиф. Она остановилась, взглянула на него, и ее пустые глаза на миг оживились.

- Большое спасибо, он спит,- сказала она. Потом глаза снова потухли, и она пошла дальше. Сноупс встал со стула, защелкнул большим пальцем нож и смахнул со штанов стружки.

- Обождите-ка, - сказал он.

Миссис Армстид снова остановилась, боком к галерее, но все не глядя ни на Сноупса, ни на остальных. "Ну конечно, она просто поверить этому не может,- подумал Рэтлиф.- Так же, как и я". Сноупс вошел в лавку, и приказчик, который снова замер, прижимаясь спиной к косяку, словно ждал, скоро ли можно будет опять начать чесаться, проводил его взглядом, поворачивая голову вслед за ним, как сова, и часто мигая маленькими глазками. Подъехал верхом Джоди Уорнер. Он не проехал мимо лавки, а свернул к ближнему тутовому дереву, где обычно привязывал лошадь. Со скрежетом проехал фургон. Человек, правивший лошадьми, приветственно поднял руку: один или двое с галереи ответили ему тем же. Фургон не остановился. Миссис Армстид проводила его взглядом. Сноупс вышел из лавки, неся полосатый бумажный пакетик, и подошел к миссис Армстид.

- Вот,- сказал он. Она протянула руку, чтобы взять пакетик.- Пускай детишки полакомятся,- сказал он. Другую руку он сунул в карман и, садясь на стул, вынул что-то оттуда и отдал приказчику. Это был пятицентовик. Сноупс сел на стул и снова привалился к двери. Он уже держал в руке открытый нож. Он чуть повернул голову и ловко сплюнул мимо серой одежды женщины на дорогу. Мальчик смотрел на пакетик у нее в руке. Наконец и она, словно

очнувшись, увидела его.

- Вы очень добры,- сказала она. Она завернула пакетик в фартук, и мальчик немигающим взглядом смотрел, как бугрятся под фартуком ее руки. Она двинулась дальше. - Надо идти обед собирать,- сказала она. Она спустилась с крыльца, но едва ступила на землю и стала удаляться, как серые складки одежды снова утратили

все признаки, всякий намек на подвижность, и она снова уплывала, постепенно уменьшаясь, как на плоту; словно серый уродливый древесный ствол неторопливо плыл по течению, непостижимым образом не падая, как будто все еще рос в земле. Приказчик вдруг загоготал, раскатисто, радостно. Он хлопнул себя по ляжке.

- Истинный бог, - сказал он.- Куда вам против него.

Джоди Уорнер, войдя в лавку с заднего крыльца, вдруг замер, приподняв одну ногу, как пойнтер, сделавший стойку. Потом на цыпочках, без единого звука, он стремглав кинулся за прилавок и побежал между полками туда, где ворочалась неуклюжая, медвежья фигура, засунув голову по самые плечи в витрину с иголками, нитками, табаком и засохшими разноцветными сластями. Он грубо и злобно вытащил парня из витрины: тот испустил придушенный крик и, слабо отбиваясь, запихнул в рот последнюю горсть каких-то лакомств. Но почти сразу он перестал сопротивляться, притих и весь обмяк, только челюсти быстро двигались. Уорнер выволок его из-за прилавка, а приказчик уже сорвался с места и вбежал внутрь, торопливый, встревоженный.

- Ну, ты, святой Эльм! -сказал он.

- Сколько раз я вам говорил, чтобы не смоли пускать его сюда! - сказал Уорнер, встряхивая мальчика. - Он почти всю витрину слопал. Ну ты, вставай!

Парень весь обмяк в его руке, повиснув, словно пустой мешок. Он жевал с каким-то покорным отчаяньем, и глаза его на широком, вялом, бесцветном лице были крепко зажмурены, а уши едва заметно, но непрестанно двигались в такт жующим челюстям. Если бы не это, можно было бы подумать, что он спит.

- Ты, святой Эльм! - сказал приказчик.- Вставай! - Мальчик теперь держался на ногах, по глаз не открыл и жевать не перестал. Уорнер выпустил его.- Марш домой, - сказал приказчик. Мальчик послушно повернулся, чтобы пройти через лавку. Уорнер дернул его назад.

- Не сюда,- сказал он.

Мальчик прошел через галерею и стал спускаться с крыльца в своем тесном комбинезоне, который жестко топорщился на его тощих боках. Прежде чем нога его коснулась земли, он что-то вытащил из кармана и запихнул в рот; уши его снова едва заметно задвигались вместе с челюстью.

- Хуже крысы, правда? - сказал приказчик,

- Какая, к черту, крыса! - сказал Уорнер, хрипло дыша.- Хуже козла в огороде. Вот увидите, как он раз делается с ремнями, вожжами, холстами и подпругами, заберется в лавку с черного хода, все слопает, сожрет меня, вас и его - всех троих. А потом, не сойти мне с этого места, и отвернуться-то страшно будет - а ну как он перебежит дорогу и примется за хлопкоочистилку и кузню. Ну, вот что. Если я еще хоть раз поймаю его здесь, то поставлю в лавке медвежий капкан.- И он вместе с приказчиком вышел на галерею. - Доброе утро, джентльмены,- сказал он.

- Кто это был, Джоди? - спросил Рэтлиф.

Не считая приказчика, державшегося в отдалении, стояли только они двое, и теперь, когда они были рядом, стало заметно сходство между ними - сходство смутное, неуловимое, неопределенное, не во внешности, не в манере говорить, одежде или складе ума; и уж конечно, не во внутреннем облике. Тем не менее сходство было, так же как было и неискоренимое различие, потому что на Джоди легла печать его судьбы; придет время, и он состарится; Рэтлиф тоже; но того, в шестьдесят пять лет, поймает и женит на себе девчонка, которой не будет и семнадцати, и до конца его дней станет мстить ему за свой пол; Рэтлифа же - никто и никогда.

Паренек медленно брел по дороге. Он снова вынул что-то из кармана и сунул в рот.

- Это мальчишка А. О., - сказал Уорнер, - клянусь богом, я сделал все, чтоб его отвадить, разве только яду в витрину не подсыпал.

- Как? - сказал Рэтлиф. Он быстро окинул взглядом все лица; на собственном его лице промелькнуло не только удивление, но почти испуг.- Я думал... позавчера вы, ребята, сказали мне... вы мне сказали, что приезжала женщина, молодая женщина с ребенком... И вот теперь...- сказал он. - Как же так?

- Это другой,- сказал Уорнер.- Чтоб у него ноги поотсыхали! Ну, что, Эк, говорят, ты поймал одну из своих лошадей?

- Да, поймал,- сказал Эк. Он и мальчик покончили с галетами и сыром, и теперь он сидел у стены, держа в руках пустой пакет.

- Которую же - ту, что он тебе подарил? - сказал Уорнер.

- Да, ту самую,- сказал Эк.

- Па, а вторую ты подари мне,- сказал мальчик.

- Ну и что же?

- Она себе шею сломала,- сказал Эк.

- Это я знаю,- сказал Уорнер.- Но как? - Эк не шевелился. Глядя на него, они почти воочию могли видеть, как он выбирает и накапливает слова, фразы. Уорнер, глядя на него сверху вниз, засмеялся хриплым натужным смехом, со свистом всасывая воздух сквозь зубы. - Я расскажу вам, как было дело. Эк с мальчишкой пробегали за ней почти сутки и наконец загнали ее в тот тупик, что возле дома Фримена. Они сообразили, что через Фрименов восьмифутовый забор ей не перескочить, ну вот и натянули у входа в тупик, на высоте трех футов от земли, веревку. Ну а лошадь, понятное дело, когда добежала до конца тупика и уперлась в конюшню Фримена, поворотила, как Эк и рассчитывал, назад и понеслась по тупику, ни дать ни взять вспугнутая ворона. Наверно, веревки она и не заметила. Миссис Фримен выбежала на крыльцо и все видела. Она говорит, что когда лошадь налетела на веревку, она была похожа на большую рождественскую шутиху. Ну а второй вашей лошадки и след простыл, так, что ли?

- Да,- сказал Эк,- Я не углядел даже, в какую сторону она побежала.

- Подари ее мне, па, - сказал мальчик.

- Погоди, прежде надо ее поймать,- сказал Эк. - А там видно будет.

Вечером того же дня фургончик Рэтлифа стоял у ворот Букрайта, и сам Букрайт стоял рядом, на дороге.

- Вы ошиблись, - сказал Букрайт.- Он вернулся.

- Он вернулся,- сказал и Рэтлиф. - Я чопорно судил об его... ну, не выдержке, это не то слово, и, уж конечно, не об отсутствии выдержки. Но я не ошибся.

- Чепуха,- сказал Букрайт. - Вчера его целый день не было. Правда, никто не видел, чтоб он ехал в город или возвращался оттуда, но всякому ясно, что он был там. Ни один человек, даже если он Сноупс, не допустит, чтоб его родича сгноили в тюрьме.

- Он недолго там просидит. До суда остается меньше месяца, а потом, когда его упекут в Парчмен, он снова будет на свежем воздухе. И даже снопа станет работать по хозяйству, пахать. Конечно, это будет не его хлопок, но ведь он никогда не выручал за свой хлопок достаточно, чтобы хоть как-нибудь перебиться.

- Чепуха,- сказал Букрайт.- Ни за что не поверю. Флем не допустит, чтоб его отправили на каторгу.

- Допустит, - сказал Рэтлиф.- Потому что Флему нужно погасить все эти ходячие векселя, которые то и дело появляются то здесь, то там. Он хочет избавиться навсегда хотя бы от некоторых.

Они поглядели друг на друга - Рэтлиф, серьезный и спокойный в своей синей рубашке, Букрайт тоже серьезный, сосредоточенный, нахмурив черные брови.

- Но ведь вы, кажется, говорили, что с ним вместе сожгли эти векселя?

- Я говорил, что мы сожгли два векселя, которые дал мне Минк Сноупс. Но неужто вы думаете, что кто-нибудь из Сноупсов хоть в чем-то может целиком довериться клочку бумаги,

который можно спалить на одной спичке? Или вы думаете, кому-нибудь из Сноупсов это невдомек?

- Вот как,- сказал Букрайт. - Ха,- сказал он невесело, - небось вы и Генри Армстиду вернули его пять долларов.

Рэтлиф отвернулся. Лицо его изменилось; на нем мелькнуло какое-то мимолетное, лукавое, но не смеющееся выражение, потому что глаза не смеялись; потом оно исчезло.

- Мог бы вернуть, - сказал он.- Но не сделал этого. Мог бы, будь я уверен, что на этот раз он купит что-нибудь такое, что убьет его до смерти, как сказала миссис Литтлджон. И кроме того, я не защищал Сноупса от Сноупсов. И даже не человека от Сноупса. Я защищал даже не человека, а безобидную тварь, которой одно только и надо: ходить да греться на солнце, которая никому не могла бы причинить зла, даже если б захотела, и не захотела бы, даже если бы могла, все равно как я не стал бы стоять в стороне и смотреть, как вы крадете кость у собаки. Не я создал их Сноупсами, и не я создал тех людей, что сами подставляют им задницу. Я мог бы сделать больше, но не стану. Слышите, не стану!

- Хватит, - сказал Букрайт. - Легче на поворотах, перед вами просто холмик. Говорю вам - хватит.

2

Оба дела - Армстид против Сноупса и Талл против Экрема Сноупса (да и вообще против всех Сноупсов и даже против Уорнера, которого, как знала вся деревня, обозленная жена Талла тоже старалась запутать) по взаимной договоренности сторон слушались в суде другого округа. Вернее - по договоренности трех сторон, потому что Флем Сноупс наотрез отказался признать иск, сплюнув в сторону, невозмутимо заявил: "Это не мои лошади",- и снова принялся строгать свою дощечку, а смущенный и растерянный шериф стоял перед прислоненным к стене стулом, держа в руках повестку, которую он пытался вручить.

- А какой был бы прекрасный случай для этого сноупсовского семейного адвоката,- сказал Рэтлиф, когда узнал обо всем.- Как бишь его... Ну этот отец-молодец, этот Моисей, у которого полон рот всяких прибауток, а за штаны цепляется множество сыновей, неизвестно откуда взявшихся. Просто удивительно, как это получается - мне бесперечь твердят об этих людях, а я все не могу запомнить имен. Словом, этот А. О. Вечно у него не хватает терпения обождать. Может, во всей его практике это была бы единственная тяжба, где простофиля клиент не стал бы вмешиваться и затыкать ему рот, и только сам судья имел бы право сказать ему: "Заткнись".

Так что ни коляски Уорнера, ни фургончика Рэтлифа не было среди потока фургонов, повозок, верховых лошадей и мулов, который хлынул к Уайтлифской лавке, что в восьми милях от поселка, не только с Французовой Балки, но и отовсюду, так как к этому времени то, что Рэтлиф назвал "техасской болезнью", эта пятнистая порча, эта лавина бешеных, неуловимых лошадей, разлилась на двадцать, а то и на тридцать миль окрест. И когда начали подъезжать люди с Французовой Балки, около лавки уже стояло десятка два фургонов с выпряженными и привязанными к задним осям лошадьми и еще вдвое больше оседланных лошадей и мулов стояло в ближней рощице, и заседание решено было перенести из лавки под соседний навес, куда осенью свозили хлопок. Но к девяти часам оказалось, что все желающие не поместятся даже под навесом, и заседание снова перенесли, теперь уж прямо в рощу. Лошади, мулы и фургоны были убраны оттуда; из сарая притащили единственный стул, колченогий стол, толстую Библию, которой, судя по ее виду, часто и с любовью пользовались, как старым, но безотказным инструментом, календарь и подшивку "Законодательных постановлений штата Миссисипи" за 1881 год с одной-единственной тонкой замусоленной трещиной по корешку, словно хозяин (или тот, кто ими пользовался) открывал их всегда на одной и той же странице, но зато очень часто, четверо специально отряженных людей мигом съездили в повозке за милю от лавки в церковь и вернулись с четырьмя деревянными скамьями для тяжущихся, их родственников и свидетелей; позади рядами стояли зрители - мужчины, женщины, дети, серьезные, внимательные, опрятные, не в праздничных нарядах, конечно, но в чистой рабочей одежде, надетой с утра по случаю предстоящих субботних развлечений -

сидения около деревенской лавки или поездки в ближний город, в той самой одежде, в которой они в понедельник выйдут на поле и будут носить ее всю неделю, до вечера будущей пятницы. Мировой судья, аккуратный, маленький, пухлый старичок с ровными, чуть вьющимися седыми волосами, словно сошедший с добродушной карикатуры на всех дедушек на свете, был в безукоризненно чистой сорочке, но без воротничка, с белоснежными, сверкающими, крахмальными манжетами и манишкой, в очках со стальной оправой. Он сел за стол и поглядел на них - на серую женщину в сером платье и шляпке, недвижно уронившую на колени руки, бледные и узловатые, словно корни, выкорчеванные на осушенном болоте; на Талла в выцветшей, но свежей рубашке и в комбинезоне, не только чисто выстиранном, но выглаженном и накрахмаленном его женщинами, со складкой не посередке штанин, а с боков, так что каждую субботу с утра они бывали похожи на короткие детские штанишки, на его безмятежно голубые, невинные глаза над шелковистой, как кукурузная метелка, бородой месячной давности, скрывавшей почти все его обрюзгшее лицо и придававшей ему какой-то неправдоподобный, нелепо блудливый вид, но не такой, словно он вдруг после долгих лет предстал перед другими мужчинами в своем настоящем обличье, а такой, будто изображение святого младенца кисти старого итальянского мастера испоганил какой-нибудь скверный мальчишка; на миссис Талл, крепкую, пышногрудую, но немного нескладную женщину, чье лицо пылало суровым негодованием, которое за этот месяц, казалось, нисколько не возросло, но и не угасло, а просто устоялось, и, странное дело, всем почти сразу же стало казаться, что негодует она не на кого-либо из Сноупсов и не на кого другого из мужчин в отдельности, но на всех мужчин, вместе взятых, на весь мужской пол, и сам Талл вовсе не пострадавший, а предмет ее негодования,- она сидела по одну сторону от мужа, а старшая из четырех его дочерей - по другую, словно обе они (или, по крайней мере, миссис Талл) не просто боялись, что Талл вдруг вскочит и убежит, но твердо решились не допустить этого; на Эка с мальчиком, похожих как две капли воды, только один ростом повыше, на приказчика Лэмпа, в серой кепке, в которой кто-то признал ту самую, что была на Флеме Сноупсе в прошлом году, когда тот уезжал в Техас, - Лэмп сидел, быстро моргая и глядя на судью упорно и злобно, как крыса, и в бесцветных стариковских глазах судьи за толстыми стеклами очков появилось не только удивление и замешательство, но и что-то очень похожее на страх, как и у Рэтлифа, когда он стоял на галерее месяц назад.

- Так вот...- сказал судья.- Я не предполагал... Не ожидал увидеть... Я хочу помолиться, - сказал он. - Конечно, вслух я молиться не буду. Но надеюсь...- Он посмотрел на них. - Я бы хотел... одним словом, может быть, кто-нибудь из вас последует моему примеру.

Он склонил голову. Все смотрели на него серьезно и молча, а он неподвижно сидел у стола, и легкий утренний ветерок тихонько шевелил его редкие полосы, и трепетные тени листьев скользили по выпуклой крахмальной груди сорочки, по сверкающим манжетам, таким же твердым и почти таким же просторным, как куски шестидюймовой печной трубы, по его сложенным рукам. Он поднял голову.

- Армстид против Сноупса, - сказал он.

Миссис Армстид начала говорить. Она не шевелилась, ни на что не смотрела, стиснув руки на коленях, и голос ее был все таким же ровным, глухим, безнадежным.

- Этот человек из Техаса сказал...

- Постойте, - прервал ее судья. Его тусклые глаза забегали под толстыми стеклами очков, оглядывая лица присутствующих.- Где же ответчик? Я его не вижу.

- Он отказался явиться, - сказал шериф.

- Отказался? - сказал судья.- Разве вы не вручили ему повестку?

- Он не принял ее, - сказал шериф.- Он сказал...

- В таком случае он будет отмечать за неуважение к суду!

- С какой стати? - сказал Лэмп Сноупс.- Еще не доказано, что эти лошади его. Судья взглянул на Лэмпа.

- Разве вы представляете интересы ответчика? - спросил он. Сноупс, моргая, глядел на него.

- А это что значит? - сказал он.- Что штраф, к которому вы его присудить собираетесь, взыскивать будут с меня?

- Стало быть, он отказывается участвовать в тяжбе, - сказал судья... Разве он не знает, что я могу привлечь его за это к ответственности, если уж он не признает простой справедливости и приличий?

- Вот это ловко, - сказал Сноупс.- Сразу видать, что у вас на уме...

- Замолчите, Сноупс, - сказал шериф. - Если вы не выступаете по этому делу, так нечего и вмешиваться. - Он повернулся к судье:- Не прикажете ли съездить на Французову Балку и привезти сюда Сноупса? Я могу это сделать.

- Нет, - сказал судья.- Погодите.- Он снова оглядел бесстрастные лица, все с той же растерянностью, с тем же страхом. - Может ли кто-нибудь точно сказать, чьи это лошади? Кто может сказать? - Они тоже глядели на него, бесстрастно, пристально глядели на этого чистенького безупречного старика, который, положив руки на стол, сплел пальцы, чтобы унять дрожь. - Хорошо. Миссис Армстид, - обратился он к женщине, - расскажите суду, как было дело.

Она заговорила, ни разу не пошевельнувшись, ровным, монотонным голосом, глядя куда-то мимо, в полной тишине, а кончив, умолкла, и голос ее ни разу не дрогнул, словно все сказанное не имело никакого значения и ни к чему не могло привести. Судья, опустив глаза, разглядывал свои руки. Когда она замолчала, он посмотрел на нее.

- Но из этого еще не следует, что лошади принадлежали Сноупсу. Вам нужно бы предъявить иск этому человеку из Техаса. А он уехал. Даже если суд постановит взыскать с него деньги, вы все равно не сможете их получить. Понимаете?

- Мистер Сноупс привез его сюда, - сказала миссис Армстид. - Откуда бы этому техасцу знать, где Французова Балка, ежели б мистер Сноупс ему не показал.

- Но ведь это техасец продал лошадей и взял деньги. - Судья снова

- Да, - сказал Букрайт.

Судья снова поглядел на миссис Армстид печально и сочувственно. Поднялся порывистый ветер, он шелестел высоко в ветвях, и на землю, кружась, падали снежно-белые лепестки, которые отцвели прежде времени, как и сама весна отцвела быстро и щедро после суровой зимы, пролив свой густой, одуряющий аромат.

- Он отдал мистеру Сноупсу те деньги, какие взял у Генри. Он сказал, что Генри не покупал никакой лошади. Он сказал, я могу завтра получить деньги у мистера Сноупса.

- И у вас есть свидетели, которые могут подтвердить это?

- Да, сэр. Все видели и слышали, как он отдал мистеру Сноупсу деньги и сказал, что я могу их получить...

- И вы просили у Сноупса эти деньги?

- Да, сэр. А он сказал, что техасец увез их с собой. Но я бы могла...

Она снова умолкла, глядя, как и судья, куда-то вниз, на свои руки. Во всяком случае, она ни на кого не глядела.

- Что же? - спросил судья.- Что вы могли бы?

- Я могла б узнать эти пять долларов. Я заработала их своими руками, ткала по ночам, когда Генри и дети спали. Некоторые дамы из Джефферсона собирали пряжу и отдавали мне, а я за плату ткала им материю. Я скопила эти деньги по центу и узнала бы их, если б увидела, потому что часто вынимала жестянку из печи и пересчитывала их, вес ждала, покуда накопится довольно, чтобы обуть детей к зиме. Я бы их сразу узнала. Если б мистер Сноупс только позволил...

- А что, если кто-нибудь видел, как Флем отдал эти деньги назад техасцу? - сказал вдруг Лэмп Сноупс.

- А кто-нибудь видел это?

- Да, - сказал Сноупс хрипло и решительно.- Вот Эк видел.- Он поглядел на Эка: - Ну, что же ты? Расскажи ему.

Судья поглядел на Эка; все четыре дочери Талла, как по команде повернув головы, тоже

поглядели на него, и миссис Талл с холодным, злым и презрительным лицом подалась вперед, чтобы муж не мешал ей видеть, и все, кто стоял позади скамей, задвигались, вытягивая шеи, чтобы поглядеть на Эка, неподвижно сидевшего на скамье.

- Скажите, Эк: видели вы, как Сноупс вернул деньги Армстида техасцу? спросил судья.

Эк сидел молча, не шевелясь, а Лэмп Сноупс грубо и досадливо фыркнул.

- Черт с ним, если он боится, то я не боюсь. Я видел.

- Вы подтвердите это под присягой?

Сноупс взглянул на судью. Он уже больше не моргал.

- Стало быть, вы не верите моему слову? - сказал он.

- Я должен знать истину,- сказал судья.- Если я не могу установить ее, то мне нужны показания, данные под присягой, которые я буду считать за истину.

Он взял Библию, лежавшую рядом с двумя другими книгами.

- Слышите? - сказал шериф.- Подойдите сюда.

Сноупс встал со скамьи и подошел. Все смотрели на него, но никто уже не ерзал, не вытягивал шею, не двигался, лица застыли, глаза смотрели в одну точку. Сноупс, подойдя к столу, оглянулся, окинул быстрым взглядом стоявших полукругом людей и снова взглянул на судью. Шериф схватил Библию, хотя судья еще не выпустил ее из рук.

- Готовы ли вы подтвердить под присягой, что видели, как Сноупс вернул этому техасцу деньги, которые получил с Генри Армстида за лошадь? - спросил он.

- Я ведь уже сказал, что видел, - сказал Сноупс.

Судья выпустил Библию.

- Приведите его к присяге,- сказал он.

- Положите левую руку на Библию, поднимите правую, повторяйте: "Торжественно клянусь и подтверждаю, что..." - скороговоркой начал шериф.

Но Сноупс уже опередил его, - положив левую руку на Библию и подняв правую, он повернул голову, еще раз окинул быстрым взглядом полукружие бесстрастных, внимательных лиц и хрипло, злым голосом сказал:

- Да. Я видел, как Флем Сноупс отдал этому человеку из Техаса те деньги, которые Генри Армстид или кто другой уплатил или, как некоторые утверждают, отдал Флему за какую-то лошадь. Довольно с вас этого?

- Да,- сказал судья.

Толпа зрителей молчала, не шевелилась. Шериф осторожно положил Библию на стол, около сплетенных пальцев судьи, и снова ничто вокруг не шевельнулось, только трепетные тени скользили и сливались друг с другом да летели лепестки акаций. Потом миссис Армстид встала; она стояла, опять - или все еще - ни на что не глядя, прижав руки к животу.

- Мне, наверно, можно теперь уехать? - сказала она.

- Да,- сказал судья, - Если только вы не хотите...

- Так я, пожалуй, поеду,- сказала они. - Путь ведь не близкий.

Она приехала не в фургоне, а на одном из своих отощавших от бескормицы мулов. Какой-то мужчина пошел следом за ней через рощу, отвязал мула, подвел его к ближайшему фургону, и она со ступицы села в седло. Все снова поглядели на судью. Он сидел у стола, по-прежнему сложив руки, но голова его уже не была опущена. И все же он не шевельнулся, пока шериф, перегнувшись через стол, не сказал ему что-то, и только тогда он очнулся, пробудился легко и спокойно, как пробуждается старик от своего чуткого старческого сна. Он убрал руки со стола и, опустив глаза, произнес, словно читал по бумаге:

- Талл против Сноупса. Оскорбление...

- Да! - перебила его миссис Талл. - Дайте мне слово сказать, прежде чем вы начнете.- Она подалась вперед, глядя мимо Талла на Лэмпа Сноупса. - Ежели вы думаете, что можете облыжно выгораживать Флема и Эка Сноупса из...

- Не надо, мамочка... - сказал Талл.

И тогда она обратилась уже к Таллу, не изменив ни позы, ни тона, даже не запнувшись:

- Ты мне рот не затыкай! Позволить Эку Сноупсу, или Флему Сноупсу, словом всей этой

Уорнеровой шайке выволочь тебя из фургона и колотить чуть не до смерти об мост, - это ты готов. А когда дошло до того, чтобы притянуть их к ответу за нарушение твоих законных прав и наказать, тут тебя нет. Потому что это, видите ли, не по-соседски. А валяться во время сева, в самую страду, покуда мы вытаскивали занозы из твоей рожи, - это по-соседски?

Но шериф уже кричал:

- К порядку! К порядку! Не забывайте, что вы в суде!

И миссис Талл замолчала. Она села на скамью, тяжело дыша, уставившись на судью, который продолжал, словно читал по бумаге:

- Оскорбление действием, нанесенное Вернону Таллу посредством одной лошади, не имеющей клички и принадлежащей Экрему Сноупсу. Телесные повреждения наличествуют, ответчик явился. Свидетели - миссис Талл с дочерьми...

- Эк Сноупс тоже все видел,- сказала миссис Талл, уже не так сердито. Он был там. Подоспел в самое время и все видел. Пусть только попробует отпереться. Пусть только поглядит мне в глаза и посмеет сказать, что он...

- Позвольте, мэм, - сказал судья. Он сказал это так спокойно, что миссис Талл примолкла и стала вести себя сдержанно, почти как всякий разумный и смирный человек. - Никто не оспаривает тот факт, что ваш муж пострадал. И никто не оспаривает, что пострадал он из-за лошади. Закон гласит, что если человек имеет скотину, которая, как ему известно, представляет опасность для окружающих и если эта скотина ограждена и отделена от общественного выпаса забором или загородкой, способной оградить и отделить ее от упомянутого выпаса, то, если кто-либо войдет за этот забор или загородку, независимо от того, известно ему или нет, что скотина, там содержащаяся, представляет собой опасность, это действие является нарушением права собственности, и владелец скотины не несет ответственности за последствия. Но коль скоро скотина, представляющая для окружающих опасность, более не ограждена означенным забором или загородкой, преднамеренно или непреднамеренно, с ведома или без ведома владельца, то владелец несет ответственность за последствия. Таков закон. Нам остается лишь установить, во-первых, кому принадлежит лошадь, и во-вторых, представляет ли она опасность для окружающих в соответствии с буквой упомянутого закона.

- Ха! - сказала миссис Талл, точь-в-точь как Букрайт. - Опасность! Спросите у Вернона Талла. Спросите у Генри Армстида, какие это были кроткие овечки.

- Позвольте, мэм, - сказал судья. Он посмотрел на Эка.- Выслушаем ответчика. Отрицает ли он принадлежность лошади?

- Чего? - сказал Эк.

- Эта ваша лошадь чуть не убила мистера Талла?

- Да, - сказал Эк.- Моя. Сколько я должен зап...

- Ха! - снова сказала миссис Талл.- Еще бы он стал отрицать, когда там их было, по крайней мере, человек сорок, таких же дураков, как и он, потому что, будь они малость поумнее, и духу ихнего там не было бы. Но даже дурак может подтвердить то, что видел и слышал, - так вот, по крайней мере, сорок человек слышали, как этот техасский душегуб отдал лошадь Эку Сноупсу. Заметьте, не продал, а отдал.

- Что? - сказал судья.- Как так отдал?

- А вот так, - сказал Эк.- Отдал, да и все тут. Мне жаль, что Талл ехал через мост в это самое время. Сколько я должен...

- Постойте,- сказал судья.- А вы ему что дали? Вексель? Что-нибудь взамен?

- Нет,- сказал Эк.- Он просто указал на нее, когда она бегала в загоне, и сказал, что она моя.

- А дал он вам купчую, или дарственную, или какой-нибудь письменный документ?

- Да у него на это и времени-то не было, - сказал Эк. - А после того как Лон Квик позабыл затворить ворота, всем было уж не до писанины, даже ежели б это и пришло кому в голову.

-. Это еще к чему? - сказала миссис Талл. - Эк Сноупс сейчас только сам признал, что это его лошадь. А ежели этого вам мало, так там у ворот целый день торчало еще сорок

бездельников, которые слышали, как этот антихрист, который дуется в карты и жрет виски...

Но тут судья остановил ее, подняв руку в огромной, первозданно чистой манжете. Он не смотрел на нее.

- Постойте, - сказал он. - А что же он тогда сделал? - спросил он Эка.

- Просто подвел к вам лошадь и передал веревку из рук в руки?

- Нет, - сказал Эк.- Ни он, ни кто другой не надевал на лошадей веревку. Он просто указал на эту лошадь и сказал, что она моя, а потом распродал остальных, сел в коляску, попрощался и уехал. А мы взяли по веревке и пошли в загон, только Лон Квик позабыл затворить ворота. Мне очень жаль, что из-за нее мулы Талла выволокли его из фургона. Сколько я ему должен? - Но тут он замолчал, потому что судья уже на него не смотрел и, как он понял через секунду, не слушал его. Вместо этого судья откинулся назад, в первый раз за все время, уселся поудобнее на своем стуле, слегка наклонив голову и держа руки со сплетенными пальцами на столе перед собой. С полминуты все молча смотрели на него и только тогда поняли, что он молча и пристально глядит на миссис Талл.

- Так вот, миссис Талл, - сказал он.- Из собственных ваших показаний явствует, что Эк никогда не был владельцем этой лошади.

- Как? - переспросила миссис Талл совсем тихо. - Как вы сказали?

- По закону никакая собственность не может быть подарена словесно. Акт дарения должен быть закреплен документом, либо заверенным, либо подписанным собственноручно, либо фактическим вводом во владение. В соответствии с вашими показаниями и показаниями Эка Сноупса, он ничего не дал техасцу взамен лошади, и согласно показаниям Сноупса, техасец не дал ему никакого документа в подтверждение того, что лошадь принадлежит ему, а из его показаний и из того, что мне самому стало известно за последние четыре недели, явствует, что никто еще не поймал ни одну из лошадей и не накинул на нее веревки. Итак, Эк не вступал во владение лошадью. Техасец мог бы с тем же успехом подарить ту же самую лошадь еще десяти людям, стоявшим в тот день у ворот, и ему даже незачем было бы извещать об этом Эка; а сам Эк мог бы передать все свои права на нее мистеру Таллу прямо на мосту, где мистер Талл лежал без сознания, ему довольно было бы просто подумать об этом, и права мистера Талла были бы столь же законными, как и права самого Эка.

- Значит, я осталась на бобах, - сказала миссис Талл. Голос ее все еще был тих и спокоен, и никто, кроме Талла, как видно, не понял, что слишком уж он тих и спокоен. - Эта пятнистая бешеная сука распугала моих мулов, изломала фургон; мой муж упал с козел, зашибся до бесчувствия и целую неделю не мог работать, мы засеяли меньше половины земли, и вот теперь я осталась на бобах.

- Постойте, - сказал судья.- Закон...

- Закон! - сказала миссис Талл. Она вдруг встала - приземистая, широкая, крепкая женщина, широко расставив толстые, как тумбы, ноги.

- Не надо, мамочка... - сказал Талл.

- Да, мэм, - сказал судья. - Возмещение ваших убытков предусмотрено законом. Закон гласит, что, когда иск об убытках вчиняется владельцу животного, которое нанесло убытки или ущерб, а владелец не может или не хочет нести ответственность, пострадавшая сторона получает в виде возмещения само животное. А поскольку Эк Сноупс никогда не владел этой лошадью и, как вы сами слышали, при разборе предыдущего дела не подтвердилось, что Флем Сноупс так или иначе причастен к продаже табуна, лошадь эта по-прежнему принадлежит техасцу. Или, вернее, принадлежала. Потому что теперь лошадь, которая испугала ваших мулов и была причиной падения вашего мужа с фургона, принадлежит вам и мистеру Таллу.

- Мамочка, постой! - сказал Талл. Он вскочил с места.

Однако миссис Талл все еще была спокойна, только вся напряглась и мрачно сопела, пока Талл не заговорил. Но тут она повернулась к нему и даже не взвизгнула, а завопила что было мочи; шериф уже стучал по столу своей отполированной от долгого употребления ореховой тростью и кричал: "К порядку! К порядку!" - а чистенький старичок откинулся на стуле, словно хотел уклониться от удара, и, дрожа мелкой старческой дрожью, смотрел на нее

удивленно, не веря своим глазам.

- Лошадь! - голосила миссис Талл.- Да мы видели ее пять секунд, она налетела прямо на наш фургон, перелезла через нас, а потом поминай как звали. Удрала бог весть куда, и слава тебе господи! И мулы тоже удрали, и от фургона остались одни щепки, а ты валялся на мосту, и вся рожа у тебя была в занозах и в кровище, мы уж думали, тебе не встать. А теперь он отдает нам лошадь! Нет, ты мне рот не затыкай! Иди, дурак, полюбуйся на свой фургон, поищи, где ты там сидел и правил парой молодых мулов, намотав вожжи на руку! Идите все, полюбуйтесь на этот фургон!

- Нет, я больше не могу! - крикнул судья.- Не могу! Разбирательство окончено! Слышите, окончено.

А потом был еще один процесс. Он начался в следующий понедельник, и почти те же самые лица можно было увидеть в окружном суде в Джефферсоне, когда два конвоира ввели арестанта, одетого в новый комбинезон, щуплого, ростом не выше ребенка, тощего, почти бесплотного, с угрюмым, непреклонным лицом, бледным и осунувшимся после восьми месяцев тюрьмы, и когда прокурор сказал свою речь, выступил назначенный судом защитник, совсем еще молодой адвокат, только в июне закончивший юридический факультет местною университета, который сделал все, что мог, и даже больше, чем мог, лишь повредив этим своему подзащитному, лез из кожи вон, хотя на него, в сущности никто не обращал внимания, и потребовал отвода всех присяжных, каких только мог, прежде чем прокурор успел отвести хотя бы одного, но, несмотря на это, в самом скором времени увидел перед собой утвержденный состав присяжных, словно штат, страна, все здравомыслящее человечество обладали неисчерпаемым запасом взаимозаменяемых имен и лиц с одинаковыми убеждениями и намерениями, так что все эти отводы с таким же успехом мог бы дать вместо него швейцар, который отпер утром зал заседаний, просто отсчитав сколько положено имен в списке присяжных. И если у защитника еще осталось сколько-нибудь беспристрастия и непредвзятости, то он, вероятно, вскоре понял, что перед судом предстал не его клиент, а он сам. Потому что клиент не обращал никакого внимания на то, что происходило вокруг. Казалось, его совсем это не интересовало, он ничего не хотел ни видеть, ни слышать, как будто судили не его, а кого-то другого. Он сидел там, где его посадили, скованный наручниками с одним из конвоиров, маленький, в новом, жестком, отглаженном комбинезоне, отвернувшись от суда и от всего окружающего, и все время ерзал на месте, пока они не догадались, что он глядит в дальний конец зала, на двери и на всякого, кто в них входит. Его пришлось дважды окликнуть, прежде чем он встал, чтобы ответить на вопрос судьи, и он остался стоять, теперь уж и вовсе спиной к суду, щуплый, угрюмый, совершенно безучастный, с лицом, на котором было какое-то странное беспокойство, и что-то еще, не просто надежда, а глубокая вера, и глядел не на жену, сидевшую прямо перед ним, а в переполненный зал, сквозь ряды сосредоточенных, по большей части знакомых лиц, пока конвоир, с которым он был скован, не заставил его сесть. Так он и просидел до конца этого удивительного короткого процесса, продолжавшегося всего день с четвертью, то и дело поворачивая голову, прилизанный, злобный, упрямый, и вытягивая шею, чтобы выглянуть из-за двоих здоровенных конвоиров и посмотреть на дверь, пока его защитник делал что мог, теряя голову, распинаясь до хрипоты перед суровыми и бесстрастными присяжными, напоминавшими совет взрослых людей, которые по необходимости (но на строго определенное, недолгое время) согласились слушать болтовню дипломированного подростка. А подзащитный не слушал ничего, и все глядел в дальний конец зала, и на исходе первого дня вера покинула его, и на лице осталась только надежда, а на утро второго дня исчезли и надежда, и осталось только беспокойство, хмурая и упорная угрюмость, и он все глядел на дверь. Прокурор кончил свою речь на второй день утром. Присяжные совещались двадцать минут и вынесли вердикт - виновен в умышленном убийстве; обвиняемому снова велели встать и приговорили его к каторжным работам пожизненно. Но он и теперь не слушал; он не только повернулся спиной к суду, чтобы видеть переполненный зал, но сам заговорил, прежде чем судья кончил, и не замолчал, даже когда судья ударил по столу своим молоточком и два конвоира и три шерифа набросились на него,

а он вырывался, отшвыривая их, так что они не сразу совладали с ним, и все высматривал кого-то в зале.

- Флем Сноупс! - сказал он.- Флем Сноупс! Он здесь? Передайте же ему, сукину сыну...

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Рэтлиф остановил свой фургончик у ворот Букрайта. В доме было темно, но три или четыре собаки с лаем сразу же выскочили из-под дома или с задворья. Армстид выставил из фургончика свою негнущуюся ногу и хотел слезть.

- Погодите, - сказал Рэтлиф. - Я пойду позову его сюда.

- Я сам могу дойти, - сказал Армстид хрипло.

- Возможно, - сказал Рэтлиф. - Но собаки меня знают.

- Узнают и меня, пусть только тронут, - сказал Армстид.

- Возможно, - сказал Рэтлиф. Он уже слез на землю. - Оставайтесь здесь, подержите вожжи.

Армстид закинул ногу назад в фургончик, - темнота безлунной августовской ночи его не скрывала, напротив его выцветший комбинезон отчетливо выделялся на темной обивке фургончика; только лица под полями шляпы нельзя было разглядеть. Рэтлиф передал ему вожжи и при свете звезд пошел мимо столба с жестяным почтовым ящиком к воротам, прямо на беззлобный лай собак. Войдя в ворота, он увидел их - лающий клубок темноты на фоне чуть более светлой земли, который с лаем расплелся, развернулся перед ним, не подпуская его к себе, трех черных с рыжиной собак, но и рыжая шерсть в звездном свете казалась черной, так что они хоть и были видны, но совсем смутно, словно его облаяли три сгоревших газеты, которые каким-то чудом не рассыпались и стояли торчмя над землей. Он крикнул на собак. Они должны были узнать его, как только почуяли. Крикнув, он понял, что собаки и в самом деле его узнали, потому что они смолкли на миг, а потом, когда он пошел вперед, стали с лаем пятиться, держась поодаль. Потом он увидел Букрайта, его комбинезон смутно вырисовывался на фоне темного дома. Букрайт прикрикнул на собак, и они замолчали.

- Цыц! - сказал он. - А ну, пошли вон. - И он двинулся, тоже чернея на фоне чуть более светлой земли, туда, где его ждал Рэтлиф. - Где Генри? спросил он.

- На козлах, - сказал Рэтлиф. Он повернулся, чтобы идти назад, к воротам.

- Обождите, - сказал Букрайт. Рэтлиф остановился. Букрайт подошел к нему вплотную. Они взглянули друг на друга, не видя лиц. - Вы ведь не дали ему втянуть себя в это дело, а? - сказал Букрайт. - После тех пяти долларов, про которые он небось вспоминает всякий раз, как поглядит на жену, да сломанной ноги, да лошади, что он купил у Флема Сноупса, а ее и след простыл, он совсем с ума спятил. По-моему, он и на свете-то не жилец. Так как же, вы не дали себя втянуть в это дело?

- Пожалуй, что нет, - сказал Рэтлиф. - Нет, конечно, не дал. Но здесь что-то не чисто. Я всегда это знал. И Билл Уорнер тоже знает. Иначе он ни за что не купил бы эту усадьбу. И. уж во всяком случае, не стал бы держаться за эту старую развалину себе к убыток и платить налоги, когда он мог бы выручить за нее хоть сколько-нибудь, и сидеть там на стуле из распиленного мучного бочонка, уверяя, что ему приятно отдохнуть там, где кто-то положил столько труда и денег, чтобы построить себе дом, в котором можно есть, пить и спать с женой. А когда Флем Сноупс взял усадьбу себе, я окончательно убедился, что дело не чисто. После того как он припер Билла к стенке, а потом выручил его и взял эту развалину с десятью акрами земли, просто курам на смех. Вчера вечером мы с Генри ходили туда. Я сам видел, своими глазами. Если не верите, можете не вступать с нами в долю. Нам же больше достанется.

- Ладно, - сказал Букрайт. Он пошел к воротам. - Мне только это и нужно было знать. - Они вышли за ворота. Генри подвинулся на середину сиденья, и они залезли в фургончик. - Как бы вам ногу не придавить, - сказал Букрайт.

- У меня нога в полном порядке, - хрипло сказал Армстид. - Я могу ходить не хуже вас и всякого другого.

- Ну конечно, - поспешно сказал Рэтлиф, беря вожжи. - У Генри теперь с ногой все ладно.

Даже незаметно нисколько.

- Поехали, - сказал Букрайт. - Ходить пока никому не придется, если лошади повезут.

- Короче всего было бы напрямик, через Балку, - сказал Рэтлиф, - Но нам лучше ехать другой дорогой.

- Пускай все видят, - сказал Армстид. - Ежели кто из вас боится, так я справлюсь и без помощников. Я могу...

- Ну конечно, - сказал Рэтлиф. - Но если нас увидят, то помощников набежит больше, чем требуется. А это нам ни к чему.

Армстид замолчал. Он не сказал больше ни слова, сидя между ними в неподвижности, которая томила его, почти как лихорадка, словно его измотала не боль (пролежав почти месяц в постели, он встал и сразу же снова сломал ногу; никто так и не узнал, как это его угораздило, что он делал или пытался сделать, потому что он никогда об этом не говорил), а бессилие и ярость.

Рэтлиф не спрашивал, куда ехать; едва ли кто знал больше, чем он, об окольных путях и дорогах здесь или в любом другом из округов, по которым он колесил. Им никто не встретился: темная, спящая земля была пустынна, редкие, одинокие фермы выдавал лишь отрывистый собачий лай. Дорога, смутно белея в темноте, так что Рэтлиф скорее угадывал, чем видел, куда едет, бежала среди широких полей, где уже желтела кукуруза и зацветал хлопок; а потом меж высоких деревьев, пышно оперенных летней листвой, под августовским небом, плотно усеянным звездами. А потом они поехали по старой дороге, на которой вот уже много лет ничто не оставляло следов, кроме копыт белой Уорнеровой лошади да пролетки с бахромчатым верхом, недавних следов, а старые шрамы уже почти зажили там, где тридцать лет назад промчался гонец (быть может, соседский невольник, нахлестывавший мула, выпряженного из плуга), чтобы сообщить вести о Самтере, и где, быть может, когда-то катились ландо, в которых плавно покачивались женщины, стройные, в пышных кринолинах, под летними зонтиками, а рядом скакали на кровных рысаках мужчины в черном, разговаривая о том же, и где хозяйский сын, а может быть, и сам хозяин, ездил в Джефферсон со своими пистолетами и чемоданом, в сопровождении камердинера верхом на запасной лошади, рассуждая о войсках и об одержанной победе; где во время сражения под Джефферсоном патрули конфедератов разъезжали по округе, в которой остались одни женщины да невольники-негры.

Теперь ничто уже не напоминало об этом. Самая дорога почти исчезла; там, где песок темнел, сползая к ручью, а потом снова начинался подъем, она как по ниточке, шла вдоль редких, косматых кедров, посаженных здесь тем же безымянным архитектором, который спроектировал и построил дом для безымянного хозяина, они стояли теперь, могучие, в два, а то и три фута в обхвате, переплетясь густыми ветвями. Рэтлиф свернул с дороги и поехал напрямик, меж деревьями. Видимо, он хорошо знал дорогу. Букрайт удивился, но потом вспомнил, что Рэтлиф был здесь накануне вечером.

Армстид, не дожидаясь их, пошел вперед. Рэтлиф поспешно привязал лошадей, и они догнали его, все еще видимого, благодаря светлому, линялому комбинезону, когда он смутной тенью торопливо пробирался сквозь кусты. Впереди земля ощерилась черной пастью: овраг, лощина. Букрайт знал, что Армстид не раз бывал здесь ночью, и все же его хромающая тень едва не сорвалась в черную бездну.

- Помогите ему, - сказал Букрайт.- Не то он снова сломает...

- Тс! - шикнул на него Рэтлиф. -. Сад вон там, на холме.

- ...он снова сломает ногу, - сказал Букрайт, понизив голос. - А мы будем виноваты.

- Не бойтесь, не сломает, - прошептал Рэтлиф. - Он тут не одну ночь провел. Только не подходите к нему слишком близко. Но и слишком далеко вперед не отпускайте. Прошлой ночью, когда мы там лежали, мне один раз пришлось удержать его силой. - Они пошли дальше, следом за темной фигурой, которая двигалась молча и удивительно быстро. Они очутились в овраге, густо заросшем жимолостью, с сухим песчаным дном, по которому надсадно скрежетала хромая нога. И все же они с трудом поспевали за ним. Пройдя шагов двести,

Армстид повернулся и полем по склону оврага. Рэтлиф полез следом. - Теперь осторожней, - шепнул он Букрайту. - Мы уже на месте. - Но Букрайт смотрел на Армстида. "Нипочем ему не вылезть, - подумал он. - Не вылезть ему из этого оврага".

Но Армстид, волоча негнущуюся, дважды сломанную ногу, взобрался на почти отвесный склон молча, без помощи, настороженный, словно взведенный курок, каждую секунду готовый отвергнуть всякую поддержку, не допуская даже мысли, что она может ему понадобиться. А потом Букрайт полз следом за ними на четвереньках по тропинке сквозь чащу шиповника, хурмы и бурьяна, среди высоких, в рост человека, кустов, перелезая через них, когда они стлались по земле у края чуть видимого в темноте дома, там, где его поставили чужеземный, безвестный архитектор и хозяин, чей безымянный прах покоится рядом с прахом его родичей и с останками предков нынешних саксофонистов из гарлемских кабаков, под разрушенными надгробьями со стершимися надписями на ближнем взгорье в четырехстах ярдах отсюда, - мертвый остов с рухнувшей крышей, обвалившимися трубами и высоким прямоугольником окна, сквозь которое видны были звезды по ту сторону дома. На склоне холма, видимо, некогда был разбит розарий. Никто из них троих, так же как и все, кто проходил здесь сотни раз, не знал, что упавший цоколь посреди розария когда-то служил основанием солнечных часов. Рэтлиф ползком настиг наконец Армстида, схватил его за руку, и тут сквозь их тяжелое дыхание Букрайт услышал беспрестанное, неторопливое позвякиванье лопаты и глухой, размеренный стук отбрасываемой земли где-то над собой, на холме.

- Здесь! - прошептал Рэтлиф.

- Да, я слышу, кто-то копает, - прошептал Букрайт. - Но почем мне знать, что это Флем Сноупс?

- А разве Генри уже десять ночей кряду не пролежал здесь, слушая, как он копает? Разве сам я не приходил сюда вчера ночью вместе с Генри, чтобы послушать? Мы лежали на этом самом месте до тех пор, покуда он не ушел, а потом полезли на холм и нашли все ямы, которые он вырыл, а после засыпал и разровнял землю, чтобы скрыть следы.

- Ладно, - прошептал Букрайт. - Вы с Армстидом видели, что кто-то копал. Но почем мне знать, что это Флем Сноупс?

- Ладно, - сказал и Армстид с холодной, сдерживаемой яростью, почти в полный голос; оба они чувствовали, что он дрожит, лежа между ними, дергается и трясется всем своим тощим, измученным телом, как побитая собака. - Это не Флем Сноупс, и точка. Идите домой.

- Тс! - зашипел Рэтлиф.

Армстид повернулся и поглядел на Букрайта. Лицо его было в каком-нибудь футе от Букрайта, теперь совсем невидимое в темноте.

- Идите, - сказал он. - Идите домой.

- Тише, Генри! - прошептал Рэтлиф. - Он услышит! - Но Армстид уже отвернулся, он снова глядел вверх, на темный холм и, ругаясь шипящим шепотом, дрожал и дергался между ними. - Ну а если вы убедитесь, что это Флем, тогда поверите? - прошептал Рэтлиф через лежавшего между ними Армстида.

Букрайт не ответил. Он лежал рядом с ними, слушая беспрестанное и неторопливое позвякивание лопаты и злобное шипение Армстида, чье тощее тело все дрожало и дергалось подле него. Но вот звяканье смолкло. Сначала никто не двигался. Вдруг Армстид пробормотал:

- Нашел! - И бешено рванулся вперед. Букрайт услышал, или, вернее, почувствовал, как Рэтлиф схватил Армстида.

- Стой! - прошептал Рэтлиф.- Стой! Держите его, Одэм! - Букрайт схватил Армстида за другую руку. Они держали отчаянно извивавшееся тело до тех пор, пока Армстид не затих и не лег снова между ними, неподвижный, сверкая глазами и ругаясь все тем же шипящим шепотом. Руки у него на ощупь были худые как палки; но сила в них была нечеловеческая. - Ничего он не нашел! шепнул Рэтлиф. Просто он знает, что оно где-то здесь; может, ему попалась в доме бумага, в которой написано, где копать. Но ему еще надо отыскать это место, и нам тоже. Он знает, что оно где-то в саду, но надо его найти. Мы же видели, что он все ищет.

- Букрайт слышал два голоса, они говорили свистящим шепотом - один ругался, другой успокаивал и увещевал, а сами говорившие во все глаза глядели на холм, тускло освещенный звездами. Потом заговорил один Рэтлиф. - Так вы, значит, не верите, что это Флем, - сказал он. - Ладно. Смотрите же! - Они замерли в траве, все трое, тая дыхание. А потом Букрайт увидел того, кто копал, - тень, сгусток тьмы, поднимавшийся вверх по склону. - Глядите, - шепнул Рэтлиф. - Букрайт слышал, как он и Армстид дышали хрипло, со свистом, с надрывом, не сводя глаз с холма. И тут Букрайт увидел белую рубашку; а еще через мгновение вся фигура отчетливо обрисовалась на фоне неба, замешкавшись на вершине холма. Потом она исчезла. - Ну вот, прошептал Рэтлиф. - Разве это не Флем Сноупс? Теперь верите? - Букрайт набрал полную грудь воздуха и медленно выдохнул его. Он все еще держал Армстида за руку. Он совсем позабыл об этом. Теперь он снова почувствовал ее, тугую и дрожащую, как стальная проволока.

- Да, это Флем, - сказал он.

- Конечно, Флем, - сказал Рэтлиф. - Нам остается только найти завтра ночью, где оно, и тогда...

- Черта с два, завтра! - сказал Армстид. Он снова рванулся, порываясь встать. - Идем искать сейчас же.

Вот что надо делать. Покуда он сам...- Но они вдвоем

держали его, и Рэтлиф шепотом спорил с ним, урезонивал его. Наконец они, ругаясь, прижали его к земле.

- Надо сперва узнать, где это, - выдохнул Рэтлиф. - Надо точно узнать, чтоб сразу взять, нет у нас времени на поиски. Надо все обыскать в первую же ночь, нельзя оставлять следы, не то он вернется и заметит. Не понимаете, что ли? Не понимаете, что мы только раз и сможем поискать, нельзя, чтобы нас застукали.

- Что же нам делать? - сказал Букрайт.

- Ха! - сказал Армстид. - Ха! - Голос его звучал хрипло, сдавленно, злобно. В нем не было даже насмешки. - Что нам делать? Вы же, кажется, домой собирались.

- Будет, Генри, - сказал Рэтлиф. Он встал на колени, не выпуская руки Армстида. - Мы уговорились взять Одэма в долю. Подождем, по крайней мере, покуда найдем эти деньги, а потом уж начнем грызться из-за них.

- А вдруг там только конфедератские деньги? - сказал Букрайт.

- Ну ладно, - сказал Рэтлиф. - А куда, по-вашему, этот Старый Француз девал все деньги, нажитые, когда Конфедерацией еще и не пахло? Да там, наверно, полным-полно, и серебряных ложек, и всяких драгоценностей.

- Ложки и драгоценности можете взять себе, - сказал Букрайт. - Я возьму свою долю деньгами.

- А-а, теперь поверили? - сказал Рэтлиф.

Букрайт не ответил.

- Что же нам делать? - сказал он.

- Я съезжу завтра в долину и привезу дядюшку Дика Боливара, - сказал Рэтлиф. - Вернусь, как только стемнеет. Но все равно мы сможем приступить к делу только после полуночи, когда уйдет Флем.

- Чтобы он нашел их завтра ночью? - сказал Армстид. - Ей-богу, я не...

Теперь все трое стояли. Армстид вдруг начал яростно вырывать руку. Но Рэтлиф не отпускал его. Он обхватил Армстида обеими руками и держал, пока тот не утих.

- Слушайте, - сказал Рэтлиф. - Флем Сноупс их не найдет. Как вы думаете, ежели б он знал, где искать, стал бы он рыться здесь каждую ночь две недели кряду? Разве вы не знаете, что люди ищут эти деньги уже тридцать лет? Что каждый фут земли здесь перевернут по меньшей мере раз десять? Да во всей округе нет поля, на которое положили бы столько труда, сколько на этот несчастный садик. Билл Уорнер мог бы выращивать здесь хлопок или кукурузу просто-напросто разбросал бы семена, и всходы вымахали бы такие, что жать пришлось бы верхом. А не нашли их до сих пор потому, что они зарыты глубоко; и никому не

удалось докопаться до них в одну ночь, а потом засыпать яму, чтоб Билл Уорнер не нашел ее на другой день, когда придет сюда сидеть на своем бочонке из-под муки и караулить клад. Нет, брат. Есть тут одна загвоздка.

Армстид успокоился. Он и Букрайт оба смотрели в ту сторону, где смутно маячило лицо Рэтлифа. Немного погодя Армстид спросил хрипло:

- Какая такая загвоздка?

- А вот какая - Флем Сноупс может пронюхать, что еще кто-то охотится за этими деньгами, - сказал Рэтлиф.

Назавтра, около полуночи, Рэтлиф снова свернул с дороги и поехал между кедрами. Букрайт теперь ехал верхом на своей лошади, потому что в фургончике уже сидели трое, и снова Армстид не стал ждать, пока Рэтлиф привяжет лошадей. Он соскочил, как только фургончик остановился, со звоном и лязгом, нисколько не таясь, вытащил лопату из кузова и, отчаянно хромая, исчез в темноте, прежде чем Рэтлиф и Букрайт успели соскочить.

- Ну, теперь пропало дело, можно и по домам, - сказал Букрайт.

- Нет, нет, - сказал Рэтлиф. - Он никогда не бывает здесь так поздно. Но все равно, лучше догнать Генри.

Третий человек, сидевший в фургончике, не шевелился. Даже в темноте его длинная седая борода чуть светилась, словно впитала и себя частицу звездного света, пока Рэтлиф вез его сюда, и теперь излучала этот свет, Рэтлиф и Букрайт ощупью помогли ему вылезти, взяли вторую лопату и кирку, подхватили старика и поволокли его вниз, в лощину, на звук хромающих шагов, стараясь настичь Армстида. Но настичь его им не удалось, Они выбрались из лощины, уже буквально неся старика, и еще издали услышали наверху, на холме, торопливые удары лопаты. Они отпустили старика, который плюхнулся на землю между ними, дыша порывисто, со свистом, и оба разом взглянули вверх, на темный холм, где глухо и яростно стучала лопата.

- Надо, чтоб он обождал, покуда дядюшка Дик место укажет, - сказал Рэтлиф. Они бок о бок побежали на стук, спотыкаясь в темноте, в густом бурьяне. - Эй, Генри! - прошептал Рэтлиф. - Обождите дядюшку Дика.

Армстид не остановился, он остервенело копал, одним движением отбрасывая землю и снова вонзая лопату. Рэтлиф ухватился за лопату. Армстид вырвал ее и повернулся к нему, занеся лопату, как топор. Их усталые, изможденные лица не были видны и темноте. Рэтлиф не раздевался трое суток, а Генри Армстид, тот, верно, не раздевался, по крайней мере, две недели.

- Только тронь! - прохрипел Армстид. - Только тронь!

- Погодите, - сказал Рэтлиф. - Дайте дядюшке Дику найти место.

- Прочь, - сказал Армстид. - Предупреждаю вас, держитесь от моей ямы подальше. - Он снова с остервенением принялся копать.

Секунду Рэтлиф смотрел на него.

- Скорей, - сказал он. Он повернулся и побежал, а Букрайт следом за ним. Старик сидел там, где они его оставили. Рэтлиф бросился на землю рядом с ним и стал шарить в траве, отыскивая вторую лопату. Под руку сперва попалась кирка. Он отшвырнул ее и снова стал шарить по земле; они с Букрайтом схватили лопату одновременно. Они встали, вырывая лопату друг у друга, тянули и дергали ее, хрипло и тяжело дыша, и даже сквозь свое шумное дыхание слышали торопливые удары лопаты Армстида. - Пустите! - прошептал Рэтлиф. - Пустите!

Старик изо всех своих слабых сил старался встать на ноги.

- Обождите, - сказал он. - Обождите,

Тогда Рэтлиф, как видно, опомнился. Он выпустил лопату, почти швырнул ее Букрайту.

- Возьмите, - сказал он и судорожно вздохнул. - Боже, - прошептал он. Подумать только, что могут сделать с человеком деньги, даже те, которых у него еще нет. - Он нагнулся и рывком поднял старика с земли, не с нарочитой грубостью, а просто подхлестываемый нетерпением. Старик не сразу устоял на ногах, пришлось его поддерживать.

- Обождите, - сказал он писклявым, дрожащим голосом. Его знали все в округе. У него не было ни роду, ни племени, никто не мог упомнить, когда и откуда он явился; никто не знал, сколько ему лет, - высокий, худой, в грязном сюртуке, надетом на голое тело, с длинной седой как лунь бородой по пояс, он жил в мазанке на самом дне балки в пяти или шести милях от дороги. Он продавал снадобья от всех болезней собственного изготовления и амулеты, и о нем говорили, что он ест не только лягушек и змей, но и жуков - что ни поймает. В мазанке у него не было ничего, кроме кровати с соломенным тюфяком, нескольких горшков, огромной Библии и блеклого дагерротипного портрета юноши в конфедератской форме, которого все, кому доводилось там бывать, считали его сыном. - Обождите, - сказал он. - Земля сердится. Надо, чтоб вон тот человек перестал ее ковырять.

- Правильно, - сказал Рэтлиф. - Покуда земля не успокоится, ничего не выйдет. Надо его остановить.

Они снова подошли к Генри; он продолжал копать, и едва Рэтлиф снова коснулся его, он повернулся, занес лопату и стоял так, ругаясь бессильным шепотом, пока сам старик не тронул его за плечо.

- Копай, копай, молодчик, - сказал писклявый голос. - А землица что хранит, то и будет хранить, покуда срок не выйдет.

- Правда, Генри, - сказал Рэтлиф. - Мы должны пустить дядюшку Дика, чтобы он указал нам место. Пошли.

Армстид опустил лопату и вылез из ямы (она была уже в целый фут глубиной). Но лопаты он не бросил; он держал ее до тех пор, пока старик не прогнал их всех назад, в дальний край сада, а потом вынул из заднего кармана раздвоенную персиковую нитку, на конце которой что-то болталось; Рэтлиф, который видел эту штуку раньше, знал, что к рогатке подвешен матерчатый кисет, а в нем человеческий зуб с золотой пломбой. Старик продержал их на месте минут десять, то и дело нагибаясь и щупая ладонью землю. Потом он пошел вперед, и все трое пошли за ним по пятам, и в заросшем травой углу старого сада он взялся за концы своей рогатки, так что кисет неподвижно и отвесно свисал к земле, и постоял немного, что-то бормоча себе под нос.

- Почем мне знать...- сказал Букрайт.

- Тс! - сказал Рэтлиф.

Старик двинулся дальше, и все трое - за ним. Это походило на торжественное шествие, и было какое-то языческое исступление и вместе с тем какая-то истовость в том, как они медленно, зигзагами, шагали взад и вперед, мало-помалу поднимаясь на холм. Вдруг старик остановился; Армстид, ковылявший следом, ткнулся ему в спину.

- В ком-то помеха сидит, - сказал он, не оглядываясь. - Нет, не в тебе, - сказал он, и все поняли, что он обращается к Рэтлифу. - И не в хромоногом. Вон в том, другом. В чернявом. Пускай уйдет, даст земле успокоиться, а не то везите меня домой.

- Отойдите к загородке, - тихо сказал Рэтлиф Букрайту через плечо. Тогда все пойдет как надо.

- Но я...- сказал Букрайт.

- Уйдите из сада, - сказал Рэтлиф. - Уже за полночь. Через четыре часа светать начнет.

Букрайт вернулся к подножью холма. Вернее, он как-то растворился в темноте, а они не смотрели ему вслед; они уже шли дальше, и Армстид с Рэтлифом не отставали от старика ни на шаг. Снова они стали зигзагами подниматься на холм, мимо ямы, которую начал копать Генри, а потом мимо другой, засыпанной ямы, вырытой еще кем-то, которую Рэтлиф нашел в ту первую ночь, когда Армстид привел его сюда; Рэтлиф чувствовал, что Армстид снова начинает дрожать. Старик остановился. На этот раз они не наткнулись на него, и Рэтлиф не знал, что Букрайт снова у него за спиной, пока старик не заговорил.

- Тронь меня за локти, - сказал он. - Нет, не ты. Тот, какой не верил. - Когда Букрайт коснулся его локтей, руки старика под рукавами, тонкие, ломкие и неживые, как гнилые сучья, слабо и непрестанно подергивались; а когда старик снова вдруг остановился и Букрайт наткнулся на него, он почувствовал, как тот всем своим тощим телом подался назад. Армстид

без умолку ругался все тем же шипящим шепотом. - Тронь рогатку, - прохрипел старик. - Ты, какой не верил.

Когда Букрайт тронул рогатку, она упруго изогнулась, веревка была натянута, как струна. Армстид сдавленно вскрикнул; Букрайт почувствовал, что и его рука схватила рогатку. Рогатка полетела наземь; старик пошатнулся, рогатка безжизненно лежала у его ног, пока Армстид, исступленно копая землю голыми руками, не отшвырнул ее прочь.

Они разом повернулись и опрометью бросились назад, вниз, туда, где остались лопаты и кирка. Армстид бежал впереди, они едва поспевали за ним.

- Только не давайте ему кирку, - прохрипел Букрайт. - А то он убьет кого-нибудь.

Но Армстид и не думал хватать кирку. Он бежал прямо туда, где оставил лопату, когда старик вынул свою рогатку и велел ему положить лопату, схватил ее и побежал обратно на холм. Когда подоспели Рэтлиф с Букрайтом, он уже копал. И они принялись копать все трое, яростно отшвыривая землю, мешая друг другу, лязгая и сталкиваясь лопатами, а старик стоял над ними в тускло поблескивавшем под звездами окладе седой бороды, с белыми бровями над темными глазницами, и если бы они даже бросили копать и взглянули на него, то все равно не могли бы сказать, глядят ли на них его глаза, задумчивые, безучастные, равнодушные к их треволнениям. Вдруг все трое на миг словно окаменели с лопатами в руках. Потом разом спрыгнули в яму; шесть рук в один и тот же миг коснулись его - тяжелого твердого мешочка из плотной материи, сквозь которую прощупывались рубчатые кругляши монет. Они дергали его, рвали друг у друга из рук, тянули, хватали, задыхались.

- Стойте! - выдохнул наконец Рэтлиф. - Стойте! Мы же уговорились все делить поровну. - Но Армстид вцепился в мешочек, ругаясь, тянул его к себе. - Пустите, Одэм, - сказал Рэтлиф.- Отдайте ему. - Они выпустили мешочек. Армстид прижал его к себе и скрючился, сверкая на них глазами, пока они не вылезли из ямы. - Пускай берет, - сказал Рэтлиф. - Вы же понимаете, что это не все. - Он отвернулся. - Пойдемте, дядюшка Дик, - сказал он. - Берите свою...- Он осекся. Старик стоял неподвижно и как будто прислушивался, повернув голову в сторону лощины, через которую они пришли. - Ну что? прошептал Рэтлиф. - Все трое не шевелились, застыли, пригнувшись, в тех же позах, в каких попятились от Армстида. - Вы что-нибудь слышите? - прошептал Рэтлиф. - Есть там кто?

- Чую четыре алчных души, - сказал старик. - Четыре души алчут праха.

Они припали к земле. Но все было тихо.

- Да ведь нас же и есть четверо, - прошептал Букрайт.

- Дядюшке Дику на деньги плевать, прошептал Рэтлиф. - Если там кто-нибудь прячется...

И они побежали. Впереди бежал Армстид, не выпуская из рук лопаты. И снопа они едва поспевали за ним, спускаясь с холма.

- Убью его, - сказал Армстид. - Обшарю кусты и убью.

- Ну нет, - сказал Рэтлиф. - Просто надо его поймать.

Когда он и Букрайт добрались до лощины, они услышали, что Армстид прет напролом по ее краю, нисколько не смущаясь шумом, и рубит темные кусты лопатой, как топором, с такой же яростью, с какой только что копал. Но они не нашли никого и ничего.

- Может, дядюшке Дику просто почудилось, - сказал Букрайт.

- Словом, теперь здесь никого нет. Может, это...- Рэтлиф замолчал. Они с Букрайтом взглянули друг на друга; сквозь свое шумное дыхание они услышали стук копыт. Он доносился со старой дороги из-за кедров; лошадь словно свалилась туда с неба на всем скаку. Они прислушивались до тех пор, пока стук копыт не заглох на песчаном ложе ручья. Через мгновение они снова услышали, как копыта стучат по твердой дороге, теперь уже слабее. Потом стук их замер совсем. Они глядели друг на друга в темноте, сдерживая дыхание. Наконец Рэтлиф перевел дух. - Значит, у нас есть время до рассвета, - сказал он. - Пошли.

Еще дважды рогатка старика сгибалась и падала, и дважды они находили маленькие, туго набитые парусиновые мешочки, и даже в темноте невозможно было ошибиться насчет их содержимого.

- Теперь, - сказал Рэтлиф, - у нас по яме на каждого, и времени до утра. Копайте, ребята.

Когда восток начал сереть, они все еще ничего не нашли. Но так как копали они порознь в трех местах, никто не успел вырыть достаточно глубокую яму. А главный клад был наверняка зарыт очень глубоко; иначе, как сказал Рэтлиф, за последние тридцать лет его бы уже десять раз нашли, потому что из десятка акров приусадебной земли немного нашлось бы квадратных футов, где кто-нибудь не копал бы по ночам, от зари до зари, без фонаря, проворно и в то же время стараясь не делать шума. Наконец они с Букрайтом кое-как убедили Армстида образумиться, бросили копать, засинили ямы и разровняли землю. А потом, в серых предрассветных сумерках они открыли мешочки. У Рэтлифа и Букрайта оказалось по двадцати пяти серебряных долларов. Армстид не захотел сказать, сколько у него, и никому не дал заглянуть в свой мешочек. Он скрючился, прикрывая его своим телом, и с руганью повернулся к ним спиной.

- Ну, ладно, - сказал Рэтлиф. Потом его вдруг встревожила новая мысль. Он взглянул на Армстида. - Надеюсь, у каждого из нас хватит ума не тратить эти доллары до поры до времени.

- Что мое, то мое, - сказал Армстид. - Я нашел эти деньги, я добыл их своими руками. И провалиться мне на этом месте, ежели я не сделаю с ними все, что захочу.

- Ладно, - сказал Рэтлиф. - А как вы объясните, откуда они?

- Как я... - Армстид запнулся. Сидя на корточках, он поднял голову и поглядел на Рэтлифа. Теперь они уже могли видеть лица друг друга. Все трое были взвинчены, измучены бессонницей и усталостью.

- Да, - сказал Рэтлиф. - Как вы объясните людям, откуда они у вас? Откуда эти двадцать пять долларов, все как один чеканки до шестьдесят первого года? - Он отвернулся от Армстида. Они с Букрайтом спокойно взглянули друг на друга, а вокруг между тем становилось все светлее. Кто-то следил за нами из лощины, - сказал он. - Придется купить усадьбу.

- И поскорей, - сказал Букрайт. - Завтра же.

- Вы хотите сказать - сегодня, - поправил его Рэтлиф.

Букрайт огляделся. Он словно пришел в себя после наркоза, словно впервые увидел зарю, мир.

- Вы правы, - сказал он. - Завтра уже наступило.

Старик спал, приоткрыв рот, растянувшись навзничь под деревом на краю лощины, и при свете занимавшейся зари видно было, какая у него грязная, замаранная борода; они ни разу и не вспомнили о нем с тех самых пор, как начали копать. Они разбудили старика и снова усадили его в фургончик. Будка, в которой Рэтлиф возил швейные машины, запиралась на висячий замок. Он вынул оттуда несколько кукурузных початков, потом положил туда свой мешочек с деньгами и мешочек Букрайта и снова запер дверку.

- Положили бы и вы свой мешок сюда, Генри, - сказал он. Нам нужно забыть, что у нас есть эти деньги, покуда мы не откопаем все остальное.

Но Армстид не согласился. Он неловко залез на лошадь и сел позади Букрайта, самостоятельно, заранее отвергая помощь, которую ему еще даже не предложили, спрятав мешочек на груди, под заплатанным вылинявшим комбинезоном, и они уехали. Рэтлиф задал корму своим лошадям и напоил их у ручья; прежде чем взошло солнце, он был уже на дороге. Часов в девять он уплатил старику доллар за труды, высадил его там, где начиналась тропа, шедшая к его хижине, до которой было еще пять миль, и повернул своих крепких неутомимых лошадок назад к Французовой Балке. "Да, кто-то прятался там, в лощине, - думал он. - Надо поскорее купить эту усадьбу".

Потом ему казалось, что он по-настоящему понял, что значит это "поскорей", только когда подъехал к лавке. Подъезжая к ней, он почти сразу приметил на галерее среди привычных лиц одно новое и узнал его - это был Юстас Грим, молодой арендатор из соседнего округа, живший в десяти или двенадцати милях отсюда с женой, которую он взял к себе в дом год назад, и Рэтлиф рассчитывал продать ей швейную машину, как только они расплатятся с долгами, которые наделали за два месяца, с тех пор как у них родился ребенок; привязав лошадей к одному из столбов галереи и поднимаясь по истоптанным ступеням, он подумал:

"Может, сон - хороший отдых, но как не поспишь две-три ночи, да помучишься, напугаешься до смерти, голова и заработает как следует". Потому что, как только он узнал Грима, что-то шевельнулось у него внутри, хотя ему тогда невдомек было, что это значит, и только через два, а то и три дня он понял, в чем дело. Он не раздевался почти трое суток; он не завтракал в то утро, и вообще за последние два дня ему едва удавалось наскоро перехватить что-нибудь, и все это отразилось на его лице. Но не отразилось ни в голосе, ни в чем другом, и ничем, кроме следов усталости на лице, он себя не выдал.

- Доброе утро, джентльмены, - сказал он.

- Ей-богу, В. К., у вас такой вид, словно вы неделю спать не ложились, - сказал Фримен. - Что это вы затеяли? Лон Квик говорит, что его мальчишка третьего дня видел ваших лошадей с фургончиком, спрятанных в овраге возле дома Армстида, а я ему говорю, мол, лошади-то ничего такого не сделали, чтобы прятаться. Значит, это вы прячетесь.

- Вряд ли, - сказал Рэтлиф. - Иначе я бы тоже попался вместе с ними. Знаете, мне всегда казалось, что я слишком ловок, чтобы попасться здесь, в наших краях. Но теперь я, право, не знаю. - Он поглядел на Грима, и его лицо, истомленное бессонницей, было ласковым, насмешливым и непроницаемым, как всегда. - Юстас, - сказал он, - вы куда-то не туда заехали.

- Да, пожалуй, - сказал Грим. - Я приехал повидать...

- Он уплатил дорожную пошлину, - сказал Лэмп Сноупс, приказчик, который сидел, по обыкновению, на единственном стуле, загораживая дверь. - Хотите запретить ему ездить по йокнапатофским дорогам, что ли?

- Нет конечно, - сказал Рэтлиф. - Ежели он уплатил пошлину где следует, пускай едет хоть сквозь эту лавку да заодно и сквозь дом Билла Уорнера.

Все, кроме Лэмпа, засмеялись.

- Что ж, может, я так и сделаю, - сказал Грим. - Я приехал сюда повидать...- Он замолчал, глядя на Рэтлифа. Он сидел на корточках, не двигаясь, держа в одной руке дощечку, а в другой - открытый нож. Рэтлиф тоже смотрел на него.

- Разве вы не могли повидать его вчера вечером? - сказал он.

- Кого это я мог повидать вчера вечером? - сказал Грим.

- Как мог он повидать кого-то на Французовой Балке вчера вечером, когда его вчера здесь не было? - сказал Лэмп Сноупс. - Иди в дом, Юстас. Обед, верно, готов. Я тоже сейчас приду.

- Но мне...- сказал Грим.

- Тебе надо еще сегодня отмахать двенадцать миль до дому, - сказал Сноупс. - Иди же. - Грим еще мгновение глядел на него. Потом встал, спустился с крыльца и пошел по дороге. Рэтлиф не смотрел ему вслед. Он смотрел теперь на Сноупса.

- Юстас на этот раз у вас, что ли, столуется? - спросил он.

- Он столуется у Уинтерботтома, там же, где я, - хрипло сказал Сноупс. - И там же, где другие, которые платят за это деньги.

- Ну конечно, - сказал Рэтлиф. - Только зря вы его так быстро отсюда спроваживаете. Ведь Юстас не очень-то часто ездит в город, мог бы день-другой побыть хоть здесь, поглядеть что и как, посидеть на галерее у лавки.

- Сегодня к ужину он будет уже дома, - сказал Сноупс. - Поезжайте да поглядите сами. Он и моргнуть не успеет, а вы уж будете у него на заднем дворе.

- Ну конечно, - сказал Рэтлиф, и его истомленное бессонницей лицо было ласковым, мягким, непроницаемым. - А Флем когда вернется?

- Откуда? - хрипло сказал Сноупс. - Из гамака, где он прохлаждается вместе с Биллом Уорнером или дрыхнет? Да, уж видно, никогда.

- Вчера он вместе с Биллом и женщинами был в Джефферсоне, - сказал Фримен. - Билл сказал, что нынче они вернутся.

- Ну конечно, - сказал Рэтлиф. - Иной раз больше года пройдет, покуда отучишь молодую жену от мысли, будто деньги только для того и существуют, чтобы по магазинам бегать. - Он стоял на галерее, прислонившись к столбу, спокойно и непринужденно, словно никогда в жизни не знал, что такое спешка. "Значит, Флем Сноупс не хотел, чтоб об этом знали. А Юстас

Грим...- Тут у него в голове опять что-то шевельнулось, но только через три дня он понял, в чем дело, хотя теперь думал, что все знает, все видит насквозь. -...а Юстас Грим здесь со вчерашнего вечера или, уж во всяком случае, с той минуты, как мы услыхали стук копыт. Может, они оба ехали на этой лошади, может, именно потому стук и был такой громкий". Он и это мог себе представить - Лэмп Сноупс и Грим на одной лошади, мчатся, скачут в темноте во весь опор назад, к Французовой Балке, а Флема Споупса там еще нет, он вернется только днем. "Лэмп Сноупс не хотел, чтоб и об этом знали, - подумал он, - и Юстаса Грима спровадил, чтоб не дать никому с ним поговорить. И Лэмп не просто встревожен и взбешен: он боится. Они могли даже найти спрятанный фургончик. Вероятно, так оно и было, и они узнали, по крайности, одного из тех, кто копал в саду; и теперь Сноупсу нужно не только столковаться с двоюродным братом через своего доверенного, Грима, но еще, чего доброго, придется иметь дело с таким человеком, который (Рэтлиф подумал это без всякого тщеславия) играючи может его переторговать". Погруженный в свои мысли, озабоченный, но как всегда непроницаемый, он раздумывал о том, что даже Сноупс не может чувствовать себя в безопасности от другого Сноупса. "Да, надо спешить", - подумал он. Он отошел от столба и шагнул к крыльцу. - Ну, я пойду, - сказал он. - До завтра, ребята.

- Пойдем ко мне обедать, - сказал Фримен.

- Большое спасибо, - сказал Рэтлиф. - Я сегодня поздно позавтракал у Букрайта. А мне еще надо получить деньги по векселю за швейную машину с Айка Маккаслина и засветло вернуться сюда.

Он сел в фургончик и, повернув лошадей, снова выехал на дорогу. Лошади с места взяли свой обычный аллюр и побежали рысцой, быстро перебирая короткими ногами, но не очень-то резво, пока не миновали дом Уорнера, за которым дорога сворачивала к ферме Маккаслина, и теперь фургончик уже не был виден с галереи. Тогда они прибавили ходу, кнут гулял по их мохнатым спинам, выбивая пыль. Рэтлифу нужно было проехать около трех миль. Он знал, что через полмили начнется извилистый, малоезженный проселок, но езды там всего минут двадцать. Время едва перевалило за полдень, а Уорнеру, надо полагать, никак не раньше девяти утра удалось вытащить свою жену из джефферсонского женского комитета содействия церкви, в котором она состоит. Рэтлиф одолел проселок за девятнадцать минут, подпрыгивая на ухабах и оставляя позади клубы пыли, потом в миле от Французовой Балки остановил взмыленных лошадей, потом свернул на джефферсонскую дорогу, по которой еще полмили проехал рысью, сдерживая лошадей, чтобы дать им постепенно остыть. Но коляски Уорнера все не было, и он пустил лошадей шагом, и ехал так, пока не поднялся на холм, с которого мог видеть дорогу далеко вперед, и тут свернул на обочину, в тень, и остановился. Теперь он остался и без обеда. Голод не очень мучил, и хотя с утра, после того как он ссадил старика и повернул назад, в Балку, его неодолимо клонило ко сну, теперь и это прошло. Он сидел в фургончике, обмякший, болезненно щурясь от яркого света, а лошади (он никогда не пользовался удилами) выпростали морды из узды и, вытянув шеи, щипали трапу. Он знал, что проезжие могут увидеть его здесь; некоторые даже поедут потом через Французову Балку и расскажут там, что видели его. Но он подумает об этом после, когда придет нужда. Он как бы сказал себе: "Теперь я могу хоть немного передохнуть".

А потом он увидел коляску. И прежде, чем кто-нибудь в коляске успел его заметить, он был уже на дороге, и его лошадки бежали привычной рысью, которую знала вся округа, - маленькие копытца мелькали быстро, хотя две большие лошади шагом повезли бы фургончик не намного медленнее. Он знал, что его уже заметили, и узнали, когда шагах в двухстах от коляски он натянул вожжи и ждал, сидя в своем фургончике, приветливый, ласковый и безмятежный, только лицо у него было измученное, и Уорнер, поравнявшись с ним, остановил коляску.

- Здравствуйте, В. К.,- сказал Уорнер.

- Доброе утро, - сказал Рэтлиф. Он приподнял шляпу, раскланиваясь с женщинами, сидевшими сзади. - Миссис Уорнер, миссис Сноупс, мое почтение.

- Куда это вы? - спросил Уорнер. - В город?

Рэтлиф не стал лгать, у него этого и в мыслях не было, он только улыбался учтиво, даже слегка заискивающе.

- Нет, я выехал нарочно, чтобы вас встретить. Хочу переговорить с Флемом. - Тут он в первый раз взглянул на Сноупса. - Садитесь ко мне, я подвезу вас до дому.

- Ха! - сказал Уорнер. - Значит, вы проехали две мили, а теперь повернете назад и проедете еще две, только чтобы с ним поговорить!

- Вот именно, - сказал Рэтлиф. Он все смотрел на Сноупса.

- Вы не такой дурак, чтоб надеяться что-нибудь продать Флему Сноупсу, сказал Уорнер. - И уж наверняка, у вас хватит ума ничего у него не покупать, правда?

- Не знаю, - сказал Рэтлиф прежним приветливым, непринужденным и непроницаемым тоном, и глаза его глядели на Сноупса с истомленного бессонницей лица. - Я всегда считал себя умным человеком, но теперь не знаю. Я подвезу вас, - сказал он. - К обеду вы поспеете.

- Ну что ж, вылезай, - сказал Уорнер зятю. - Так он все равно ничего не скажет.

Сноупс тем временем уже зашевелился. Он сплюнул через колесо на дорогу, повернулся и задом слез на землю, широкий и неторопливый, в засаленных светло-серых штанах, белой рубашке и клетчатой кепке; коляска тронулась. Рэтлиф затормозил фургончик, Сноупс сел рядом с ним, он развернул лошадей, и снова они побежали привычной неутомимой рысцой. Но Рэтлиф натянул вожжи и заставил их идти шагом, не давая им снова перейти на рысь, а Сноупс, сидя рядом с ним, беспрерывно жевал. Они не смотрели друг на друга.

- Я насчет этой усадьбы Старого Француза, - сказал Рэтлиф. Коляска уже обогнала их на сотню шагов и, так же как они, поднимала целое облако пыли. Сколько вы думаете запросить за нее с Юстаса Грима?

Сноупс сплюнул табачную жвачку через колесо. Он жевал не спеша, безостановочно, и, видимо, это нисколько не мешало ему ни сплевывать, ни разговаривать.

- Он небось ждет уже возле лавки? - сказал он.

- Да ведь вы, наверно, сами велели ему приехать сегодня? - сказал Рэтлиф. - Так сколько же вы думаете с него запросить? - Сноупс назвал цену. Рэтлиф коротко хмыкнул, почти как Уорнер. - И вы думаете, что Юстас Грим сможет отвалить этакую кучу денег?

- Не знаю, - сказал Сноупс. Он снова сплюнул через колесо.

Рэтлиф мог бы сказать: "Значит, вы не хотите продавать усадьбу", - а Сноупс ответил бы на это: "Я продам что угодно". Но они этого не сказали. Им это было ни к чему.

- Ладно, - сказал Рэтлиф. - А с меня вы сколько запросите? - Сноупс назвал цену. Она была та же. На этот раз Рэтлиф хмыкнул, совсем как Уорнер. - Я говорю только о десяти акрах при этом старом доме. Я не покупаю у вас весь Йокнапатофский округ. - Они перевалили через последний холм, и коляска Уорнера прибавила ходу, удаляясь от них. До Французовой Балки теперь было рукой подать. - Ну ладно, первый спрос не в счет, - сказал Рэтлиф. - Так сколько вы хотите за усадьбу Старого Француза?

Его лошади тоже норовили перейти на рысь, увлекая вперед легкий фургончик. Рэтлиф сдержал их, дорога начала поворачивать, и за школой открылась Французова Балка. Коляска уже исчезла за поворотом.

- На что она вам? - сказал Сноупс.

- Под козье ранчо, - сказал Рэтлиф. - Так сколько же? - Сноупс сплюнул через колесо. Он в третий раз назвал ту же цену. Рэтлиф отпустил вожжи, и крепкие, неутомимые лошадки побежали рысью, минуя последний поворот, мимо пустой школы, и вся Балка теперь была на виду, а впереди снова показалась коляска, уже за лавкой. - А что этот тип, который учительствовал здесь года три, не то четыре назад? Лэбоув. Не слышно, что с ним сталось?

В седьмом часу в пустой запертой лавке Рэтлиф, Букрайт и Армстид купили у Сноупса усадьбу Старого Француза. Рэтлиф подписал передаточную на свою половину ресторанчика на окраине Джефферсона. Армстид дал закладную на свою ферму вместе со всеми службами, инструментом, скотом и с тремя милями проволочной загородки в три ряда; Букрайт уплатил свою долю наличными. Потом Сноупс выпустил их, запер дверь, и они остались на пустой галерее в гаснущих отблесках августовского заката и смотрели, как Сноупс идет к дому

Уорнера, вернее, смотрели ему вслед только двое, потому что Армстид уже сел в фургончик и ждал там, не шевелясь, источая все ту же упорную и клокочущую ярость.

- Теперь усадьба наша, - сказал Рэтлиф. - Надо нам ее караулить, а то кто-нибудь привезет туда дядюшку Дика Боливара и станет искать клад.

Они заехали сперва к Букрайту (он был холост), сняли тюфяк с его кровати, захватили два одеяла, кофейник, сковородку, еще одну кирку и лопату, а потом поехали к Армстиду. У него тоже был только один тюфяк, но еще у него была жена и пятеро малышей; кроме того, Рэтлиф, который видел этот тюфяк раньше, знал, что стоит его снять с кровати, как он рассыплется. Армстид взял одеяло, а вместо подушки они помогли ему набить отрубями пустой мешок и, обойдя дом, вернулись к фургончику, а жена его стояла и дверях, и четверо детишек жались к ее ногам. Но она не сказала ни слова, и когда Рэтлиф, тронув лошадей, оглянулся, в дверях уже никого не было.

Когда они свернули со строй дороги и поехали через косматую кедровую рощу к развалинам дома, было еще светло, и они увидели возле самого дома повозку, запряженную мулами, а из дверей вышел человек и остановился, глядя на них. Это был Юстас Грим, но Рэтлиф так и не понял, узнал ли Армстид Юстаса, или ему было все равно, кто это, потому что, прежде чем фургончик остановился, он соскочил на землю, выхватил лопату из-под ног у Букрайта и Рэтлифа и, озверев от боли и ярости, хромая, побежал к Гриму, который тоже побежал, спрятался за повозку и оттуда смотрел на Армстида, а Армстид, стараясь достать его, рубанул лопатой через повозку.

- Держи его! - крикнул Рэтлиф. - Не то убьет!

- Или опять сломает свою проклятую ногу, - сказал Букрайт.

Когда они настигли Армстида, он порывался бежать вокруг повозки, занеся лопату, как топор. Но Грим уже отскочил в сторону, а увидев Рэтлифа с Букрайтом, шарахнулся и от них и остановился, сторожа каждое их движение. Букрайт крепко схватил Армстида сзади за обе руки, - Живо сматывайтесь, если не хотите неприятностей, - сказал Рэтлиф Гриму.

- Зачем мне неприятности? - сказал Грим.

- Тогда уходите, покуда Букрайт его держит.

Грим подошел к повозке, глядя на Армстида со скрытым любопытством.

- Эти глупости его до добра не доведут, - сказал он.

- О нем не тревожьтесь, - сказал Рэтлиф. - Только убирайтесь поскорей. - Грим сел на повозку и поехал. - Можете теперь его отпустить, - сказал Рэтлиф. Армстид вырвался и повернул к саду. - Постойте, Генри, - сказал Рэтлиф. - Давайте сперва поужинаем. И отнесем в дом постели. - Но Армстид, хромая, бежал к саду в гаснущем свете заката. - Надо сперва поесть, - сказал Рэтлиф.

А потом он вдруг вздохнул, будто всхлипнул; они с Букрайтом разом бросились к будке для швейных машин, Рэтлиф отпер замок, они захватили лопаты и кирки и побежали вниз по склону, в сад, где Армстид уже копал. Когда они были почти рядом, он вдруг выпрямился и кинулся к дороге, занеся лопату, и они увидели, что Грим не уехал, а сидит на козлах и глядит на них через сломанную железную загородку, а Армстид уже почти добежал до загородки. Но тут Грим тронул лошадей.

Они копали всю ночь, Армстид в одной яме, Рэтлиф с Букрайтом вдвоем - в другой. Время от времени они

останавливались передохнуть, и над ними стройными рядами проходили летние звезды. Отдыхая, Рэтлиф и Букрайт прохаживались, чтобы расправить затекшие мышцы, потом садились на корточки (они не закуривали; они боялись зажечь спичку. А у Армстида, верно, никогда и не бывало лишнего никеля на табак) и тихо разговаривали, слушая мерный стук лопаты Армстида. Он копал, даже когда они останавливались; все копал, упорно, без устали, когда они снова принимались за работу, но время от времени один из них вспоминал о нем и, подняв голову, видел, что он сидит на краю своей ямы, неподвижный, как те кучи земли, которые он оттуда выбросил. А потом он снова принимался копать, пока не выбивался из сил; и так продолжалось до самого рассвета, а когда забрезжила заря, Рэтлиф с Букрайтом, стоя над

Армстидом, препирались с ним.

- Пора кончать, - сказал Рэтлиф. - Уже светло, нас могут увидеть.

Армстид не остановился.

- Пускай, - сказал он. - Теперь эта земля моя. Могу копать сколько захочу, хоть весь день.

- Ну, ладно, - сказал Рэтлиф. - Только боюсь, что у вас будет целая толпа помощников. - Армстид остановился, глядя на него из ямы. - Нельзя же копать всю ночь, а потом целый день сидеть и караулить, - сказал Рэтлиф. Идем. Нужно поесть и поспать хоть немного.

Они взяли из коляски тюфяк с одеялом и отнесли их в дом, в прихожую, где в зияющих дверных проемах уже и в помине не было дверей, а с потолка свисал скелет, который некогда был хрустальной люстрой, и оттуда наверх вела широкая лестница, у которой все ступени были давным-давно выломаны на починку конюшен, курятников и уборных, а ореховые перила, стойки и перекладины пошли на топливо. В комнате, которую они выбрали для себя, потолок был высотой в четырнадцать футов. Над выбитыми окнами сохранились остатки когда-то раззолоченного лепного карниза, со стен щерились острые дранки, с которых обвалилась штукатурка, а с потолка свисал скелет другой хрустальной люстры. Они расстелили тюфяк и одеяла поверх осыпавшейся штукатурки, а потом Рэтлиф с Букрайтом снова сходили к фургончику и принесли оттуда взятую из дома еду и два мешочка с деньгами. Они спрятали мешочки в камин, теперь загаженный птичьим пометом, за облицовку, на которой еще сохранились следы мраморной отделки. Армстид своих денег не принес. Они не знали, куда он их девал. И не спросили об этом.

Огня они не развели. Рэтлиф, вероятно, воспротивился бы этому, но никто об этом и не заикнулся; они ели холодную, безвкусную пищу, слишком усталые, чтобы разбирать вкус; сняв только башмаки, облепленные мокрой глиной со дна глубоких ям, они легли на одеяла и погрузились в беспокойный сон, слишком усталые, чтобы забыться совсем, и снились им золотые горы. К полудню солнечные лучи проникли сквозь дырявую крышу и два прогнивших потолка над ними, и причудливые пятна поползли на восток по полу, по смятым одеялам, а потом по распростертым телам и лицам с полуоткрытыми ртами, а они ворочались, метались или прикрывали лица руками, словно во сне бежали от невесомой тени того, на что они, бодрствуя, сами себя обрекли. Они проснулись на закате, сон ничуть их не освежил. Они молча бродили по комнате, пока в развалившемся камине закипал кофейник; тогда они снова поели, с жадностью глотая холодную, безвкусную пищу, а тем временем в западном окне высокой полуразрушенной комнаты померкло алое зарево заката. Армстид первый покончил с едой. Он поставил чашку, поднялся, привстав сначала на четвереньки, как ребенок, и, с трудом волоча сломанную ногу, заковылял к двери.

- Нужно дождаться, покуда совсем стемнеет, - сказал Рэтлиф, ни к кому не обращаясь; и никто, конечно, ему не ответил. Словно он сказал это себе и сам же себе ответил. Он тоже встал. Букрайт был уже на ногах. Когда они дошли до сада, Армстид уже копал в своей яме.

И снова они копали всю короткую летнюю ночь напролет, и знакомые звезды проходили над головой, и когда они порой останавливались, чтобы передохнуть и расправить мышцы, то слышали, как внизу под ними, словно вздыхая, равномерно поднималась и опускалась лопата Армстида; на рассвете они заставили его бросить работу, пошли в дом, поели консервированной рыбы, холодной свинины, застывшей в собственном жиру, лепешек и снова, улегшись на скомканные одеяла, спали до полудня, когда золотые лучи солнца, крадучись по комнате, нашарили их, и тогда они стали ворочаться и метаться, словно в кошмаре, тщетно стараясь сбросить это неосязаемое и невесомое бремя. Еще утром они доели последний кусок хлеба. А на закате, когда остальные двое проснулись, Рэтлиф уже поставил кофейник на огонь и замесил на сковородке кукурузную лепешку. Армстид не стал дожидаться лепешек. Он проглотил свою порцию мяса, выпил кофе, снова встал, сперва на четвереньки, как ребенок, и вышел. Букрайт тоже был уже на ногах. Рэтлиф, сидя на корточках, перед сковородой, взглянул на него.

- Что ж, идите, - сказал он. - Незачем терять время.

- Мы уже вырыли яму глубиной в шесть футов, - сказал Букрайт. - В четыре фута

шириной и почти в десять длиной. Пойду начну там, где мы нашли третий мешок.

- Ладно, - сказал Рэтлиф. - Идите начинайте.

Потому что в голове у него снова что-то шевельнулось.

Может, это было во сне, он не знал. Но он знал, что теперь все ясно как день. "Только я не хочу видеть, не хочу слышать, как это будет, - подумал он, сидя на корточках перед огнем со сковородой в руке и щуря глаза, слезившиеся от дыма, который не шел в развалившуюся трубу. - Меня страх берет. Но еще есть время. Нынешнюю ночь еще можно копать. У нас есть даже новое место". Он подождал, пока лепешка испеклась. Потом он снял ее со сковородки, поставил сковородку на угли, нарезал ломтиками сало и поджарил его; за три дня он в первый раз поел горячего, поел не спеша, сидя на корточках и потягивая кофе, а на обрушенном потолке угасали последние блики заката и наконец угасли, и комнату освещали лишь отблески догоравшего огня в комнате.

Букрайт и Армстид уже копали. Когда Рэтлиф подошел поближе, он увидел, что Армстид в одиночку выкопал яму глубиной в три фута и почти такую же длинную, как они с Букрайтом вдвоем. Он пошел туда, где Букрайт начал новую яму, взял лопату, которую Букрайт захватил для него, и начал копать. Они копали всю ночь, под знакомым строем проходящих созвездий, изредка останавливаясь передохнуть (хотя Армстид не останавливался вместе с ними), присаживались на край первой ямы, и Рэтлиф тихонько говорил, но не о золоте, но о деньгах, а рассказывал смешные анекдоты, и лицо его, невидимое в темноте, было лукавым, мечтательным, непроницаемым. Потом копали снова. "Днем погляжу как следует, - думал он. - Да ведь я все уже видел.

Видел три дня назад". Но вот начало светать. И едва тускло забрезжил рассвет, он опустил лопату и выпрямился. Кирка Букрайта равномерно поднималась и опускалась прямо перед ним; а в двадцати футах от себя он теперь увидел Армстида по пояс в земле, словно разрезанного надвое, мертвое тело, даже не подозревавшее, что оно мертво, работало, сгибаясь и выпрямляясь, размеренно, как метроном, словно Армстид вновь закапывал себя в землю, из которой вышел, чтобы всегда, до конца своих дней быть ее обреченным от века рабом. Рэтлиф вылез из ямы и стоял на куче темпом свежей глины, выброшенной из нее, мускулы его дрожали и судорожно подергивались от усталости, стоял, молча глядя на Букрайта, пока Букрайт не заметил этого, и тогда остановился, занеся кирку для удара, и взглянул на него. Они глядели друг на друга - два измученных, небритых, исхудалых человека

- Одэм, - сказал Рэтлиф. - Вы знаете, кто была жена Юстаса Грима?

- Не знаю, - сказал Букрайт.

- А я знаю, - сказал Рэтлиф. - Она была из тех Доши, что из округа

Букрайт уже не смотрел на него. Он осторожно, почти с нежностью, положил кирку, словно это была полная ложка супа или нитроглицерина, и вылез из ямы, вытирая руки о штаны.

- А я-то думал, вы все знаете, - сказал он. - Я думал, вы тут все про всех знаете.

- Теперь-то, кажется, знаю, - сказал Рэтлиф. - Но вы все-таки мне расскажите.

- Файт - это была вторая жена его отца. Она не была матерью Юстаса. Об этом мне рассказал мой отец, когда Эб Сноупс впервые взял ферму в аренду у Уорнера пять лет назад.

- Ну-ну, - сказал Рэтлиф. - Дальше.

- Мать Юстаса была младшей сестрой Эба Сноупса. - Помаргивая, они глядели друг на друга. Стало быстро светать.

- Так, - сказал Рэтлиф. - И это все?

- Да, - сказал Букрайт. - Все.

- А ведь, ей же богу, я вас здорово подвел, - сказал Рэтлиф.

Они поднялись к дому и вошли в ту комнату, где провели ночь. Там было еще темно, и пока Рэтлиф ощупью искал в каминной трубе мешочки с деньгами, Букрайт засветил фонарь, поставил его на пол, и они, присев друг против друга около фонаря, открыли мешочки.

- Да, нам бы сообразить, что никакой холщовый мешочек не выдержал бы, сказал Букрайт. - Тридцать-то лет... - Они высыпали деньги на пол. Каждый брал по монете, быстро

осматривал, а потом складывал их около фонаря одну на другую, как дамки в шашках. При тусклом свете фонаря они осмотрели все монеты. - Но откуда он знал, что это будем мы? - сказал Букрайт.

- А он и не знал, - сказал Рэтлиф. - Не все ли ему равно? Он просто приходил сюда каждую ночь и копал по-маленьку. Знал, что, если станет копать две недели кряду, кто-нибудь непременно клюнет. - Он положил последнюю монету и сел на пол, дожидаясь, пока Букрайт кончит. - Тысяча восемьсот семьдесят первый, - сказал он.

- А у меня - семьдесят девятый, - сказал Букрайт. - Есть даже одна, отчеканенная в прошлом году. Да, вы меня подвели.

- Подвел, - сказал Рэтлиф. Он взял две монетки, и они ссыпали деньги обратно в мешки. Прятать их они не стали. Каждый оставил мешочек на своем одеяле, и они задули фонарь. Стало светлее, и теперь они ясно видели, как Армстид сгибается, выпрямляется и снова сгибается по пояс в яме. Близился восход; три ястреба уже парили в желто-голубой вышине. Армстид даже головы не поднял, когда Рэтлиф с Букрайтом подошли; он копал, даже когда они остановились у самой ямы, глядя на него в упор. - Генри, - сказал Рэтлиф. Он наклонился и дотронулся до его плеча. Армстид повернулся и замахнулся лопатой, занеся ее ребром, и на ее острие, как на острие топора, стальным блеском засверкала заря.

- Прочь от моей ямы, - сказал он. - Прочь от ямы.

2

Повозки с мужчинами, женщинами и детьми, въезжавшие во Французову Балку со стороны дома Уорнера, останавливались, от лавки подходили еще люди, спеша встать у загородки перед домом и поглядеть, как Лэмп и Эк Сноупсы вместе с негром-слугой Уорнера, Сэмом, грузят мебель, сундуки и всякие ящики в фургон, стоявший задком вплотную к веранде. Это был тот же фургон, запряженный теми же мулами, которые в апреле привезли Флема Сноупса из Техаса, и три человека то и дело сновали взад и вперед, причем Эк или негр, пятясь, неуклюже протискивались с грузом в дверь, а Лэмп Сноупс бежал следом и без умолку, скороговоркой, давал всякие советы и указания, и хотя он поддерживал ношу, но так, чтобы ему не было тяжело, а погрузив ее и фургон, они шли назад и сторонились и дверях, когда миссис Уорнер выбегала, нагруженная горшками и наглухо закрытыми банками с разными вареньями и соленьями. Стоявшие у загородки вслух называли каждую вещь - разобранная кровать, туалетный столик, умывальник и таз с такими же, как на умывальнике, цветами, кувшин, помойное ведро, ночной горшок, сундук, без сомнения с женскими и детскими вещами, деревянный ящик, как безошибочно определили женщины, с тарелками, ножами и кастрюлями и, наконец, крепко стянутый веревкой тюк коричневой парусины.

- Что это? - сказал Фримен. - Похоже на палатку.

- Палатка и есть, - сказал Талл. - Эк привез ее на той неделе из города, с вокзала.

- Но ведь не собираются же они жить в Джефферсоне в палатке? - сказал Фримен.

- Не знаю, - сказал Талл.

Наконец все вещи были погружены; Эк с негром в последний раз протиснулись в дверь, миссис Уорнер вынесла последнюю банку; Лэмп Сноупс еще раз сходил в дом и вышел со знакомым каждому плетеным чемоданом, потом вышел Флем Сноупс и, наконец, его жена. Она несла младенца, который был великоват для семимесячного, потому что, конечно, не стал дожидаться мая и родился раньше, и остановилась на миг, по-олимпийски высокая, на целую голову выше и своей матери, и мужа, в шерстяном костюме от городского портного, несмотря на летнюю жару, и хотя лицо ее, незрячее и застывшее, как маска, словно бы не имело возраста, румянец на щеках показывал, что ей нет и восемнадцати, а женщины в фургонах смотрели на нее и думали, что это первый шерстяной костюм от настоящего портного у них на Французовой Балке и что ей удалось-таки заставить Флема Сноупса купить ей кое-какие наряды, потому что не Уорнер же покупал их ей теперь, а мужчины, стоявшие у загородки, думали о Хоуке Маккэрроне и о том, что каждый из них купил бы ей и костюм, и все прочее, что только ее душе угодно.

Миссис Уорнер взяла у нее ребенка, и они увидели, как она, подобрав одной рукой юбку

вековечным, женственным, волнующим движением, поставила ногу на колесо и взобралась на сиденье, где уже сидел Сноупс, держа вожжи, а потом наклонилась и взяла ребенка у миссис Уорнер. Фургон тронулся, подрагивая на ходу, лошади повернули, пересекли двор и через открытые ворота выехали на улицу, и это было все. Это и было прощанием, если только вообще было сказано "прости", и повозки, стоявшие у дороги, со скрипом тронулись, а Фримен, Талл и остальные четверо с облегчением повернулись, не сходя с места, и стояли теперь спиной к загородке, с одинаково серьезным, чуть грустным, а может, даже отрезвевшим видом, едва взглянув на фургон, который выехал из ворот и поравнялся с ними, и мимо проплыла клетчатая кепка, медленно и размеренно жующая челюсть, крошечный галстук и белая рубашка; а рядом другое лицо, невозмутимое и прекрасное, но лишенное всякого выражения, словно у статуи или у мертвеца, не глядевшее на них и вообще ни на что вокруг.

- Пока, Флем, - сказал Фримен. - Когда поднатореете в стряпне, приготовьте мне хороший бифштекс.

Он не ответил. Быть может, он даже и не слышал ничего. Фургон удалялся. Все еще не двигаясь с места, они глядели ему вслед и видели, как он свернул на старую дорогу, где целых двадцать лет, не считая последних двух недель,

- Эдак ему придется сделать крюк в добрых три мили, чтобы снова выехать на джефферсонскую дорогу, - сказал Талл озабоченно.

- А может, он хочет прихватить эти три мили с собой в город и выменять их у Аарона Райдаута на вторую половину ресторанчика, - сказал Фримен.

- А может, он выменяет их у Рэтлифа с Букрайтом и Армстидом еще на что-нибудь, - сказал третий: его фамилия тоже была Райдаут, он был братом того, городского Райдаута, и оба они приходились двоюродными братьями Рэтлифу. - В городе он и Рэтлифа увидит.

- А чтоб увидеть Армстида, нет нужды тащиться в такую даль, - сказал Фримен.

Дорога уже не походила на старый, почти изгладившийся шрам. Теперь она была наезжена, потому что неделю назад прошел дождь, и трава, не топтанная вот уже почти тридцать лет, сохранила четыре отчетливых следа: два по краям - от железных ободьев колес и два посредине, где ступали лошади, каждый день, с того самого первого дня, когда сюда свернула первая упряжка, и ветхие скрипучие повозки, облезлые пахотные лошади и мулы, мужчины, женщины, дети оказались в каком-то другом мире, попали в другую страну, в другое время, в день без названия и числа.

Там, где песок темнел, спускаясь к мелкому ручью, а потом снова светлел на подъеме, многое множество спутанных, перекрывавших друг друга следов колес и подков ошеломляло, как крики в пустом соборе. Потом впереди, у дороги, открывалась вереница повозок, а в повозках на корточках сидели дети, рядом с ними, на плетеных стульях, - женщины, укачивающие младенцев и, когда подходил срок, совавшие им грудь, а мужчины и дети постарше молча стояли вдоль изломанной, увитой жимолостью железной загородки, глядя, как Армстид без передышки копает землю на холме, в старом саду. Они приезжали глядеть на него вот уже две недели. С того первого дня, когда первые жители округи увидели его и принесли об этом весть домой, люди стали приезжать в повозках и верхом на лошадях пли мулах издалека, за десять и пятнадцать миль, мужчины, женщины и дети, восьмидесятилетние старики и грудные младенцы, по четыре поколения в одной старой разбитой повозке, еще обсыпанной засохшим навозом, или сеном, или мякиной, и, сидя на повозках или стоя у загородки, чинно, словно в гостях, смотрели на него, затаив дыхание, как глазеют на ярмарочного фокусника. В тот первый день, когда первый из них слез на землю и подошел к загородке, Армстид с трудом вылез из ямы и, замахнувшись лопатой, бросился на него, волоча негнущуюся ногу, ругаясь хриплым, бессильным, задыхающимся шепотом, и отогнал его. Но скоро он присмирел; он словно бы не замечал их, когда они, стоя у загородки, глядели, как он вгрызается в землю, перепахивает холм вдоль и поперек, изнемогая в своем неистовом упорстве. Но никто больше не пытался войти в сад, и теперь ему докучали только мальчишки.

К середине дня дальние начинали разъезжаться. Но всегда были такие, которые оставались, хотя из-за этого они не успевали потом засветло выпрячь лошадей, задать им корм

и подоить корон. Наконец, уже на закате, подъезжала еще одна, последняя повозка - пара заморенных, худых, как отощавшие зайцы, мулов, кривые, кое-как стянутые проволокой, немазаные колеса, - и стоявшие у загородки оборачивались и молча смотрели, как женщина в серой мешковатой одежде и выцветшей шляпе - слезала на землю, доставала из-под козел жестяное ведерко и шла к загородке, за которой ее муж работал, не разгибая спины, безостановочно, как метроном. Она ставила ведерко в угол, по ту сторону загородки, и стояла, не шевелясь, в серой одежде, падавшей жесткими, словно вырубленными из камня, складками на ее грязные шлепанцы, прижав руки к животу под фартуком. Смотрела ли она на мужа, никто не мог бы сказать; смотрела ли она вообще на что-нибудь, никто не знал. Потом она поворачивалась, шла назад к повозке (ей нужно было еще задать скотине корм, подоить корову и приготовить ужин детям), залезала на козлы, брала в руки веревочные вожжи, заворачивала мулов и уезжала. А следом за ней уезжали и последние зрители, и Армстид оставался один на темнеющем холме, зарывая себя в густеющие сумерки, как заведенная игрушка, с нелепым, чудовищным упорством, надрываясь от напряжения, словно игрушка оказалась слишком хрупкой для такой работы или пружина была заведена слишком туго. Жарким солнечным утром, сидя на галерее Уорнеровой лавки с табачной понюшкой в щепоти или жвачкой за щекой, или вечером, в косых лучах заката, встретившись на безлюдном перекрестке дорог, люди толковали об этом, и весть передавалась с повозки на повозку, с повозки конному, от конного другому конному и с повозки или от конного пешему, остановившемуся у ворот или у почтового ящика.

- Он все там?

- Все там,

- Он себя в гроб вгонит. Что ж, не велика потеря.

- По крайности, для его жены.

- Что и говорить. Не придется ей каждым день возить ему харчи. А все этот Флем Сноупс.

- Что и говорить. Другой бы такого не сделал.

- Где уж тут другому. Генри Армстида, конечно, кто хочешь проведет. А вот Рэтлифа и впрямь не провести никому, кроме Сноупса.

И в это утро, хотя одиннадцатый час был только в начале, у загородки уже собралась обычная толпа, и когда подъехал Сноупс, даже те, что собирались в город, как и он, все еще были там. Он не свернул с дороги на обочину. Вместо этого он проехал вдоль длинного ряда повозок, и женщины с детьми на руках глядели на него, повернув головы, и мужчины, оборачиваясь, тоже глядели на него, серьезные, хмурые, глядели, не отрываясь, а он остановил фургон и сидел на козлах, беспрерывно, размеренно жуя и глядя поверх их голов в сад. И, как бы следуя за его взглядом, люди у изломанной загородки повернули головы и увидели, как из кустов в дальнем конце сада вынырнули двое мальчишек и, крадучись, стали подбираться к Армстиду сзади. Он не поднял головы, даже не перестал копать, но, когда мальчишки были от него футах в двадцати, быстро повернулся, выскочил из своего рва и бросился на них, занеся лопату. Он не закричал; даже не выругался. Он просто бросился на них, волоча ногу, спотыкаясь о выброшенные из ямы комья земли, постепенно отставая, И когда они нырнули обратно в кусты, Армстид все бежал, а потом, споткнувшись, упал ничком и остался лежать, а люди за загородкой смотрели на него, и стало так тихо, что слышно было его тяжелое, свистящее дыхание. Потом он встал, сперва на четвереньки, как ребенок, поднял лопату и вернулся к своему рву. Он не взглянул на солнце, чтобы узнать время, как обычно делает человек, прерывая работу. Он пошел прямо ко рву, торопясь, мучительно медленно и трудно передвигая ноги, и его худое небритое лицо было теперь совсем безумным. Он залез в ров и начал копать.

Сноупс отвернулся и сплюнул через колесо фургона. Он легонько дернул вожжи.

- Но-о! - сказал он.